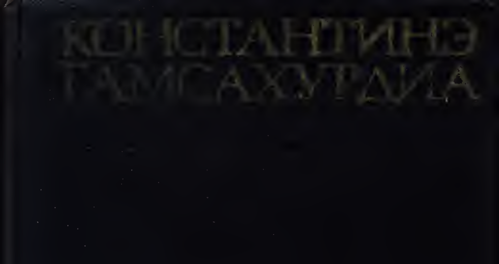


КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА



КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

перевод с грузинского

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕРАНИ» ТБИЛИСИ 1977

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

ЦВЕТЕНИЕ ЛОЗЫ

роман



ТОМ 5

Г2
899.962.1 — 32
Г187

Г $\frac{70303-51}{M604(08)-77}$ 100 — 77

БЕРМУХА

ПРОЛОГ

Большая Алазань круто поворачивает как раз в том самом месте, где расположено село Бермуха[1].

Село это некогда называлось Цхрамуха[2] в честь девяти огромных ветвистых дубов, которые когда-то росли здесь. Восемь из них со временем погибли: то ли от ударов молний, то ли от старости, то ли от губительного огня кизилбашей[3]. Уцелел лишь один дуб. И Цхрамуху стали тогда именовать в честь этого единственного старого дуба — Бермухой.

Местные жители, бермухцы, хотя и разводили на своих приусадебных участках виноградники, занимались главным образом овцеводством, колхоз их считался животноводческим.

Диким и пустынным было простиравшееся к северу от Бермухи поросшее густыми лесами плоскогорье Гвелети[4]. Холмистая поверхность его, покрытая колючим кустарником, постепенно снижалась и выравнивалась у окраины села.

Развалины, видневшиеся в окрестностях Бермухи, разбросанные в лесу остатки когда-то плодоносящих виноградников — все это напоминало о том, что в былые времена жизнь била здесь ключом.

Бури времен разрушили не одну тысячу очагов. Об их существовании говорили не только обломки металла, стекла, керамики, извлеченные из земли приезжими археологами. Красноречивыми свидетелями были также развалины храмов и неприступных крепостей, башни и купола которых, осененные густо разросшимися ветвя-

---

[1] Бермуха — старый дуб.

[2] Цхрамуха — девять дубов.

[3] Кизилбаш — красноголовый; так грузины называли захватчиков-персов.

[4] Гвелети — дословно: змеиное гнездо.

ми инжира и ореха, поныне привлекают взор каждого, кто проезжает Бермуху.

В ту мрачную пору, когда шах Аббас угнал в Персию большую часть населения Кахетии[1], он сжег и выкорчевал виноградники на плоскогорье. Окрестности Гвелети, богатые лесами, славящиеся издревле замечательной родниковой водой, совершенно обезлюдели. Землетрясения разрушили церкви и крепости, время и грозы уничтожили многовековые дубы и ореховые деревья. Песком и илом занесло древние оросительные каналы. Небольшое озеро, которое когда-то называли Оленьим, превратилось в болото — обиталище змей. Колючий кустарник кишел ящерицами.

Но ничто не могло осилить в Бермухе виноградную лозу — кое-где сохранились ее живые корни...

До революции село Бермуха было поместьем князей Вачнадзе. Теперь в бывшем вачнадзевском дворце разместились сельсовет, школа, клуб и колхозная гостиница. Часть здания отвели под почту и склады. Во дворе росли олеандры и магнолии, посаженные некогда генералом Эдишером Вачнадзе.

Под старость генерал, как бы подражая римскому полководцу Цинциннату, занялся сельским хозяйством, привез в эти края лозу с виноградников Франции и разбил английский парк в окрестностях дворца. Все это, в конечном счете, дало повод людям говорить: очень образованный человек этот генерал Вачнадзе.

Старый князь заложил виноградники на Гвелетском плоскогорье, но умудренный боевым опытом вояка оказался в хозяйственных делах беспомощным, как ребенок. Управляющие и агрономы выманивали у него уйму денег, а лоза прижилась лишь кое-где на нескольких гектарах. Генерал вскоре умер, и освоение Гвелетского плоскогорья на этом закончилось. Рано скончался и его единственный беспечный сын, оставив после себя еще более легкомысленного отпрыска — Реваза.

В то время наследник престола — будущий император Николай II — путешествовал по Грузии. Реваз, пригласив его в гости, продал остаток леса, расположенного

[1] Речь идет об опустошительном нашествии персидского шаха Аббаса на Восточную Грузию в 1614 году.

на плоскогорье Гвелети, купил на вырученные деньги ковры, дорожки и устлал ими несколько километров проселочной дороги, ведущей в Бермуху.

Будущий царь, подражая странствующему Христу, приехал в имение Реваза Вачнадзе «верхом на осляти» и, разумеется, был растроган таким приемом. Молодого грузинского князя наградил званием «офицера конвоя его величества». Окрыленный этим Реваз Вачнадзе ревностно служил под началом Гиви Амилахвари, который прославился тем, что во время реакции, последовавшей за 1905 годом, огнем и мечом расправился с крестьянами Карталинии и Кахетии.

Вскоре наскучило Ревазу в Бермухе — в этой «глухой деревне», как говаривала его супруга Тамар. Он вверил свои поместья пронырливому управляющему, поселился в Тбилиси и там кутил в Ортачальских садах[1].

Управляющий был занят лишь тем, чтобы содрать в свою пользу как можно больше податей за пастбища с тушинцев[2], переселившихся в эти края еще до царствования Ираклия II. Княжеское поместье разорялось.

Вскоре Ревазу и его супруге надоело жить и в Тбилиси. Они сдали земли Бермухи в аренду тому же управляющему и укатили в Париж, где жила сестра Реваза — Евфэмия, вышедшая замуж за французского банкира, некоего Алоиза де Мосперо.

К этому времени в Бермухе окончательно погибли виноградники генерала Вачнадзе. Зимой рыскавшие здесь волчьи стаи и даже медведи, забредшие с Кавказского хребта, нападали на стада. Хищники уничтожали посевы. Трудно приходилось безоружным крестьянам.

Постепенно между деревней и Алазанью нагорье переходило в долину; оскудевшая почва, пересеченная ложбинами и оврагами, заросла. Именно тут и виднелись остатки корней упомянутых восьми дубов, когда-то стоявших на большом расстоянии друг от друга.

Тщетно пытались в свое время бермухцы выкорчевать корни этих восьми дубов; они рубили их, жгли, но корни, подобно сказочным драконам, цепко держались за землю, не желая уступать своих владений.

---

[1] Ортачальские сады — один из уголков старого Тбилиси, место увеселительных прогулок и кутежей.

[2] Тушинцы — племя грузин-горцев.

Черные, поросшие мхом, корни эти, выступавшие местами на поверхность, давали по весне хилые ростки, которые напоминали о былом величии своих предков.

И тут же на берегу Алазани, среди останков восьми богатырей, на виду у всех гордо стоял единственный уцелевший старый дуб, много видевший и много переживший. Его могучие ветви, распростертые во все четыре стороны, тянулись к небу. Ствол был дуплистый, кора вся в трещинах. Местами вода, размыв почву, оголила корни дерева; они походили то на извивающихся удавов, распростертых на поверхности земли, то на горбы верблюдов, то на согнутую спину зайца, то на шеи запряженных в ярмо быков. Корни свидетельствовали не только о глубокой старости этого богатыря, но и о его могучей и нерастраченной еще силе.

События, о которых пойдет дальше речь, начались в такое время, когда еще никто не ведал, откуда, с какой стороны в эти края собирается прийти весна. Соизволит ли она, эта дева в зеленом наряде, спуститься к Алазани с закованного в ледяные доспехи Кавказского хребта, или ворвется в Кахетию с плодоносных плоскогорий Средней Карталинии через ущелье Момкода, или, может быть, предпочтет, подобно кизилбашам в былые времена, прокрасться сюда с просторов Ганджийского края и раскинуть белые шатры цветущих вишен в Алазанской долине, которая по своей красоте не имеет себе равных.

Потемнела голубизна заснеженных склонов Кавкасиони[1]. Таинственная синева окутала не только плоскогорье Девяти дубов, но и прибрежные рощи, где в непроходимых зарослях кустарника торчали кое-где кизил и дикая груша. Повсюду на ветвях и стеблях виднелась эта вкрадчивая синева. Уже чуть-чуть покраснели верхушки кустарников, и пугливые лани, выбегая на миг из чащи, ощипывали красноватые росточки.

Именно в один из таких теплых февральских дней под старым, уже известным нам дубом сидела девушка. Она то и дело окидывала взором Алазанскую долину, пристально вглядываясь в уходящую на восток проселочную дорогу. Лицо ее было сосредоточенно, задумчиво.

[1] Кавкасиони — по-грузински Главный Кавказский хребет.

Краски его причудливо сочетали в себе оттенки гранатового цветка и старинной меди. Ее лоб и щеки покрывали едва заметные веснушки. Чуть вздернутый носик. Тонкие и острые брови медового цвета. Большие темно-синие глаза. На энергичном подбородке — ямочка. Красные, припухлые, чувственные губы.

Внимательный взгляд сумел бы заметить над верхней губой девушки легчайший пушок, подобный тому, каким покрывается персик, когда его уже нельзя считать зеленым, но и нельзя признать, что он созрел.

Девушка устала от ожидания. Ее глаза, утомленные ярким солнцем, подернулись влагой. Она обняла обеими руками свои колени и склонила на них голову, оплетенную двойным кольцом каштановых кос.

И пока она сидела так неподвижно, к дереву приблизился рослый широкоплечий юноша. Его кудри — такого же цвета, как у нее,— прикрывала похожая на ласточкино гнездо тушинская шапочка из черной шерсти, какие в былые времена носили под шлемом грузинские рыцари, а сейчас носят колхозники Восточной Грузии. На нем была коричневая рубаха, аккуратно застегнутая на все пуговки и опоясанная грузинским поясом; с левой стороны висел в черных ножнах кинжал. Сапоги с высокими мягкими голенищами подчеркивали стройность его ног. Он двигался легко и плавно, подчиняясь какому-то внутреннему ритму. Под ногами шуршали прошлогодние листья.

Девушка вздрогнула, подняла голову и смутилась. Она подумала: «Напрасно я отпустила на мельницу Натию Таралашвили. Случайную эту встречу могут принять за условленное свидание, пустить сплетню...»

Она встала, поспешно ответила на приветствие и снова бросила взгляд на Алазанскую долину, туда, куда ушла ее подруга. Натии уже не было видно, но бермухская детвора находилась не так уж далеко — гнала свиней на пастбище.

Девушка подумала: «Нас, вероятно, уже увидели и решили, что у нас свидание».

Юноша спросил вполголоса:

— Председатель не приходил, Нуну?

— Нет,— вежливо ответила она

— А где же остальные звеньевые?

— Натия была здесь и побежала на мельницу — отца проведать.

— Я встретил Датуну, Вано и Габо. Они тоже придут сюда, к старому дубу.

— Я и Натия давно уже ждем здесь,— сказала Нуну. Девушка заметила: услышав имя Натии, юноша смутился.

— Ты ведь говорил, Годердзи,— обратилась она к нему,— что приведешь дедушку Микелу, он не хуже наших агрономов знает, как ухаживать за виноградниками. Где же он?

— Его должна привести Баблиа,— оправдывался юноша.— Я с утра побежал в райком встречать комиссию ЦК. Там сказали, что она направилась сюда. Я шел тропинкой, по самой короткой дороге и, должно быть, обогнал их.

— Наверное, и наш председатель вместе с комиссией,— заметила Нуну.

— Нет, не думаю. Я утром заходил к Тедо, и жена сказала, что ночью его лихорадило. Если он сумеет подняться, то, возможно, придет позже.

— Постарел наш Тедо,— с грустью произнесла Нуну.

Юноша закурил и посмотрел на дорогу, ведущую к селу, потом, обернувшись лицом к сверкающей на солнце Алазани, уселся в отдалении от Нуну на один из корней старого дуба.

Кто бы ни увидел их в эту минуту, сказал бы: это брат и сестра. Я не думаю, что Вис и Рамин или Абесалом и Этери были так похожи друг на друга, как Нуну и Годердзи. Они были подобны двум долям разделенной сердцевины ореха, хотя сами этого не замечали, как не замечали, впрочем, и другие. В те годы у колхозников Бермухи было столько забот, что ни у кого не было ни времени, ни охоты выяснять, кто на кого в этом селе похож.

На тушинку Нуну Уджираули заглядывались многие юноши. Но Нуну была такой застенчивой и скрытной, что никто не знал, кто мил ее сердцу,— она никогда не давала повода для сплетен.

Возможно, конечно, и то, что любовь легче овладевает сердцами праздных и беззаботных, а жизнь Нуну сложилась так тяжело и безрадостно, что было ей не до любви.

Мать Нуну рано умерла, а отец — Гоброн, бывший батрак князя Вачнадзе, спился с горя. Некто Коберидзе — торговец вином — заманил его в город, обещал золотые горы. Но дальше обещаний дело не пошло.

В городе Гоброн окончательно спился. Таким он и вернулся в родное село. И не один — привез с собой, или, как обычно говорили его родственники, «притащил» новую жену, совершенно никчемную женщину — Кетуа. И здесь, у себя дома, Гоброн продолжал вести разгульный образ жизни. Как горох от стенки, отскакивали от него отеческие наставления председателя сельсовета и председателя колхоза.

«Стыдно,— говорили они ему,— пьянствовать и бездельничать. Каждый из нас пьет вино, но надо же знать меру. До добра это тебя не доведет...»

Гоброн отмалчивался. В конце концов он заболел белой горячкой и повесился в хлеву, оставив миру плод своей запоздалой любви — припадочного сына с кривыми, короткими ногами и уродливой, удлиненной кверху, конусообразной головой.

Ожесточенная Кетуа не уставала поносить своего мужа, находящегося уже в могиле. «Он искалечил мою жизнь!— кричала она.— Проклятая Бермуха!»

Будучи не в силах отомстить мертвому, она срывала свою злость на падчерице, ежедневно грозясь выгнать ее из дому. Кетуа думала: если ей удастся избавиться от Нуну, то она продаст дом и участок и возвратится в Тбилиси.

Нуну исполнилось только тринадцать лет, когда Кетуа начала приставать к ней: «Выходи замуж!» Дважды выгоняла она сироту из отцовского дома. И только энергичное вмешательство райкома комсомола оба раза сорвало ее замыслы. Нуну была бесконечно благодарна за защиту от происков мачехи и самоотверженно трудилась в колхозе.

Годердзи Эланидзе тоже не был избалован судьбой. Дедушка его, Микела, в течение десяти лет ухаживал за виноградниками генерала Вачнадзе, а когда его наследники отказались заниматься виноградарством, Микела около двадцати лет проработал пекарем у них же в доме.

Это трудное ремесло сделало его слепым — ведь при-

ходилось все время иметь дело с раскаленным тонэ[1]. Ко многим докторам водил Годердзи своего любимого деда, и наконец удалось частично вернуть старику зрение.

Единственный сын дедушки Микелы, Закара, отец Годердзи, работал пастухом в колхозе. Это был человек необычайно крепкого здоровья: одной рукой он мог, словно прутик, согнуть подкову мула.

И Закара стал жертвой своей неимоверной силы, вернее своей беспечности. Как-то ненастным вечером на колхозное стадо напал медведь. Безоружный Закара стал отбиваться от зверя кизиловой палкой, которая сразу же переломилась, словно ледяная сосулька. Что произошло потом — нетрудно догадаться. Когда Годердзи привез домой завернутое в бурку растерзанное тело отца, дедушка Микела, потрясенный горем, схватился за голову и снова перестал видеть.

Рано умерла у Годердзи и мать. Вырастила его тетка Теброния — сестра отца. Но в ту памятную ночь, когда погиб отец Годердзи и окончательно ослеп дедушка Микела, она сошла с ума. Каждый раз в новолуние ею овладевал недуг — она корчилась в припадке, и её душераздирающие вопли разносились по всему селу.

Юношу уговаривали отвезти тетку в Тбилиси, в больницу для душевнобольных, но он жалел несчастную и терпеливо ухаживал за слепым дедом и больной теткой. Ему помогала в этом младшая сестренка Баблна. Годердзи был очень занят — он работал бригадиром в колхозе. Поэтому на долю Баблны пришлись все заботы о доме, и она была настолько занята домашними делами, что не смогла учиться в школе.

Пережитое оставило свой след в душах Годердзи Эланидзе и Нуну Уджираули. На их лицах появились преждевременные морщины. Чуть заметные линии обозначились и в уголках губ. Двадцатичетырехлетний юноша и девушка, встретившая свою двадцать вторую весну, редко смеялись, неохотно разговаривали, любили оставаться наедине с природой... Все это делало их сходство еще более глубоким.

---

[1] Т о н э — врытая в землю печь, где пекут грузинский хлеб.

Поскольку автор этих строк считает себя летописцем человеческих судеб, то он время от времени отправлялся в Бермуху, чтобы лучше узнать жизнь своих героев и их дела. Солнце, как известно, отражается не только на зеркальной поверхности океана, но и в капельках утренней росы. В данном случае такой капелькой росы являлось маленькое и глухое село Бермуха, которое трудно даже найти на карте Грузинской республики.

Давно уже я знал, что плоскогорье Девяти дубов собираются засадить виноградной лозой. Меня, не скрою, волновала эта идея, и я прежде всего, разумеется, интересовался людьми, которые призваны были ее осуществить,— главными героями моего романа: звеньевой бермухского колхоза Нуну Уджираули, бригадиром Годердзи Эланидзе, моим старым другом — доктором сельскохозяйственных наук, профессором Вахтангом Коринтели, да и другими.

После этого небольшого отступления мы можем снова вернуться к сидящим под старым дубом Нуну Уджираули и Годердзи Эланидзе, которые вместе со своими товарищами ждали здесь приехавшую из Тбилиси комиссию Центрального Комитета партии.

1. КТО «ЗА» И КТО «ПРОТИВ»

— Годердзи, ты не знаешь, зачем нас позвали? — робко спросила Нуну.

Этот вопрос интересовал всех собравшихся у старого дуба.

— Я еще никого не видел,— ответил юноша.— Комиссия ЦК приехала утром. Не знаю, насколько это верно, но... в райкоме поговаривали, что у нас в Бермухе будут закладывать виноградники.

— Виноградники? — раздались удивленные голоса.

Годердзи тихо заметил:

— Не будем верить слухам. Посмотрим, что скажет комиссия.

К старому дубу в это время подошли Натия Таралашвили и Тандил — сын долговязого Гиго, трактористы Вано Хелашвили, Ника Уджираули и Коля Соколов.

Пришел и сел под старым дубом Абриа Уджираули со своими семью внуками — тот самый Абриа, которого в селе называли «злоязычным».

В Бермухе, как и по всей Кахетии, почти каждый человек имел прозвище. В старину суеверные люди думали так: когда ангел смерти придет за душами людей и спросит: «Где Вано, Габо или Абриа?», то ему трудно будет их обнаружить, ибо каждый из них, кроме своего имени, полученного при крещении, имел еще прозвище и мог укрыться за ним. В наши дни прозвища имеют, конечно, иной смысл: они выражают отношение к человеку,

соответствуют его характеру, приметам. Иногда же прозвищем наделяют просто из озорства.

К старому дубу подходили все новые и новые люди: старые охотники и виноградари — Таркошаидзе, Чигладзе, овцеводы и пастухи — Мирианашвили, Кевришвили, Торгваидзе, Джинчараули, свиновод Нико Ростиашвили — он же Попола; появились и мельник Соломон Гулухаидзе, прозванный Ниортавой (чесночноголовый), сочинитель частушек весовщик Чачкани, бухгалтер Котале, колхозники: Ментешашвили, он же Чача, Тенешвили — Хрукия, Стефане Маргиашвили по прозвищу Лалбаца, Георгий Хелашвили, он же — Гагриа (деревенщина). Здесь был и шофер Канкрэ.

Позже всех добрался до старого дуба дедушка Микела, которого вела за руку маленькая Баблиа. С трудом отдышавшись, он поздоровался с односельчанами.

Все встали. Поднялся и Абриа Уджираули. Он подвел старика к одному из корней дуба, который напоминал спину двугорбого верблюда: бермухцы называли его «верблюжьим горбом». Возможно, что когда-то, в былые времена, дуб этот был культовым деревом и глава рода или жрецы древопоклонников восседали на том самом «верблюжьем горбу», к которому подвели сейчас слепого Микелу.

— Садитесь,— сказал старику Абриа.

И тот, пошарив рукой по корню, уселся на него верхом.

— Сегодня не усаживайте меня на этот «верблюжий горб», а то тбилисцы примут меня за старого князя,— пошутил он и, уставившись своими потухшими зрачками в пространство, добавил:— А ну-ка, посмотрите — разве не похож я на старого князя?

Все засмеялись.

Дедушка Микела и впрямь выделялся своей незаурядной внешностью. Был он росл и широкоплеч. Его высокий прямой лоб избороздили тоненькие морщины, расположенные так симметрично, словно над этим потрудился резец искусного гравера. Такие же морщины испещряли его скулы, покрытые, кроме того, тонкими красными жилками, какие выступают обычно на лицах любителей вина. Белые мохнатые брови как бы отделяли его лоб от больших, но невидящих глаз.

— Князей теперь уже не сажают на это место, мой

Микела,— произнес, улыбаясь, обычно угрюмый Абриа.— Им отвели другое, менее почетное место...

— Эх, давно не поднимался я сюда,— прокряхтел Микела.— Чего только я не перевидел под этим старым дубом. Здесь сек своих крепостных отец Эдишера Вачнадзе. Здесь он собирал крестьян для отражения набегов на Кахетию. Словно вчерашний обед, помню: в тот год, когда Шамиль подошел к Цинандали, на этом «верблюжьем горбу» сидел генерал Вачнадзе и раздавал кремневые ружья народу. И ты, бичо[1] Абриа, был здесь в тот день...

Раздался смех: дедушка Микела назвал бичо восьмидесятилетнего Абриа.

— Сколько воды утекло с тех пор,— продолжал Микела.— Жизнь казалась нам тогда долгой, а она-то коротка, как заячий хвост. И все-таки хороша эта жизнь, дети мои, в особенности для того, кто может смотреть на солнце.

— Смотреть на солнце — дело небольшое, мой Микела,— проворчал Абриа.

— Не греши, злоязычный, перед богом,— прервал его Микела.— И пусть не надоест вам глядеть на солнце, дети мои. Вы и сами не знаете, как вы счастливы, если можете видеть сверкающую Алазань. Я двадцать лет глядел в пылающее тонэ и окружен теперь тьмой. Внуки мои рассказывают мне о больших делах, которые творятся на свете, но я ничего этого не могу видеть. И мне кажется, они рассказывают сказки. Благодарите бога, дети мои, за то, что у вас зрячие глаза и вы способны трудиться. Вы можете собственными глазами видеть цветение лозы... Наступит осень, лозы согнутся под тяжелыми золотистыми гроздьями, и потом, словно рубин, заискрится вино, текущее в квеври[2]. Разве может что-либо сравниться с этим?! Я так наказал своим внукам: когда умру, пусть похоронят меня на посаженном мною винограднике. Там каждую весну будут оплакивать меня мои лозы. Годердзи и Баблил и так надоело возиться со мной. Они поплачут и забудут старика. И одни лишь лозы будут оплакивать меня...

[1] Бичо — парень.

[2] Квеври — большой глиняный узкогорлый сосуд для хранения вина, зарываемый в землю.

Не успел дедушка Микела произнести эти слова, как послышался автомобильный гудок со стороны Алазани. Ребятишки вскарабкались на дерево и увидели вдали сверкающий отблеск солнечных лучей на фарах автомобиля.

Машина, тяжело урча, поднималась по неровной проселочной дороге. За ней бежали сельские ребятишки, оставив без присмотра скот. Их приводил в восторг блеск хромированных частей автомобиля. Земля была еще мокрой от дождя. И хотя машина, напрягаясь и буксуя, старалась изо всех сил подъехать к старому дубу, ей это не удавалось.

Молодежь сбежала по тропинке навстречу гостям.

К старому дубу неторопливо поднимались секретарь райкома Цихиставн, районный агроном Мелитаури и еще двое: профессор Вахтанг Коринтели и инструктор Центрального Комитета партии Ахалкаци.

Профессор Коринтели был широко известен своими трудами по виноградарству. Он часто оказывал помощь приезжающим к нему в город бермухцам; кому доставал медный куфорос или опрыскиватель, кому дарил нужную литературу. Местные жители считали его своим человеком. Им известно было, конечно, и то, что Коринтели зять князя Вачнадзе.

Гости поздоровались. Колхозники в ответ сняли шапки, все, кроме дедушки Микелы и Абриа Уджираули. Абриа, казалось, и не заметил гостей,— он спокойно, сосредоточенно, как и свойственно старым людям, строгал ножом палку.

— Кто такие, дочка?— спросил дедушка Микела маленькую Баблию.

Девочка оглядела гостей и не нашлась что ответить. Стоящий рядом Годердзи поспешил на помощь сестре. Как только дедушка Микела услышал фамилию Коринтели, он воскликнул:

— Вачнадзевский зять, что ли?

Абриа и другие старики отметили, что у их ученого земляка заметно поседели волосы — он тоже подвержен действию времени.

Коринтели подошел к Микеле.

Годердзи шепнул старику:

— Профессор приветствует тебя, дедушка.

— Наш зять, вачнадзевский зять, да?— пробормотал

Микела и провел своей длинной, костлявой рукой по стоявшему перед ним гостю.

— Как живете, дедушка Микела?— спросил Коринтели.

— Не могу сказать — хорошо, сынок, потому что так говорить может лишь тот, кто своими собственными глазами видит прелести этого мира. Не могу пожаловаться и на то, что живу плохо, потому что хороший человек не может жить плохо.

— Правильно, дедушка Микела,— ответил Коринтели,— в наше время хороший человек не должен плохо жить.

К ним подошел секретарь райкома.

— Дедушка Микела — старейший среди мужчин в нашем районе,— сказал он,— как этот дуб — старейший среди деревьев.

Агроном Мелитаури поднял голову и так внимательно посмотрел на дерево, словно впервые увидел его. Потом он обернулся к Коринтели:

— Сколько лет, по-вашему, профессор, этому дубу?

— Спросим сначала старца.

Помолчав немного, Микела ответил:

— От деда моего я слышал: тысяча лет нашему дубу.

— А тебе самому, дедушка Микела, сколько?

— Если не соврал крестивший меня поп, то в январе этого года исполнилось сто двадцать.

Теперь Коринтели внимательно оглядел дерево и сказал, обращаясь к Мелитаури:

— Нужно установить возраст этого дуба, осмотреть его внимательно... Я встречал подобные деревья в южных Альпах и Пиренеях. Их возраст — около тысячи пятисот лет. Ширина этого дуба в обхват — три метра, высота — видите, какая... Ему, я думаю, действительно не меньше тысячи лет.

Когда закончился разговор о старом дубе, дедушка Микела полюбопытствовал:

— По своей воле приехал к нам или правительство послало?

Улыбка скользнула по лицу Коринтели.

— Когда едешь на хорошее дело, всегда чувствуешь себя посланцем правительства, дедушка Микела.

— Ну, и что велело передать нам правительство?— допытывался старик.

— Правительство,— мягко произнес Коринтели,— велело передать: боритесь за ещё более счастливую и радостную жизнь. Хватит вам трястись на арбах и ковыряться мотыгой в земле. Так просили передать вам, дедушка Микела.

Абриа-злоязычный наморщился, перестал строгать палку.

— Хорошо бы это,— вставил он.— Но кто принесет нам эту лучшую жизнь?

— Ваше собственное усердие,— ответил профессор.

Абриа опустил голову и снова принялся строгать палку.

Абриа-злоязычный служил в свое время саркалом[1] у генерала Вачнадзе, пас многочисленную отару его овец. Он не был тем наивным и романтическим пастухом, какие воспеты буколической поэзией. Наоборот, это был предприимчивый, видавший виды, как говорят, человек, исходивший со своими отарами северные и южные склоны Кавказского хребта. Для него не представляло особого труда обманывать своего хозяина.

В годы господства грузинских меньшевиков Абриа владел не одной тысячей голов овец. Он сам уже нанимал крестьян, чтобы они пасли его стада.

Но пришла Советская власть, и Абриа лишился богатств. Потому-то он и ворчал беспрестанно.

Односельчане привыкли к этому. Они многое прощали ему, как старому человеку и лучшему мцноби[2].

Профессор Коринтели скользнул взглядом по насупленному лицу Абриа, по его огромной курчавой папахе. Пастушеский тулуп еще более подчеркивал богатырскую мощь его широких плеч. Потом Коринтели перевел взор на сидящих за его спиной старых тушин из родов Уджираули, Таркошаидзе, Торгваидзе и сказал:

— Вы лучше моего знаете благородную почву Кахетии, знаете и то, что если здесь через плечо невзначай бросить на землю зерно, то золотыми ростками прорвется оно к солнцу. Я еще с юности полюбил этот край, часто езжу по Кахетии. Я вижу ваши виноградники, поля, сады и огороды, ваши дома, ваши дороги и

[1] Саркал — старший пастух.

[2] Мцноби — опытный пастух, знаток овец, умеющий безошибочно определить мать каждого ягненка и именно к ней подогнать ее детеныша.

должен признаться, друзья, не в восторге от них. Не так, как следует, ухаживаете вы за вашей землей.

Абриа снова перестал строгать свою палку. Он поднял голову и вяло, как бы мимоходом, бросил Коринтели:

— А кто же ухаживает за ней, если не мы?

— Ухаживать-то ухаживаете, но не так, как следовало бы. Вы же сами видите, что все плоскогорье Девяти дубов заросло папоротником и колючкой. А ведь здесь можно было заложить чудесные виноградники, которыми пользовались бы вы, ваши дети и внуки. Разве не так, дедушка Микела?

— Так-то это так,— откликнулся Микела,— но где, сынок, взять силы для этого? Колхоз наш беден, нас мало, и мы еле-еле сводим концы с концами.

— Слабых и бедных не должно быть в нашей стране, дедушка Микела. Все дело в усердии и умении. Ну-ка взгляните на соседние колхозы. Как переполнены их амбары и марани[1].

— Что это за особое «умение»!— съязвил Абриа.— Может быть, вы и меня, старика, научите этому «умению»?

— А что же, наука не что иное, как умение,— поддержал профессора инструктор ЦК Ахалкаци.— Мы должны умеючи применять свои знания, обработать плоскогорье Девяти дубов, разбить там виноградники.

— Кто поручил вам это сделать?.. Правительство?— спросил дедушка Микела.

Ахалкаци помедлил и твердо произнес:

— Правительство.

— Бывали вы в Тбилиси?— обратился к дедушке Микеле профессор Коринтели.

— Не раз,— ответил старик.

— Сколько дней приходилось ехать на арбе?

— Три дня и три ночи, если не больше.

— Сейчас мы уже не ездим на арбе, дедушка Микела. Автомобиль покрывает это расстояние за три часа. А если понадобится — прилетим и на самолете за двадцать минут. Раньше мы сохой и мотыгой ковырялись в земле, а теперь у нас есть такие мощные тракторы и землеройные машины, что за одну неделю можем выкорчевать все эти дикие заросли.

[1] Марани — погреб.

— Как? За одну неделю вы собираетесь выкорчевать корни всех восьми дубов? — спросил удивленный Микела. — Ещё генерал Вачнадзе и его управляющий, как я помню, пытались это сделать. На один крошечный участок они бросили сто человек и семь упряжек волов, и костры разожгли на местах, где росли дубы, рубили остатки корневищ. Три месяца трудились и сумели сделать пригодным для посева лишь небольшой клочок земли. Сколько лет прошло с тех пор! Мы, бермухцы, немало рубили и кромсали эти корни, однако они и сегодня все там же.

— Разве только корни восьми дубов? Вот вы сегодня проходили по этому плоскогорью, — вставил Абриа, — и, наверное, видели немало остатков корневищ ольхи, карагача, бука. Вы думаете, легко их будет выкорчевать?

Его поддержал младший брат, Луо, по прозвищу Квавия — ворон.

— Дело тут не только в корневищах. Ведь почва здесь каменистая, песчаная, выветрившаяся и совершенно размытая потоками. Или вон та часть плоскогорья, в районе крепости Мамуки, — указал он пальцем на север. — Весною с гор стремительно ринутся вниз потоки, и тогда мы увидим, какие виноградники здесь выживут!

— Верно, верно, я то же самое говорю, — заворчал Абриа.

Коринтели улыбнулся.

— Мы как раз осматривали тот участок, — ответил он, — потому-то и задержались немного. Правда, земля ваша каменista, но она не выветрена. Именно такую и любит лоза. В те края, где земля, отведенная под виноградники, бедна камнями, их специально привозят. Что же касается потоков талых и дождевых вод, то мы с ними как-нибудь справимся, заставим эту воду служить нам, — построим ГЭС! Будут тогда у нас и свет, и вода для орошения.

Ахалкаци оглядел людей.

— Еще кто хочет высказаться, товарищи?

Снова заговорил Луо Уджираулы.

— Может быть, конечно, мы сумеем и корни восьми дубов выкорчевать и дождевым потокам дать направление. Но вот что я знаю: на остатках корней этих ду-

бов гнездятся медведки. Разве они дадут вырасти виноградной лозе?

Здесь Абриа поддержал брата:

— Лоза кое-чем похожа на овцу,— сказал он,— тысячи врагов и вредителей она сама на себе носит. Но с такими хищными врагами овец, как волки, шакалы, лисы и барсуки, мы легко справляемся при помощи ружья, капкана и дубины. Враги же виноградной лозы невидимы — они ходят подземными путями, скрытыми от нас. Даже еж, тот самый ёж, который ни с кем не враждует, кроме змей,— враг лозы. Спросите-ка деда Микелу, старого вачнадзевского виноградаря. Генерал тоже посадил виноградники на плоскогорье Девяти дубов, но проклятые медведки сожрали лозу...

Дедушка Микела не заставил ждать себя. Он повернул голову в сторону гостей и тихо сказал:

— Помню, как будто вчера это было, как раз на этом самом «верблюжьем горбу»...— он немного запнулся,— вот здесь сидел генерал Вачнадзе. «Помогите мне, говорил он, бороться с проклятой медведкой». Его управляющий и агрономы стояли там, где вы сейчас находитесь, и не могли произнести ни одного слова. И то я помню, дети мои, как по приказанию генерала ходил я от села к селу, с трудом собрал человек двести. И под предводительством генеральского управляющего и агрономов стали мы мотыжить и копать виноградники — искали эту проклятую медведку. Больше тысячи лоз окопали, переворошили все вокруг, но нигде не нашли и следа этой окаянной твари. Потом словно взбесилась она, проклятая. Как принялась за лозу — сожрала все!..

Дедушку Микелу дружно поддержали Уджираули и Ичираули, Торгваидзе и Таркошаидзе, Лалбаца и Гагриа. Им хотелось, чтобы плоскогорье Девяти дубов осталось пастбищем для скота и местом охоты. Да можно ли было возразить Микеле?! Казалось, что его доводы неопровержимы.

Но вот поднялся профессор Коринтели и заговорил, словно учитель с учениками, терпеливо разъясняя их заблуждения.

— Здесь правильно говорили товарищи, что у лозы множество врагов. К их числу принадлежит даже еж, который, как известно, ни с кем, кроме змей, не враждует. Он — тоже заклятый враг лозы...

Тут Абриа оторвался от своего дела и кивком головы выразил одобрение словам профессора. Ему казалось, что Коринтели уже согласился с ними.

— Лоза по своей беспомощности действительно похожа на овцу,— продолжал профессор.— Ей вредят не только многие видимые нашим глазом существа, но и многие незримые паразиты — чраки, нацари — и крошечные, еле различимые грибки. Дедушка Микела сказал правду: у генерала Вачнадзе медведка действительно пожирала виноградники. Не только воинам следует быть осторожными, но и хозяйственникам.

Все это верно. Однако верно и то,— здесь Коринтели сделал многозначительную паузу,— что наука не стоит на месте, она далеко продвинулась вперед со времен, когда в Бермухе хозяйничал генерал Вачнадзе. Медведка распознана. Страшный этот зверь,— профессор иронически улыбнулся,— не что иное, как мраморный жучок. И бороться с ним мы уже можем. Мы располагаем сейчас всеми необходимыми средствами для борьбы с врагами виноградной лозы. И пусть этот самый мраморный жук, или, как вы его называете, медведка, не пугает вас больше,— он нам уже не страшен.

Настроение несколько изменилось. Но дух противодействия еще не был сломлен.

— Еще кто желает высказаться?—спросил Ахалкаци.

Тогда выступил шофер Канкрэ — человек, который, как всем было известно, не привык отвечать за свои слова.

— Я хорошо разбираюсь в тракторе,— бахвалился Канкрэ,— и решительно утверждаю, что тут, у Девяти дубов, никакой трактор работать не сможет.

Бормоча и запинаясь, Канкрэ повторил эту свою мысль раза три, потом посмотрел на секретаря райкома Цихистави и продолжал:

— Мы вот сидели здесь под старым дубом и смотрели, как поднималась к нам ваша машина. Ей и то трудно было двигаться. Что же вы думаете: легко будет трактору карабкаться по размытым потоками склонам, где на каждом шагу овраги?

Раздалось несколько голосов: «Правильно, правильно!» Громче всех кричали Лалбаца и Гагриа, которые сидели на корточках за спинами стариков.

Речь Канкрэ ободрила мельника Соломона Гулухадзе, по прозвищу Ниортава, страстного охотника.

— К чему все эти разговоры о виноградниках?— воскликнул Ниортава.— Разве не известно, что на этом плоскогорье водятся шакалы? Они сожрут весь виноград...

Секретарь райкома посмотрел в сторону молодежи.

— Может быть, кто-нибудь из вас хочет высказаться?

Тогда-то и выступил Годердзи Эланидзе.

— Партия учит нас, что нет таких крепостей, которых мы не смогли бы взять. Неужели нас испугает медведка, или, как сейчас профессор Коринтели назвал этого вредителя,— мраморный жук? Да пусть он будет не то чтобы мраморный, а даже кремневый! Что же касается Канкрэ, который утверждает, что будто на плоскогорье Девяти дубов трактор не сможет работать, то это так же смешно, как и смешон мельник Ниортава, испугавшийся шакалов. Этого еще не хватало. Мы не боимся сразиться со львами, а нас пугают тут жалкими шакалами.

Канкрэ, Лалбаца, Гагна и мельник Ниортава зашумели. Возмутился и Абриа-злоязычный. Но он не проронил больше ни слова — лишь стал еще яростнее строгать свою палку.

У Годердзи нашлись союзники среди комсомольцев. Его горячо поддержали Вано Хелашвили и трое Уджираули, внуки Абриа.

— А что думают колхозницы?— обратился к женщинам секретарь райкома.

И тут поднялась веснушчатая девушка. Преодолев свое смущение, она сказала:

— Профессор Коринтели прав: наука — это умение. Здесь нам напомнили, как медведка сожрала генеральские виноградники. Медведка и разные жуки страшны тем, кто не знает, как с ними бороться. А мы знаем, и ничего страшного в этой медведке на самом деле нет. Нас ведь много, и если мы вооружимся знаниями, то даже самая трудная задача станет легкой.

— Кто эта девушка?— спросил Коринтели.

— Нуну Уджираули, звеньевая,— ответил Годердзи.

Выступление всегда молчаливой Нуну рассердило пожилых женщин.

— Выскочка, бесстыжая,— шипели жены и невестки из родов Уджираули, Торгваидзе, Таркошаидзе.

Гнев охватил Абриа и Луо. Ведь Нуну была внучкой их младшего брата. Грыз от злости ногти и Канкрэ.

2. ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ...

После встречи с колхозниками Коринтели предложил членам комиссии до составления докладной записки Центральному Комитету осмотреть плоскогорье Девяти дубов.

Пришедший под конец председатель колхоза Тедо Таралашвили, глянув на небо, заметил:

— Кажется, дождь пойдет. Не лучше ли отложить осмотр до завтра?

— Нет, мой Тедо,— возразил Коринтели,— не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вопрос о расширении площадей под виноградники стоит, как мне известно, будет стоять на очередном заседании бюро ЦК. Нам нужно торопиться.

Ахалкаци и Цихиставп поддержали его.

Они проехали небольшое расстояние на машине, потом пошли пешком по тропинке, с трудом преодолевая подъемы и спуски. Коринтели опирался на кизиловую палку с острым наконечником, которую одолжил ему председатель колхоза. Стоило ему оступиться, как тотчас рядом оказывался Годердзи и почтительно поддерживал его.

Коринтели временами останавливался, концом палки расковыривал землю, клал комочек ее на ладонь, внимательно рассматривал, затем объяснял всем, какими чудесными свойствами обладает, какая благодатная здесь почва для будущих виноградников.

Чем дальше они шли, тем пустыннее становилась окрестность; тропинки исчезали в разросшемся колючем кустарнике, и Годердзи то и дело приходилось искать новую дорогу.

Коринтели, отвыкший от хождения по бездорожью, часто сбивался с пути, переходил на протоптанные овцами тропинки, натыкался на густое переплетение колючек, и тогда ему на помощь снова приходил Годердзи и кинжалом расчищал ему путь.

Шум человеческих шагов вспугивал фазанов. Они бежали по земле, набирая скорость, подобно самолетам на аэродроме, потом раздавалось хлопанье крыльев, и птицы, оторвавшись от земли, проносились над кустарниками.

Коринтели говорил Годердзи:

— Скоро, очень скоро придут сюда тракторы и грейдеры, эти буйволы цивилизации. Они разворошат гнезда фазанов, нарушат покой оленей, косуль, кабанов. Ничего не поделаешь! Если не переделывать природу, она остается бесполезной для человека. В конце концов вся цивилизация — насилие над природой. Без этого насилия никогда ничего не создавалось на свете...

Он снова и снова ковырял палкой землю, внимательно рассматривал разрыхленные комья и радостно делился со своими спутниками мыслями о богатстве этой земли, о ее будущем.

На ходу он заносил в блокнот топографические сведения о местности. Потом он достал перочинный нож, ухватился рукой за свисавшую с ольхи колючую терновую ветвь и попытался срезать ее, но не смог.

Годердзи срубил ветку кинжалом.

Коринтели подошел к Цихистави и взял его под руку.

— Этот паразит мешает дереву расти,— сказал он.— Плодороднейшая земля, призванная вскормить благороднейшую виноградную лозу, питает — увы!— никчемную колючку. Задача науки — смести с лица земли бесполезные и вредные растения, заменив их нужными человеку, плодоносящими.

Чем дальше они продвигались вперед, тем труднее было найти дорогу среди колючих зарослей. Правая рука Годердзи была ободрана до крови.

Секретарь райкома окинул взглядом размытую потоками, изрезанную оврагами северную часть плоскогорья и обратился к Коринтели:

— Как вы все-таки думаете, профессор, не будут ли дожди размывать почву на этом участке?

Коринтели остановился. Он вытер пот с лица и посмотрел на далеко простирающееся русло оврага, в глубине которого блестела тоненькая полоска ручейка, пробивающего себе путь среди огромных валунов.

Тедо Таралашвили сказал:

— Вы видите этот волчий овраг, такой безобидный на вид? Как только растают снега в горах и пройдут дожди, он наполнится водой, которая устремится вниз и затопит всю эту равнину.

Коринтели ответил:

— Что же делать! Ведь отсюда до восточной границы старой Кахетии, до самой Нухи, вся местность — отроги Кавкасиони, горы и холмы — пересечена подобными оврагами.

Он устремил взгляд на сверкающий вдали белоснежный Кавкасиони, один из отрогов которого — Кварельские горы — с трех сторон обступали плоскогорье Девяти дубов и расположенные на берегу Алазани села.

— Но счастье этого края,— продолжал Коринтели,— в том, что его горы и холмы не опалены солнцем так, как в Картли. В этих оврагах скопляется уйма ветвей и листьев, гниющих от обильных осадков. Все это — весьма ценное удобрение.

В других условиях мы специально его собираем на компост и подкармливаем лозу. Здесь же это делает сама природа. Как только приходит весна, водные потоки несут с гор в долину растительные и минеральные удобрения. В старое время такие потоки причиняли немалый вред садам и посевам. Теперь же, при нашей технике, их не трудно обуздать.

Коринтели обратился к Мелитаури:

— Эта почва очень богата калием и фосфором. Не участок, а настоящий золотой фонд...

Коринтели взглянул на горный хребет и с чувством произнес:

— Кавкасиони!.. Он еще мало воспет нашими поэтами. А ведь он, словно родная мать, дает жизнь нашим рекам, виноградникам, нивам.

Послышался рев быков. По оврагу, направляясь к Бермухе, двигалось стадо.

Коринтели с горечью сказал Цихистави:

— Ну, на что похожа эта корова с высохшим выменем и этот бык с тощей спиной? Окрестности Бермухи настолько богаты пастбищами, что просто стыдно смотреть на такой невзрачный скот. Мы должны постараться в ближайшие же годы заменить весь местный скот породистым.

Цихистави думал о том же.

— Три колхоза Кварельского района получили уже пять племенных быков и около ста хевсурских коров.

Они присели возле упавшей ольхи, закурили. Годердзи, усевшись у ног профессора, внимательно слушал его, то и дело задавая вопросы.

Коринтели обратил внимание на росший неподалеку куст кизила и попросил Годердзи:

— Будь добр, пойди и срежь мне хорошую кизиловую палку. Мне ведь придется еще не раз бродить по этим местам. Только постарайся выбрать прямую и с развилкой на конце. Тогда я верну Тедо его палку.

Вместе с Годердзи пошел и Тедо. Коринтели разговаривал с Цихистави.

— Очень способный юноша,—сказал он о Годердзи.— Человек, задающий вопросы, так же раскрывает себя, как и тот, кто отвечает на них. Он задавал мне такие вопросы, что я просто был поражен.

Цихистави ответил:

— Да, вы правы, профессор, Годердзи — наш воспитанник. Мы собираемся выдвинуть его председателем колхоза. Тедо давно уже просит освободить его — он ведь состарился, да еще и болеет, бедняга.

На тропинке показались пастухи. Из чащи кустарника вынырнули овчарки. За ними появились овцы.

Коринтели сказал:

— Я не в восторге от монгольской овцы, но, видимо, наш народ с давних времен разводил эту породу,— в Грузии ее называют хвостатой.

— У монгольских овец больше жиру,— заметил Ахалкаци.— Сейчас мы выводим тонкорунных метисов. Я не зоотехник, но считаю, что насущно необходимо взяться за скрещивание пород скота.

Англичане, как известно, скрестили свою породу лошадей с бедуинской и вывели замечательные экземпляры.

А разве холмогорские, голландские пестрые и немецкие красные коровы не результат метизации? Грузинская хвостатая овца нуждается в обновлении. Надо скрестить и тушинскую лошадь.

Мне приходилось в Хевсуретии ездить на этих тушинских лошадях, и я не думаю, чтобы какая-нибудь другая порода сравнилась бы с ними на горных дорогах. Метизации требуют и горная мегрельская лошадь и короткошерстная мегрельская коза...

Мимо прошла огромная лохматая кавказская овчарка с тремя щенятами. Все залюбовались ими.

— Это одна из лучших в мире пород,— восторгался Коринтели.— Посмотрите, как она сложена! Круглая и умная голова на широкогрудом и ширококостном торсе. Короткая шея, высокие ноги, широкие лапы. В каждом ее движении чувствуется сила и уверенность.

У суки, как и у щенков, кончик носа был до того черен, что казался вымазанным в саже. Щенки — серого цвета, пепельно-серого, с белыми лапами.

Годердзи и Тедо вручили профессору кизиловую палку. Юноша опять уселся у ног Коринтели и, слушая его хвалу грузинской овчарке, подумал о своей любимой собаке Мгеле.

Цихиставп сказал:

— В Ширакп у нас есть овчарка, которая прошлой зимой задушила четырех волков, а вообще на ее счету больше сорока волков. Настоящий чемпион! Она — помесь волка и собаки. Ведь очень хороша, кажется, немецкая овчарка, а вот в борьбе с волком она уступает грузинской. Наша плотнее и крепче немецкой.

— У грузинской овчарки короткая шея,— заметил агроном.

— Это и хорошо,— возразил Коринтели.— У немецкой — шея длинная. Но в этом не только ее достоинство, но и уязвимое место. При схватке волку легче вцепиться ей в горло. А у нашей шея короткая, да еще густо заросшая шерстью. К тому же наша коренастее, она крепче стоит на ногах.

На гвелетские холмы осел легкий туман. Видны были только верхушки сосен. Повыше, на Кавкасиони, лежала груда темно-синих туч. Они походили то на мифических химер, то на крылатых львов, поднявших лапы, то на стадо страусов.

Тедо Таралашвили заволновался.

— Поспешим, товарищи, скоро хлынет дождь.

Все поднялись и пошли.

Вскоре в кустарнике послышался шорох падающих капель.

— Удивительно, как точно вы предсказали дождь,— заметил Коринтели, обращаясь к председателю.

— Старые раны служат мне барометром,— улыбнулся Тедо.

Кустарник кончился. Теперь начались болотистые места, заросшие камышом.

— Косуля, косуля!— воскликнул вдруг Годердзи.

Они вступили в лес. Вокруг потемнело, дождь усилился. Коринтели то и дело поглядывал на небо. С высохших тополей взлетели, тяжело рассекая крыльями воздух, белоголовые орлы-ягнятники.

Из чащи донесся непонятный шум, треск веток, ворчанье, похожее на хрюканье.

— Что это?— спросил Коринтели.

— Должно быть, кабана вспугнули,— ответил Годердзи.

Опередившие спутников Цихистави и Ахалкаци потеряли в полумраке дорогу и оказались по ту сторону ручья, протекавшего в лесу. Они теперь не могли присоединиться к остальным.

Дождь усилился. Потемнели стволы деревьев. Годердзи пришлось снова пустить в ход кинжал и им расчищать путь. Коринтели устал и промок до нитки. С трудом передвигал он по мокрой земле отяжелевшие ноги.

Вдруг Коринтели увидел каких-то темно-серых животных, вылезавших из-под кустов. Он вздрогнул от неожиданности — ему померещилось, что это волки. Но, к радости, это оказались овцы,— пастухи гнали отару на опушку леса.

Потом Коринтели увидел, как какое-то странное существо раздвинуло куст кизила и, выскочив на тропинку, побежало. Это существо очень было похоже на лысого карлика, закутанного в короткую черную бурку. Оно скользнуло тенью и быстро оторвалась от земли,— закутанный в короткую черную бурку карлик взлетел в воздух.

Не прошло и нескольких секунд, как где-то совсем близко грянул выстрел.

Вскоре они подошли к тому месту, где упал сраженный ягнятник. Птица бессильно била крыльями. Это и было то странное существо, которое заметил Коринтели.

Годердзи разъял когти хищника и отнял задушенного ягненка. Коринтели посмотрел на птицу и удовлетворенно произнес:

— Так и надо ему, разбойнику.

Из леса вышли трое. Один из них держал ружье. Когда они приблизились, Тедо и Годердзи узнали Канкрэ, Лалбацу и Гагриа.

Коринтели подозрительно оглядел их.

Канкрэ ухватился рукой за тушу ягненка.

— Что ты делаешь, парень?— крикнул Тедо.

— Барашек мой, и я беру его.

— Как это твой?

— Очень просто, ягнятника я убил, и его добыча принадлежит мне,— вызывающе ответил Канкрэ.

— Но ведь это ягненок из нашей колхозной отары,— возразил Тедо.— Мы возьмем его для наших сторожевых овчарок.

Потом он обратился ко всем троим:

— Что вы здесь делаете?

— Мы идем к мельнику Ниортаве, рыбачить,— ответил за всех Канкрэ.

— Рыбачить с ружьем! — вставил Годердзи.

Канкрэ злобно сверкнул глазами, и все трое удалились. Из лесу донесся его голос:

— Подожди, еще пожалеешь об этом, Годердзи!

— Кто эти парни?— спросил Коринтели.

— Тот, с ружьем, городской шофер, зовут его Канкрэ,— ответил Тедо.— За хулиганство его лишили шоферских прав. Теперь пристроился в нашем колхозе. Бездельник и пьяница. А те двое — Лалбаца и Гагриа — подпали под его влияние. Бродят по лесу, браконьерствуют. Потому-то они и недовольны, что мы собираемся развести виноградники на плоскогорье Девяти дубов, тогда ведь им придется ходить на охоту далеко в горы...

— Вы пытались как-нибудь на них воздействовать?— спросил Коринтели.

— Предлагали Канкрэ работать трактористом, но он отказался — ревматизм, мол, у него. А сам целыми днями бродит по болотам.

— Ну, а браконьерство у вас не наказывается?

— Наказывается, конечно, но для этого нужно застать браконьера на месте преступления...

Ночь окутала лес. Люди двигались в темноте, и до их напряженного слуха доносились многоголосые лесные звуки.

Ветер разогнал тяжелые дождевые тучи. Лишь кое-где на небе остались легкие облака, такие белые, как ягнята.

Луна озарила Алазанскую долину. Ледники Кавкасиони окрасились в зеленовато-голубой цвет.

Пустошь кончилась. Все собрались вместе. И тогда их нагнала машина.

Цихистави предложил довезти профессора до гостиницы. Но Коринтели, хотя и был утомлен, вежливо отказался, так как знал, что товарищи спешили в Кварели на совещание животноводов.

— Я предпочитаю идти пешком,— сказал он.

— Тогда пусть вас проводит Годерзи,— настаивал Тедо.

— Зачем беспокоить Годерзи? Я не так еще стар, чтобы нуждаться в провожатых. Лучше возьмите Годерзи с собой на совещание,— ответил Коринтели.

Условившись о завтрашней встрече и распростившись со всеми, Коринтели зашагал по шоссе к Бермухе. Он шел, поминутно бросая взгляд на Алазань, сверкавшую под луной, подобно чешуе лосося.

В поле, урча, работал трактор.

На деревянном мостике, недалеко от древней крепости с обвалившимися зубчатыми бастионами, кто-то пел песню.

Босоногий мальчишка гнал буйволов. Они были до того черны, что казалось, сама ночь вошла в их плоть. Буйволы двигались медленно, сбившись в тесную кучу, покрывая своей чернотою дорогу.

И все это: Алазань, древняя крепость, буйволы, песня вызывали в памяти Коринтели картины его далекой юности, протекавшей в этих же местах... Он замедлил шаг.

На холме возник силуэт бывшего вачнадзевского дворца. В двух окнах еще мерцал свет. Коринтели показалось, что за этими окнами движется тень его жены Медеи.

Дорога сворачивала к широким воротам усадьбы. Над двумя старыми столбами кирпичной кладки возвышалась деревянная арка, по краям ее тускло светились лампочки. На арке было крупно выведено:

«Слава советскому правительству».

В просторном дворе уже не было знакомых Коринтели деревьев груши и миндаля. Теперь здесь был разбит парк и вместо фруктовых деревьев росли сосны и ели. Лишь перед самым домом по-прежнему красовались магнолии и олеандры, а позади виднелись темные контуры бастионов древней крепости.

Коринтели поднял голову и посмотрел на стройные тополя, стоявшие вдоль дороги. Они были совсем маленькими в дни его юности.

Отец Вахтанга Коринтели Ростом служил в Телави землемером. Реваз Вачнадзе постоянно ссорился с кварельскими князьями из-за межевых знаков, и Ростом Коринтели вместе со своей семьей был частым гостем в вачнадзевском доме. Младшая сестра Вахтанга — Нана была ровесницей дочери Реваза — Медеи. Их троих с самой ранней поры связывала чистая детская любовь.

Задумчиво смотрел сейчас Коринтели на тени магнолий и олеандр. Когда-то в детстве здесь скакала маленькая косуля, которую Реваз Вачнадзе назвал по имени дочери — Медико.

Как незаметно промчались годы,— казалось, все это было вчера или позавчера. Что осталось от прошлого? Клочья горьких воспоминаний!

Понурив голову, медленно поднимался Коринтели по дороге, обсаженной тополями. Когда-то он мог легко, не переводя дыхания, взбежать по этому косогору, а теперь...

Бессонные ночи, проведенные на чужбине, занятия на двух факультетах, которые он окончил, напряженная научная работа на протяжении тридцати лет, тысячи разных неприятностей, подстерегающих человека на его жизненном пути, так утомили его сердце, что ему трудно было подниматься даже по этой, отнюдь не крутой дороге.

Казалось, это было вчера или позавчера, а тополя, когда-то молодые, касались уже неба своими верхушками.

С детства не любил Коринтели краснощекого, вечно подвыпившего, шумного Реваза и его взбалмошную супругу Тамар, которые жили от пира до пира, считая труд обязанностью одних только крестьян. И с детства

же он был привязан к Медико — изящной, как фарфоровая статуэтка.

«Первая любовь никогда не изгладится из памяти», — думал Коринтели, не сводя глаз с двигающейся в освещенном окне тени.

Сначала все сложилось так благополучно, словно сама судьба заботилась об их счастье. Четыре года они вместе учились в Телави — Вахтанг, Медико и Нана. И потом еще восемь лет провели вместе в Тбилиси, куда в один и тот же год переехали семьи Вачнадзе и Коринтели. Наконец, когда Реваз Вачнадзе вместе с семьей уехал в Париж, Вахтанг оказался там же. Его дружба с Медико продолжалась и здесь.

Банкир де Мосперо, зять Реваза, посоветовал ему поместить в банк привезенные из Грузии капиталы и жить на проценты с них. Но этот совет оскорбил князя, привыкшего не считаться со средствами.

— Я не ростовщик, чтобы жить на проценты,— чванливо заявил он.— Бережливость — это черта скряг.

Реваз Вачнадзе не ходил ни в Лувр, ни в театры. Занятием «праздных баб» считал он и чтение книг. Князь проводил время преимущественно в ресторанах, чаще всего в «Мулен руж»[1], который был приятен ему, несмотря на то, что после революции князь ненавидел все красное.

Официанты «Мулен руж» быстро освоились с «грузинским принцем», который жадно поглощал бордо и щедро давал им чаевые. Реваз обратил на себя внимание и тем, что несколько заученных им французских фраз ресторанного обихода он произносил так, что даже вежливые французы не могли сдержать улыбок.

Это бесило князя, и он устраивал скандалы. Раза два его препровождали даже в полицейский участок. Тогда вмешивалась сестра его Евфэмия, она же мадам де Мосперо. Когда выяснялось, что Реваз Вачнадзе — брат жены банкира де Мосперо, полиция сразу же становилась милостивей.

Мадам де Мосперо видела, как в руках брата таяло, подобно снежинкам, золото. Реваз отправлял телеграмму за телеграммой в Бермуху своему управляющему,

[1] «Мулен руж» — «Красная мельница» — известный театр-варьете в Париже, при театре — кафе-ресторан.

требуя снова и снова денег. Но они прибывали все реже и реже. Единственным источником будущих доходов, которым еще владела семья, оказалась теперь прекрасная Медико.

Отец и мать Медико, давно привыкшие видеть свою дочь вместе с Вахтангом, не удивлялись общению молодых людей и в Париже. Вахтанг и Медея ходили в театры, на выставки.

Но Евфэмию раздражали постоянные телефонные звонки «нищего студента» и его частые посещения семьи Вачнадзе. Она посоветовала своей невестке положить конец этому общению, ибо, как утверждала Евфэмия, частые встречи молодых людей могут стать привычкой, а любовь в конце концов не что иное, как привычка. Но Евфэмия не остановилась на одних лишь предостережениях и прибегла к более радикальным мерам.

Мадам де Мосперо устроила пышный прием и представила свою племянницу на суд парижского света. Даже самые пристрастные сплетницы пришли в восторг от красоты «грузинской принцессы». Критике подверглись лишь ее манеры. Тогда срочно были приняты меры для восполнения этого пробела — девушку окружили гувернантки, учителя музыки и танцев, французского и итальянского языков.

Известен миф о похищении греческим авантюристом Ясоном дочери колхского царя Ээта прекрасной Медеи. Этот миф без конца повторяли в салоне мадам де Мосперо, придавая некоторую романтичность «грузинской принцессе», которая с первых же дней своего появления в парижском свете сумела очаровать некоторых биржевых и салонных «львов».

Евфэмия устраивала приемы и званые вечера, чтобы показать свою племянницу знатным гостям, потом скрыть на несколько дней и по телефонным звонкам установить, кто же ею заинтересовался.

Случалось, что в телефонной трубке звучал застенчивый голос Коринтели. Тогда Евфэмия грубо отвечала: «Медико? Ее нет дома».

Мы не станем сейчас перечислять всех лиц, которые в то время обхаживали мадам де Мосперо в надежде через нее добиться руки Медеи. Тут были и парижские богачи, и обанкротившиеся итальянские графы, и американские бизнесмены, трагически переживающие свою

неродовитость и направляющиеся в Европу в поисках именитых невест, чтобы «облагородить» свою кровь.

Именно с такой целью и приехал тогда в Париж из Чикаго сын миллионера Гарри Сноуден. Он порвал с помолвленной с ним итальянской баронессой Марчиа и попросил руки Медеи. Евфэмия была вне себя от радости, однако сделала вид, что еще раздумывает над предложением американца. Мистера Сноудена несколько удивило это. Его визиты в дом банкира де Мосперо участились.

Теперь Медее уже категорически было запрещено встречаться с «нищим студентом», который к тому времени перешел в агрономический институт Монпелье. Тетка заперла свою племянницу дома и приказала слугам не впускать Коринтели.

Тетка Евфэмия была убеждена, что сумеет уговорить Медею — эту, как она говорила, «упрямую дурочку» — обручиться со Сноуденом. Но тут произошло событие, которое разрушило все планы.

Как-то вечером мистер Сноуден и его американские друзья — банкиры из Чикаго — кутили в ресторане «Мулен руж» с дамами полусвета.

Все были уже сильно пьяны, когда неожиданно появился Реваз Вачнадзе. Он, как выяснилось позже, был приглашен друзьями в соседний кабинет, но, перепутав двери, предстал перед американцами.

Кто-то из них грубо обругал непрошеного гостя. Реваз, не зная ни одного английского слова, догадался, что его обругали, и не преминул ответить отборной бранью. Теперь и американец догадался, что ему говорят отнюдь не приятные вещи. Он вскочил с места, толкнул князя, голову которого украшала каракулевая папаха, и нагло выкрикнул понятное на всех языках «бе-е-е!»

Тогда Реваз рассвирепел, обхватил руками нагруженного бутылками и тарелками официанта и с такой силой толкнул на американца, что свалил того с ног.

Вся пьяная компания, в том числе и мистер Сноуден, набросились на князя. Но и он не стал мешкать — прошелся по их головам бутылками и завертелся среди них, как Тариэл[1] среди рыцарей царя Ростевана.

[1] Тариэл — герой поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Это событие повлекло за собой последующие. Мистер Сноуден, которому во время драки разбили нос, на другой день направил резкое письмо мадам де Мосперо и взял обратно свое предложение.

Проклиная Париж, он уехал к себе в Чикаго. А Ревазу Вачнадзе еле удалось отделаться тремя месяцами тюрьмы.

Таким образом, в том же самом городе, где когда-то Сулхан-Саба Орбелиани покорил[1] своей учтивостью и остроумием французского короля Людовика XIV и его министров, князь Реваз Вачнадзе прославился как скандалист.

Это обстоятельство не отпугнуло, однако, остальных претендентов на руку Медеи. Наоборот, их аппетит разгорелся еще больше. Бездельники из аристократического квартала Сен-Жермен представили дело так, что князь Вачнадзе стал выглядеть «героем»: он, мол, застал своего будущего зятя в обществе дам легкого поведения и изрядно поколотил его.

На одном из банкетов, устроенном банкиром де Мосперо по случаю дня рождения его супруги, Медею познакомили к неким Люсьеном Шаркутье — владельцем фабрик в департаменте Сены и виноградников в провинции Шампань.

Люсьен Шаркутье совершенно потерял голову, он влюбился в Медею, и в доме банкира де Мосперо не стало от него покоя. Месье Шаркутье привлекала не только красота Медеи, но и то, что девушка приехала из столь «романтической страны», как Грузия. Простолюдин, сын торговца вином, он мечтал, подобно американским бизнесменам, «приобщиться к княжескому роду».

Тетке Евфэмии вряд ли могла прийтись по душе внешность Шаркутье, его огромный, как у сома, рот, набитый торчащими в разные стороны зубами, и его свернутая набок челюсть, но она знала, сколько миллионов франков лежат у него на счету в банке, и это делало его красавцем.

Когда Евфэмия предложила Медее не медля выйти замуж за Шаркутье, девушке сделалось дурно. Придя

[1] **Сулхан-Саба Орбелиани (1658—1725) — известный грузинский писатель, баснописец и лексиколог.**

в себя, она заявила, что скорее бросится в Сену или станет прачкой в «этом проклятом Париже», чем выйдет замуж за такого урода.

— А чего же ты хочешь? Или, может быть, ты думаешь, что мы разрешим тебе выйти замуж за голодранца-студента, сына землемера? — презрительно сказала мадам де Мосперо.

Прошло несколько месяцев.

Евфэмия оставила Медею в покое, так как поняла, что девушка еще не обладает теми «достоинствами», которые с юных лет обретают буржуазные дамы, а именно — любовью к золоту, искусством лицемерить, лгать.

К тому времени вернулся домой отбывший наказание Реваз. Вместе со своими собутыльниками он продолжал кутить в «Мулен руж».

Тетка Евфэмия видела, что семья ее брата очень скоро перейдет на иждивение банкира де Мосперо. И тогда она поспешила оказать на Медею самое решительное давление через брата и невестку. Ее усилия не пропали даром. Пьяный Реваз несколько раз оттаскал за волосы свою любимую дочь, «своего ангела», как он ее называл, и категорически потребовал, чтобы она навсегда выкинула из головы «нищего студента». К угрозам и мольбам родителей прибавился соблазн золота.

Упрямство Медеи было, наконец, сломлено бриллиантами фирмы Коскуц, бальными платьями, украшенными жемчугом, которые месье Шаркутье прислал девушке ко дню рождения, поездками в Булонский лес и в окрестности Шампани на комфортабельных лимузинах.

Когда Евфэмия представила своему брату его будущего зятя, Реваз Вачнадзе не произнес ни слова — он побоялся вторично помешать «счастью Медеи». Он замкнулся в себе, стал молчаливым. Прошло несколько дней, и Реваз, сильно напившись в своем излюблённом «Мулен руж», умер от разрыва сердца.

Снова заколебалась Медея. Она грозилась собрать все бриллианты и тряпки, присланные ей «этой жабой» Шаркутье, и швырнуть их ему в лицо. Все чаще и чаще стал Коринтели получать от нее письма.

То был год тяжелых испытаний для Вахтанга Коринтели. Отец его попал под трамвай в Тбилиси и скончался. Коринтели остался без всякой поддержки и вынуж-

ден был кое-как перебиваться. Он продолжал учиться и в то же время работал ночным корректором в газете; ездил на каникулы в Дувр, где устраивался портовым грузчиком. Иногда ему приходилось по ночам месить тесто в булочной, а рано утром бежать на лекции.

К этому времени банкирский дом де Мосперо обанкротился. Вкладчики и клиенты возбудили судебное дело. Медея видела, что не только ее семью, но и тетку Евфэмию вместе с мужем скоро выбросят на улицу.

Мать и тетка слезно умоляли Медею спасти их от гибели.

И тогда девушка не устояла перед их последним натиском и велела тетке Евфэмии назначить день помолвки.

На той же неделе месье Шаркутье открыл семье де Мосперо полумиллионный кредит.

Так, в конце концов, «болотная жаба» одержала победу не только над «нищим студентом», но и над биржевыми и салонными «львами», и Медея примирилась с тем, что Люсьен Шаркутье стал ее законным супругом.

Итак, без боев и без преодоления морских просторов, только при помощи телефонных звонков и чековой книжки, новоявленному Ясону удалось заполучить прекрасную Медею.

В 1936 году несколько молодых советских ученых-агрономов были командированы в разные районы Азии, Европы и Америки для изучения цитрусовых культур и виноградарства. Среди них находился и Вахтанг Коринтели, автор монументального труда «Незримые болезни и враги виноградной лозы», получившего широкую известность и признание.

Он успешно выполнил задание и собирался уже возвращаться домой, когда совершенно неожиданно был разрублен гордиев узел, который он так долго не мог распутать.

И тетка Евфэмия, в свое время немало потрудившаяся над тем, чтобы отделить Медею от Коринтели, сыграла весьма неожиданную для нее роль избавительницы. Она пригласила Вахтанга в дом Шаркутье.

А кончилось тем, что Медея бросила нелюбимого мужа и вместе с другом своей юности вернулась в Грузию.

С тяжелым сердцем поднимался Коринтели по лестнице колхозной гостиницы. Он вспомнил, что когда-то здесь, наверху, стояла бронзовая Диана с зажженным факелом в руке. Он снова увидел ее. Но теперь Диана держала большую электрическую лампу.

По стенам широкого коридора были развешаны портреты руководителей партии и правительства.

У круглого столика, опустив голову на руки, спал дежурный. Услышав шаги, он очнулся и любезно проводил Коринтели до его «люкса», в котором профессор поселился со своей женой.

Черный как смоль доберман-пинчер Ахилл радостно бросился к хозяину. У двери Коринтели встретила старушка. Это была Майя, которая когда-то пекла хлеб в доме Вачнадзе.

Возле накрытого стола в кресле сидела Медея и вышивала. Коринтели заметил — тень какой-то необъяснимой печали лежала на ее лице. Ему даже показалось, что Медея еще больше поседела за этот день, еще больше морщин появилось под глазами.

В хрустальном графине сверкало красное вино. На блюде лежала вареная курица.

— Извини, Медико, я заставил тебя ждать,— сказал Коринтели.

Майя вышла в коридор, потом вернулась и принесла свежевыпеченные грузинские хлебцы.

— Медико, почему вы не пообедали без меня? — спросил Коринтели.

Медея молчала. За нее ответила Майя.

— Я ее очень просила, но она ни за что не хотела есть без вас. А я приготовила вареную курицу с чесночной подливкой, жареного гуся... Медико говорит, что это ваши любимые блюда.

Коринтели вымыл руки и сел к столу. Он разрезал курицу, предложил Медее, Майе, взял и себе кусочек. И снова извинился за невольное опоздание.

— Тебе следовало бы извиниться и за другое, Вахтанг,— сказала Медея.

— За что же еще?..

— За то, что утром отправил меня одну в эту проклятую гостиницу.

— Одну? Но ты же была не одна, Медико. С тобой поехал наш гостеприимный хозяин, председатель колхо-

за. Кроме того, я не понимаю, почему тебе здесь не нравится? В этой деревне нет лучшего помещения. И потом, в этой зале, что ни говори, мебель твоего отца. Если не ошибаюсь, и этот хрустальный графин... — Коринтели взял графин, налил себе вина, затем, прежде чем поставить его на место, внимательно оглядел.— Не такая уж плохая работа. А, Медико?

Когда Майя встала и пошла на кухню за гусем, Коринтели сказал:

— Я не понимаю, Медико, почему ты сердишься на меня из-за таких мелочей. Утром ты сама видела, как хорошо нас встретили хозяева. Секретаря райкома очень беспокоило, что пришлось оставить тебя одну. Но у нас не было другого выхода. Надо было сегодня же закончить дела.

— Какие дела? — удивилась Медея.

Налив себе снова вина, Коринтели отпил немного.

— Я ведь говорил тебе вчера ночью — мы хотим превратить в виноградники плоскогорье Девяти дубов.

Медея ела неохотно. Она отодвинула в сторону тарелку.

— Меня просто поражает, Вахтанг, каким ты остался неисправимым фантазером!

— Как это — фантазером? О чем ты говоришь, Медико?

— Да, к сожалению, это так,— подтвердила она.— Неужели ты всерьез думаешь, что эти бедные колхозники сумеют сделать то, чего не смог сделать мой дед — самый крупный помещик в этих краях и знаменитый генерал? Ты ведь помнишь, как боялись пастухи даже скот выгонять на эту пустошь, сколько там было волков... Не понимаю, какие там могут быть виноградники.

— Извини меня, Медико, но, как видно, ты все еще не разобралась во всем происходящем. То, что было не под силу твоему деду, под силу Советскому государству, которое поможет колхозникам...

Майя внесла жареного гуся.

— Дай бог тебе здоровья, Майя. Давно я не ел такого жареного гуся,— сказал Коринтели, разрезая на куски птицу.

Он попробовал гусятины.

— Золотые у тебя руки, Майя. Ты и раньше умела хорошо готовить. Скажи-ка, сколько лет тебе?

— Семьдесят исполнилось в этом году.

— Как живут твои домашние? Сколько у тебя детей? Сколько внуков? — продолжал расспрашивать Коринтели.

— У моих пятерых сыновей и шестерых дочерей всего пятнадцать детей осталось, свет мой. Троих детей и пятерых внуков потеряла я в прошлую войну.

Коринтели попросил воды.

Когда Майя вышла, он сказал жене:

— Если бы я знал, что приезд в Бермуху так плохо отразится на твоем настроении, я бы не брал тебя с собой, Медико. Мне казалось, что после всего того, что ты собственными глазами увидела на Западе...

Майя внесла кувшин с водой. Коринтели замолчал.

Поев немного, Майя пожелала супругам доброй ночи и удалилась.

Медея обратилась к мужу:

— А что ты имел в виду, когда говорил сейчас о Западе?

Коринтели, волнуясь, ответил:

— Моральное разложение человека. Там человек лишен чувства собственного достоинства. Там золото властвует и над любовью и над воззрениями. Ты столько читала на эту тему. Вспомни хотя бы твоего любимого Бальзака... Я ведь тоже долго жил на Западе. И я возненавидел этот мир, где большинство его обитателей — рабы золота. И если бы у тебя не возникли такие же мысли, ты бы не бросила Шаркутье, не пренебрегла бы бриллиантами и нарядами, когда на одной чаше весов оказались я и наша родина, а на другой — золото Шаркутье. Я потому и люблю тебя, моя Медико, что ты предпочла меня и родину показному блеску парижской жизни. А теперь успокойся, дорогая. Я сегодня так много разговаривал, столько спорил, ходил и так устал... Хватит с меня упреков, скажи лучше мне что-нибудь веселое, ласковое.

Еще сияла луна, когда Коринтели и Медея вышли на балкон. Отсюда были видны полуразрушенные башни крепости Леона, царя Кахетии, и родовая церковь Вачнадзе.

— Ты помнишь, Медико,— сказал Коринтели,— покойная моя сестра Нана плела венки из ромашек и во-

дила нас в ту церковь... Она надевала халат и, привязав к животу подушку, изображала толстобрюхого попа. А мы с тобой были женихом и невестой. Нана шептала какие-то молитвы, и мы тогда верили, что эти венки из простых ромашек превращались на наших головах в золотые венцы. Иногда мы садились у входа вон той крепости. Мы были тогда счастливы. На боку у меня висела деревянная сабля, и скакал я на палке.

Человек, вероятно, лишь потому бывает так счастлив в детстве, что он не знает реальной сущности вещей. Простая палка вполне заменяет ему прекрасного коня, деревянная сабля — стальную, венок из ромашек — золотой венец.

Я был рыцарем, а ты — женой дэва[1]. Я должен был похитить тебя. Но мать дэва — Нана — мешала мне это сделать... Как видишь, Медико, я все-таки отнял тебя у дэва. Смейся же, смейся твоим чудесным смехом и смотри, как прекрасен этот мир!

4. НЕПОГОДА НЕ ОСТУДИЛА ПЫЛА

Раскрылись уже почки деревьев. Но неожиданно оскалил зубы мороз. С ревом и грохотом налетел ураган с Кавкасиони. Подобно вольному коню, промчался он по Алазанской долине и обрушился на небольшое село, притаившееся за пазухой гор; ураган потряс развалины старых крепостей и церквей, сорвал лепестки с цветущего миндаля и алычи, разметал их по земле. Вздрогнули домишки в Бермухе и словно пригнулись от страха. Неистовый ветер яростно штурмовал их. В воздухе носился вихрь мокрых снежинок. Дрожали от холода собаки и жались к стенам домов.

Не сдавались только отважные петухи; они продолжали криком своим призывать рассвет. И их многоголосое звонкое «ку-ка-реку» оттеснило к горам ночь.

Уставший за день Годердзи спал, но его разбудил шум в комнате.

Он приподнял голову.

Абриа Уджираули и дедушка Микела сидели у огня. Здесь же находилась и Баблиа. Прикрывая одной рукой

[1] Дэв — персонаж грузинского сказочного фольклора.

лицо от огня, другой она медленно вертела шампур[1]. В комнате пахло шашлыком. Шипело жарившееся мясо. Капли жира падали на угли, и слышались звуки, подобные скрипу шагов по снегу.

Абриа курил трубку и давился от кашля и злости. «Вероятно, дома повздорил со своими и потому спозаранку пришел к Микеле отвести душу»,— подумал Годердзи и прислушался к разговору. Абриа-злоязычный ругал свою жену:

— Ведьма она, моя Мао. Будь она проклята! Дети и внуки пошли в нее. Будь проклят тот день, когда я на ней женился и привел к себе в дом!.. Лучше бы мне утонуть в Алазани в тот день, когда я поехал к ней свататься...

Абриа поносил жену, словно не прожил с ней уже полвека.

Густо сплюнув в огонь, он продолжал:

— Когда скончался покойный отец мой, он оставил меня главой рода Уджираули. Кроме меня и брата моего Луо, в нашем роду нет уже стариков нашего возраста. Вот и распустились бабы и безусые юнцы. Молодые пошли в комсомол. Ты лучше меня знаешь, Микела, как много значит в роду старейший. Отару овец и ту возглавляет вожак-козел. Иначе отара погибнет в пути. А тут — баб надо обуздывать, юнцов воспитывать, за всем нужно следить. Лоза, фасоль, и те нуждаются в подпорке. Отару ведет козел. Женщину — муж. Лозу — кол. Язык держат зубы. И если слово прорвется сквозь них, то и мудрец не в силах вернуть его обратно.

Годердзи улыбнулся: «И как это старик не может понять, что он давно уже не годится в вожаки, возраст не тот и времена не те».

— Мир рушится, ей-богу, мой Микела. Люди забыли, кто старший, кто младший. Я боюсь завтрашнего дня, как бешеная собака боится воды. Ты счастлив, что не видишь своими глазами, как рушится мир...

Сон одолевал Годердзи. Он было задремал. Но когда Абриа начал поносить своего внука Нику Уджираули и внучку Нуну, Годердзи насторожился.

— Не гневи бога, Абриа,— успокаивал его Микела.— И баба у тебя хорошая, и внуки. Они ни в чем пе-

[1] Шампур — вертел.

ред тобой не виноваты. Во всем старость виновата, ей-богу, проклятая старость. Ты болел когда-нибудь? Ну, вот, так же, как больного раздражает веселье здоровых, так точно и стариков раздражает жизнерадостность молодых. Время похоже на коня, Абриа. Когда конь делает скачок, надо податься вперед, а то свалишься.

Годердзи усмехнулся и повернулся к стене. Хотелось спать. Но заснуть так и не удалось. Во дворе жалобно скулила Мгела. Он приподнялся и посмотрел в окно.

С серого неба сыпалась снежная крупа. У хлева покачивалось миндальное дерево, сверкающее сосульками. Участился крик петухов.

«Давай-ка я встану, позавтракаю и пойду на работу»,— решил Годердзи и потянулся за рубахой. Абриа взглянул на него.

— Что ты так рано встаешь, парень? Ты на нас не смотри, мы — старики, и сон бежит от нас. Неужели в такую непогоду ты выведешь людей на работу?

Годердзи натянул сапоги, пристукнул каблуками об пол и с расстановкой произнес:

— Непогода пусть молодых невест пугает, дедушка Абриа! Если мы будем ждать, пока погода установится, вряд ли сумеем выполнить план.

— У вас всегда на уме какие-то планы,— поморщился Абриа.

— А как же, дедушка? Без плана в наше время жить нельзя.

Годердзи стянул с правой ноги сапог и, подпрыгивая на одной ноге, добрался до камина.

Абриа жевал мясо своими пожелтевшими зубами.

— Что с тобой случилось, парень, ногу повредил, что ли?

— Тьфу, дьявол, сапоги вчера промокли.

Годердзи протянул ногу к огню, чтобы обсушить ее...

— Выпей вина,— посоветовал Абриа, подавая юноше полную пиалу.

— Умоюсь сначала. Ты сам пей, дедушка, пей на здоровье.

— Баблиа, будь добра, достань козье сало и дай ему, пусть смажет сапоги,— сказал Микела внучке.

Пока Баблиа искала козье сало, Годердзи надел сапог и умылся.

— Какими смешными выглядели вы, сколько сил

зря потратили, как измучились, а ведь не одолели корневища наших дубов,— тараторил Абриа. — Забыли, как по пояс в грязи барахтались в овраге вместе со своими тракторами внук мой Ника и русский парень Коля Соколов. Я было подумал: не встретился ли им мельник Ниортава?

— А при чем тут Ниортава? — удивленно спросил Годердзи, посыпая мясо мелко нарезанным луком и солью.

— Как, ты разве не знаешь, что Ниортава может сглазить человека? — хихикнул Абриа.— От одного его вида шарахаются лошади. Сколько арб перевернулось на дорогах от его взгляда.

— Оставим глупости,— прервал его Годердзи.— Если бы бедняга Ниортава был на что-нибудь способен, то он прежде всего сменил бы свои лохмотья на приличную одежду. Нет, ни Ниортава, ни трактористы тут ни при чем.

— Но разве я не предупреждал, что Ника и Коля не справятся? — злорадствовал Абриа.— Да и какой трактор будет работать у крепости Мамуки, в этом волчьем ущелье? Это место проклято. Молоды вы, в том-то и вся беда. Кровь у вас кипит... А пользы от этого мало.

— Ошибаешься, дедушка, ошибаешься,— успокаивающе произнес Годердзи.— Твой внук Ника и Коля Соколов — наши лучшие комсомольцы. Об этом и в газетах писали...

— Я не видел этих газет,— огрызнулся Абриа.

Юноша взял еще кусок мяса, снова посыпал его солью и луком и, жуя, сказал:

— Если наши трактористы и не справились с заданием, то виноваты в этом не они, а скорее районный агроном Мелитаури. Я и Тедо с самого начала говорили, что маломощные тракторы не осилят эту землю. И секретарь райкома обещал нам помочь. А Мелитаури настоял на своем: много, мол, уйдет горючего.

— Быки помогли бы,— вставил Микела.

— Что ты, Микела, какие там быки,— затараторил Абриа.— Знаешь, какой величины трактор? Ты не видел, конечно, это порождение дьявола. Но знаешь, какая у него сила. Десять упряжек быков не смогут потянуть столько, сколько один трактор.

— Трактора я не видел,— печально произнес слепой.— Колеса-то у него есть?

— Да, удивительная вещь,— согласился Микела.— Как в сказке: без колес, без лошади или быка.

Годердзи пытался объяснить дедушке устройство трактора, но тот с трудом воспринимал его слова. Юноша торопился. Дедушка Микела почувствовал это.

— Раз тебе не сидится дома,— сказал он,— надень мой кожух. Ненастье на дворе. Слышишь, как бесится ветер.

Порою ветер врывался через очаг в комнату, гнал дым обратно.

Из соседней комнаты донесся крик сумасшедшей Тебронии:

— Борова, борова зарежьте, принесите жертву святому Георгию Квакаца[1].

Годердзи встал, посмотрел в окно. Уже мерцали голубоватые отблески утра.

Еще выше и шире в плечах казался Годердзи в кожухе своего деда.

— Куда идешь, парень? Не жалко тебе оставлять и такой шашлык, и такое тепло? — спросил Абриа.

— Надо! — решительно ответил юноша.— Сегодня приезжает секретарь райкома. За ним прибудут рипперы и бульдозеры.

— А это что еще за чертовщина? — спросил Абриа.

— Когда выкорчуем корни дубов, тогда и узнаете,— ответил Годердзи и вышел из комнаты.

Непогода не остудила пыла молодежи. Абриа, как и многие другие старики, втихомолку посмеивался, видя их первые неудачи.

Одни из стариков действительно верили тому, что мельник Ниортава сглазил бермухских трактористов Нику Уджираули и Колю Соколова, направлявшихся на своих машинах к плоскогорью Девяти дубов. Другие же уверяли, что окрестности крепости Мамуки прокляты с древнейших времен кахетинским архиепископом и потому тракторы не могли вспахать пустошь.

Однако истинные причины неудачи были, конечно, совсем другими.

---

[1] Квакаца — Каменный человек, один из многочисленных «титулов» святого Георгия.

Восемнадцатисильные тракторы, которые вели Ника и Коля, родственники тех самых малосильных тракторов, впервые вступивших в состязание с нашими быками и буйволами на плодородных полях Куры и Алазани, поднявших целину Иорской долины и Ширакской степи, много раз уже ремонтировались и пришли в негодность.

Старики, помнившие и любившие песни «Урмули» и «Оровела» — песни аробщиков и пахарей, роднившие их со своими бессловесными друзьями — быками и буйволами, лукаво посмеиваясь, говорили Нике и Коле:

— Вот они, ваши тракторы! Не лучше ли было вывести пять-шесть упряжек быков, они живо выкорчевали бы все эти корни.

Это говорилось, конечно, не всерьез, а так только, чтобы подзадорить молодежь. Все ведь хорошо знали, что никакие бычьи упряжки не смогут сделать столько, сколько сделают даже эти полуразвалившиеся тракторы.

Но старые тракторы встретились здесь, на Бермухском плоскогорье, не только с могучими корнями Девяти дубов. Вся территория была холмиста, заовражена. Шесть дней было потрачено впустую: дело не двинулось ни на шаг.

Тедо и Годердзи сообщили обо всем этом секретарю райкома Цихистави, и тот обещал помочь.

И вот к плоскогорью Девяти дубов подошли два шестидесятисильных трактора — новые, выкрашенные в зеленый цвет, похожие друг на друга, как близнецы.

Сельские ребятишки с криком бежали вслед за ними. Не замедляя хода, тракторы, легко преодолев овраги и бугры, поднялись на плоскогорье.

За ними последовал и третий. И этот третий был шестидесятисильным. Он волочил большое, треугольное, раскоряченное во все стороны, подобно раку, приспособление на двух колесах, которое имело несколько заостренных резцов серповидной формы, обращенных к земле.

— А это что за урод? — спросил у Ники и Коли мельник Ниортава, пришедший сюда поглазеть, как он выразился, «на потеху».

— Риппер,— ответили оба в один голос.

Вскоре подошел четвертый, такой же многосильный

трактор с широким отвальным щитом и ножом, поднимающимся и опускающимся, как резцы риппера.

— Бульдозер, бульдозер! — закричали юноши и девушки, уже не раз видевшие такие машины на телавских дорогах.

Затем появился новый гость, совершенно не знакомый присутствующим. На его длинной шее держался большой металлический ковш, снабженный с переднего края стальными зубьями.

И этого гостя окружили и малые, и большие.

Ника Уджираули и Коля Соколов первыми потянулись к кабине экскаватора.

Завидев выглянувшего из кабины смуглого богатыря, собравшиеся зашептались:

— Вано Хелашвили, Вано Хелашвили.

— Здравствуй, дядя Вано! — крикнули трактористы и крепко пожали его вымазанную в мазуте руку.

— Ну-ка, что у вас здесь съедобного? Видите, какие острые у меня зубы,— улыбнулся Вано.

— Да, тебе и целого барашка не хватит,— заметил мельник Ниортава.— Если долго будешь здесь копаться и выкорчевывать корни этих дубов, то тебе для утоления аппетита понадобится, пожалуй, такая отара, какой владел когда-то Абриа.

Экскаваторщик рассмеялся. На его лице, потемневшем от загара и пыли, сверкнули белые, как сахар, зубы.

— Я не о себе, а об этом своем зубастом великане беспокоюсь. Есть у вас чем покормить его?

— Найдется,— ответил Годердзи.— Видишь ведь, как заовражено наше плоскогорье.

— Звать-то как твоего зверя? — спросил Ниортава.

— Экскаватор,— ответил Вано Хелашвили.

— Экс... — произнес Ниортава и запнулся.— Знаешь, Вано-джан, если я ежедневно буду выговаривать имя твоего длинноголового мула, боюсь, что язык отнимется.

— Смотри, не сглазь нам и этого зверя,— шутил Коля Соколов.

— Ниортава! Ниортава! А ну-ка, сглазь! А ну-ка, сглазь! — дразнила детвора.

Мельник, недолго думая, поднялся по железной лесенке и уселся на место водителя. Он обеими руками

ухватился за рычаги, ногами уперся в педали и лихо, по-извозчичьи крикнул:

— Но-о!

— Осторожнее, еще поедет! — испуганно заорал кто-то в толпе.

— Не беспокойтесь, выключено,—успокаивающе произнес Вано и постучал согнутым указательным пальцем по лысому черепу Ниортавы так, как это обычно делают на рынке покупатели арбузов.

— Вано-джан, не разгони перепелов из его головы,— смеялся Ника Уджираули.

— Перепелов или разум? — вставил Коля Соколов.

— Не печальтесь, ребята. Разум меня так же, как и вас, мало беспокоит,— в тон им ответил мельник.— Отец не оставил мне в наследство ни денег, ни ума.

— А ты поседел, Ниортава,—дружески сказал Вано.

— Эх, мой Вано! Если бы седина имела какое-нибудь значение, то овца из отары Абриа стала бы самым мудрым философом.— Ниортава выбрался из кабины и удалился, торжественно ступая, как провинциальный актер, считающий, что роль сыграна им удачно.

— Этого горемыку Ниортаву я уже десять лет встречаю здесь, в Бермухе, но, как перед богом, скажу, что до сих пор не знаю, что он за человек,— произнес вслед ему экскаваторщик.

— Об этом ни в одной метрике не написано,— заметил Ника и закурил папиросу.

— Будь время, я многое рассказал бы вам о нашем Ниортаве,— откликнулся Годердзи.— Прежде всего, он человек порядочный, это ясно. Целыми ночами он что-то читает у себя на мельнице и пишет, много пишет.

Годердзи хотел еще что-то добавить, но увидел приближающегося секретаря райкома партии.

До прихода Цихистави председатель колхоза и агроном еще колебались: стоит ли с утра приступать к работе. Молодежь настаивала — она, как всегда, рвалась в наступление. Вахтанг Коринтели был простужен, но и он, закутав голову и шею, пришел сегодня сюда и долго совещался с секретарем райкома и агрономом. Чувствовалось, что он и не собирается уходить. Цихистави, однако, настоял и отправил его на своей машине домой.

Но тут неожиданно март показал свой изменчивый

нрав — ветер отмел свинцовые тучи к вершинам гор, небо посветлело, показалась радуга. Легкая теплота расплылась по плоскогорью.

Началась расчистка площадки.

Три бригады приступили к рубке наиболее крупных деревьев. У кого в руках топор, у кого пила. Женщины орудовали небольшими тесаками; они рубили кустарник и складывали его в кучи для костров.

Канкрэ работал в третьей бригаде вместе с Гагриа и Лалбацей; они рубили деревья, пилили их, грузили на машину.

Пока бригадир третьей бригады Иона Грдзелишвили наблюдал за ним, Канкрэ трудился довольно усердно. Но как только бригадир скрылся из глаз, он отбросил топор.

А тут появился Ниортава; ему наскучило рассматривать новую технику, и он решил проведать своих ребят.

— Откуда идешь, приятель?

— Да оттуда, где меня уже нет! — ответил мельник.

— Куда же делся твой знаменитый «глаз»? — не без иронии произнес Канкрэ.

— Дорогой мой,— хихикнул Ниортава,— не я разве «сглазил» недавно два трактора? А ежедневно и Христос не мог творить чудеса!

— Давай-ка теперь сотворим здесь другое чудо.

— Какое? — поинтересовался Ниортава.

— Сходи на мельницу и принеси свое ружье. Мое тоже где-то там. Захвати и его. Когда зажгут костры, птицы и звери ошалеют от огня. Самое время для удачной охоты!

— Ты, должно быть, с ума спятил,— сказал мельник.— Кто разрешит тебе уйти с работы в такое время? Да здесь сейчас и секретарь райкома и наш председатель.

— Это ничего,— нагло усмехнулся Канкрэ.— Пройдем оврагами, по краю, а там, наверху, в горах, сам черт не увидит нас.

Тут мельника заметил Лалбаца.

— А ты почему не работаешь, дурной глаз?

— Вместо меня вода работает,— отшутился Ниортава.

— Нам бы такую воду! — мечтательно сказал Лалбаца.

— Пришлю ее и вам,— успокоил его мельник.— Она колдовская — польете ею корни этих деревьев, и топора не понадобится, ей-богу.

— Вылей-ка эту воду на свою лысину, шут гороховый,— ответил Лалбаца.

Тогда Ниортава принял торжественно-артистическую позу и заговорил стихами:

Топоры и пилы пусть мозоли не трут,
Да укрепит ваше здоровье труд.
Пусть никогда не иссякнет веселья заряд,
Побалагурить с вами, друзья, я рад.

По краям чащи, сквозь которую уже невозможно было пробраться, сложили огромные кучи хвороста, облили их лигроином и подожгли.

Дым окутал плоскогорье. Потом из его клубов вырвались языки пламени. Треском и шумом наполнялась чаща. По веточкам поползли огоньки с куста на куст, с холма на холм переносил ветер витые язычки пламени. Взвились огромные костры. Как очумелые трещали сороки. В кустарниках шмыгали обезумевшие от страха зайцы, попадая прямо под ноги людям. Вслед им летели камни, неслись крики:

— Держи, держи!

— Не упускай, не упускай!

— Лиса! Лиса! — орал свинопас Попола.

Лисица кружила, кружила, потом наконец перебежала на другую сторону оврага, присела и стала с удивлением смотреть на людей и огонь.

Выбежала вторая лиса, третья. Пламя преследовало их по пятам. Из чащи мчалась лиса с маленьким лисенком в зубах. Она сразу же опередила своих сородичей. Парни бросились было ей наперерез, но Нуну остановила их:

— Да что вы делаете?! Ведь это мать, она спасает детеныша!

Люди шли вперед, вслед за пламенем.

Теперь подняли шум и фазаны. Они долго таились в самых густых зарослях. Но как только огонь перебрасывался на какую-нибудь ольху или ветку, оплетенную колючками, оттуда с кудахтаньем взлетали фазаны. Их багровые крылья так пламенели в воздухе, словно тоже были охвачены огнем.

На другой день к полудню огонь кое-как завершил свое дело. Словно скорбящие в трауре, стояли обугленные деревья. Вся пустошь лежала под пеплом.

Когда землю очистили от горелых деревьев и пеньков, ее разбили на три участка. Особенно много оврагов было на первом участке. Отсюда-то и развернулось главное наступление.

Вано Хелашвили уверенно повел свою машину к тому месту, которое бермухцы называли Лисьим оврагом. Люди с восторгом следили за экскаватором.

— Осторожнее езжай, дядя Вано, осторожнее! — кричала Нуну.

Экскаватор медленно преодолел опасное место и подошел к краю оврага.

Как только Вано нажал на педаль, машина повернула длинную шею, выбросила привязанный к тросу ковш, и его стальные клыки впились в почву. Ковш наполнился. Тогда экскаваторщик подтянул трос, повернул ковш в сторону оврага и, опуская его, раскрыл дно. Лисий овраг наполнился шумом падающей земли и камней.

Ника Уджираули и Коля Соколов попрощались со своими старыми тракторами и получили новые.

Ника подвел свой трактор к участку, который местные люди прозвали участком Мамуки. Никто из них не знал, кем был этот самый Мамука и когда он проживал в этой местности. Из рассказов деда Микелы и Абрпазлоязычного было известно лишь, что когда-то архиепископ Кахетии проклял вероотступников, населявших эту землю, и с тех пор никто не решался здесь поселиться. Тут сохранились только остатки разрушенной древней часовни и крепости да ростки дикой лозы.

Трактор двигался медленно по склону оврага. За ним волочилось тяжелое приспособление, похожее на рака,— риппер. Женщины из рода Уджираули крестились: они боялись, как бы гусеницы не оторвались от земли и трактор вместе с Никой не свалился бы на дно оврага. Но трактор прочно держался на земле. Резцы риппера разрыхляли почву и выгребали на поверхность камни.

— Ура! Ура! — кричали люди, которых еще совсем недавно одолевали сомнение и страх.

Ника словно прирос к сиденью. Вот трактор пополз

уже вверх. Риппер грыз каменистую землю, выворачивал камни, обугленные корни ольхи и карагача. Рядом с ними валялись глиняные осколки винных амфор, ручных мельниц. Обнажился какой-то каменный фундамент.

— Это, должно быть, остатки дворца самого Мамуки,— говорили старики.

Невдалеке обнаружили развалины часовни и разворошили их. Старики и старухи исподтишка крестились и тихо молили святого Георгия, прозванного Квакаца, не наказывать молодежь за содеянное кощунство.

Когда Коля Соколов поднялся на бульдозер, комсомольцы крикнули ему:

— А ну-ка покажи себя, Пушкин!

Как уже известно читателю, в Бермухе многим давали прозвища.

Курчавый, небольшого роста, Коля Соколов действительно был похож на Пушкина. Сперва это прозвище не нравилось ему, но потом он привык и под конец даже гордился тем, что удостоился такой чести.

Годердзи как-то посоветовал ему: «Если не хочешь, чтобы тебя называли Пушкиным, постригись наголо». Но Коля не постригся, а, наоборот, еще больше отрастил волосы и стал носить вдобавок баки, такие же, как у Пушкина.

Коля Соколов был воспитанником детдома. Потом он несколько лет служил в армии. Все знали его трудолюбие, исполнительность, скромность. И за это любили его в Бермухе.

Сейчас Коля очень волновался. Он, разумеется, не верил в проклятье архиепископа, но помнил, как подвел его в прошлый раз полуразвалившийся старый трактор.

Юноша родился и вырос в Грузии, прекрасно говорил по-грузински и знал местные нравы: он также знал, что кое-кто из бермухцев, конечно, был бы рад, если бы вся эта затея — освоение плоскогорья Девяти дубов — потерпела неудачу.

Юноша решительно взялся рукой за рычаг и повел свою машину. Он подъехал к первому участку, обработанному уже экскаватором Вано Хелашвили. Бульдозер стал двигаться, разравнивая поверхность земли. «Ура, Пушкин!»— кричали комсомольцы вслед Соколову...

Вечером, когда Годердзи, Нуну, Коля и Ника возвращались домой, они обратили внимание на одиноко стоящего человека, без шапки, одетого в пастушью кожанку.

Годердзи приблизился к нему. Это был Абриа.

— Теперь ты видишь, какие черти наши механизмы? — обратился к нему Годердзи.

— Хвастаться рано, парень,— зло отрезал Абриа.— С корнями Девяти дубов вы еще не совладали. Вот увидите, вас еще накажет святой Квакаца.

— Не беспокойся, с твоим Квакаца мы как-нибудь справимся,— ответил Годердзи.

5. У ВСЕГО ЖИВОГО — СВОЙ ЯЗЫК

Ранним утром Коринтели вышел на балкон, чтобы еще раз полюбоваться признаками наступавшей весны, посмотреть, насколько набухли почки на персиковых деревьях.

Высохшее грушевое дерево было покрыто скворцами, как будто кто-то развесил на ветках крупные черные четки. Коринтели прислушался к нестройной перекличке птиц. Они, казалось, вели между собой деловой разговор. Сидя друг против друга, скворцы словно разговаривали на своем языке, будто обсуждали текущие птичьи дела.

Время от времени скворцы взвивались в небо, делали несколько кругов и возвращались обратно, радостно оповещая остальных: «И мы здесь, и мы здесь». Они радовались тому, что над ними необозримое синее небо, а вокруг уже цветут алыча и миндаль.

У ног хозяина лежал доберман-пинчер с обрубленным хвостом. Сквозь резные перила балкона он внимательно наблюдал за телятами, резвящимися во дворе.

Послышался гудок автомобиля. Собака залаяла и, навострив уши, бросилась к лестнице, ведущей на балкон. По ней поднимался Годердзи.

Коринтели боялся, как бы собака не бросилась на гостя, и устремился за ней.

— Ахилл, ложись! — приказал он.

Пес повиновался, улегся у лестницы, вытянул перед собой лапы и положил на них голову. Умным, насторо-

женным взглядом следил он за поднимающимся по лестнице незнакомцем.

Годердзи шел медленно и с удивлением разглядывал собаку, ее лоснящуюся гладкую шерсть. Над глазами и на передних ее лапах выделялись коричневые пятна. Собака не шелохнулась. Она была похожа на черную базальтовую скульптуру, как бы установленную здесь для украшения лестницы.

Коринтели предупреждающе цыкнул на Ахилла и спустился на несколько ступенек навстречу гостю.

Годердзи почтительно приветствовал профессора.

— Секретарь райкома просил вас, если сможете, прийти на участок.

— Хорошо, что пришел, Годердзи. Но я и сам собирался идти. А где Цихиставн?

— Проводит совещание в колхозной конторе. Вы можете прийти и через час. Я сейчас вернусь туда и, если хотите, потом приеду за вами.

— Подожди меня немного. Я должен переодеться. И давай позавтракаем вместе.

— Спасибо, я уже завтракал.

Коринтели взял его под руку и повел к себе.

Ахилл шествовал впереди.

Они миновали прихожую, в которой кучей были нагромождены кожаные чемоданы. Годердзи обратил внимание на пестрые цветные наклейки заграничных отелей.

Многое слышал Годердзи о красоте Медеи Вачнадзе. Сейчас он увидел ее — бледную женщину в черном платье, у которой кое-где в волосах уже пробивалась седина и обозначились морщинки вокруг глаз. Она любезно встретила гостя, протянула ему руку.

Юноша несколько растерялся и робко окинул взглядом комнату, заставленную старинной, потемневшей от времени мебелью. Ему она казалась роскошной. Посредине стоял массивный стол орехового дерева и вокруг него — стулья с высокими спинками. Над столом висела бронзовая люстра, изрядно засиженная мухами. В одном углу комнаты — старомодная фисгармония, в другом — сервант, на котором были расставлены разноцветные фарфоровые тарелки.

Некогда здесь со всех стен на вас глядело множество бородатых генералов. Их давно убрали. Теперь сохранились лишь двое: Григол Орбелиани и Александр

Чавчавадзе; поэты были изображены в офицерских мундирах, с эполетами и при всех орденах.

В углу стояли высокие часы. Длинный грушевидный маятник ритмично качался под разбитым стеклом. У одной стены возвышался огромный буфет, похожий скорее на саркофаг, нежели на буфет. Тут же, над кроватями, висели турьи рога и азарпеши[1]. Камин был облицован черным базальтом.

Медея, улыбнувшись, обратилась к гостю:

— Вахтанг рассказывал мне о вас. Отец мой очень любил вашего деда Микелу. Не вернулось ли к нему зрение?

— Нет,— ответил Годердзи и осторожно присел на край стула.

Юноша отказался от завтрака и, пробормотав «будьте здоровы», едва пригубил стакан с вином.

Желая помочь гостю преодолеть смущение, Коринтели заговорил о другом:

— До твоего прихода, Годердзи, я наблюдал за скворцами, слушая их пересвист. Они, должно быть, тоже о чем-то совещались...

Медея рассмеялась.

Но Коринтели продолжал совершенно серьезно:

— Поверьте, они так же понимают друг друга, как и мы. В природе все устроено целесообразно и разумно. Все звуки, даже малейшие, что-нибудь да означают. Люди ведь тоже передают свои мысли и чувства при помощи звуков...

Годердзи с интересом слушал. Он придвинулся ближе к столу и облокотился. Робость первых минут прошла. Коринтели это заметил.

— Скворцы напомнили мне один случай,— продолжал он.— Я охотился на тетеревов. Пробираюсь меж кустами и слышу вдруг невероятный писк. Запищит и умолкнет, снова запищит и умолкнет. Я пошел на голос и наткнулся на птенца тетерева; он был похож на причудливый цветок, выросший на голой земле. Голова и шейка у него были еще голенькие, только крылья покрылись легким пушком. Он сидел на земле и пищал. Но чувствовалось, что пищит он не от страха и не от голода. Он пищал монотонно и тихо, словно давая кому-то

[1] Азарпеша — серебряный ковш, из которого пьют вино.

знать, что он, мол, здесь и нечего о нем беспокоиться. Птенец по-детски доверчиво посмотрел на меня своими пшеничного цвета глазками, как бы знакомясь со мной и спрашивая: «Кто ты?» Мне часто приходилось охотиться, но я никогда не трогал маленьких — не только птенцов, но даже и волчат, медвежат, не говоря уже о лисятах. Я и не думал, конечно, сделать что-либо дурное птенцу. Интересно было лишь узнать, как он поведет себя, если я прикоснусь к нему рукой.

Майя подала на стол новое блюдо.

— Ешь, сынок,— сказала она Годердзи.

Но тот так был увлечен рассказом, что решительно отказался от еды:

— Благодарю, я уже завтракал.

— ...Я нежно погладил птенца по голой головке,— продолжал рассказывать Коринтели.—Тогда он инстинктивно втянул шейку, чуть-чуть приподнялся и с любопытством стал меня рассматривать. Я приласкал его. Но как только я попытался поднять птенца и положить его на ладонь, он запищал так испуганно, словно почувствовал какую-то страшную опасность. Я отступил. Но мне было любопытно, как он поведет себя дальше.

Я снова осторожно погладил его по головке. И он попрежнему доверчиво поглядел на меня и запищал спокойно, умиротворенно. Потом я осторожно взял его за крылышки и положил себе на ладонь. Но как только птенец почувствовал, что его отрывают от земли, он поднял пронзительный писк, еще более тревожный, чем прежде.

Тут прилетела мать птенца. Стремительно и яростно ворвалась она в кустарник. Мне почудилось, будто на меня напал орел. Я опустил птенца на землю и отошел в сторонку, продолжая вслушиваться в их голоса.

Явственно был слышен боязливый, жалобный писк птенца и ласковый, успокаивающий голос его матери: «Не бойся, мол, я с тобой, опасность миновала».

Коринтели внимательно посмотрел на Годердзи.

— У всего живого — свой язык. Его нужно понимать. По-разному ведут себя птицы на земле и в воздухе. Сколько, например, оттенков хотя бы в карканье ворона. Сидит он осенью на дереве у Алазани, ветер колышет ветвь, и в грустном карканье как бы слышишь тоску по прошедшему сытому лету и страх перед наступающей голодной зимой... По-грузински животное называ-

ется «пирутквн» — то есть существо, не обладающее даром речи. Когда я смотрю на моего Ахилла, то мне порой кажется, он вот-вот заговорит по-человечьи, до того умны его глаза. Когда он со мной, я не чувствую одиночества. Я разговариваю с ним, и он меня понимает.

Годердзи посмотрел на Ахилла, лежавшего у ног профессора, и сказал:

— Да, я еще никогда не видел такой собаки.

— Ахилла подарил моей тетке Евфэмии префект Парижа,— заметила с гордостью Медея.— У этой собаки три золотых медали. Она чистых кровей, ее предки тоже не раз были награждены медалями.

— Какой она породы? — поинтересовался Годердзи.

— Доберман-пинчер.

— Ахилл умеет охотиться? — спросил Годердзи.

— Нет,— сказала Медея.— Это полицейская собака, ищейка. В свое время она помогла раскрыть много преступлений.

Годердзи снова посмотрел на Ахилла, не спускавшего с него своих черных, холодно поблескивающих, как у змеи, глаз. Морда у него была длинная и заостренная, как у ящерицы.

— Да... огромных успехов достигла наука! — воскликнул Коринтели.— Как далеко она шагнула! Взять хотя бы электричество, радио, авиацию... Но немало потребуется еще лет, чтобы познать все тайны природы.

— Вахтанг, ты увлекся разговорами и забываешь угощать гостя,— прервала его Медея.

— Ох, извини, пожалуйста! Угощайся, Годердзи, прошу тебя. Выпей хотя бы вина.

— Беседа с вами приятнее вина,— смущенно произнес Годердзи.

Но Коринтели заставил его выпить вино.

— В молодости я часто странствовал, много охотился, изучал жизнь животных и птиц,— продолжал Коринтели.— А в годы зрелости особенно увлекался жизнью растений и много лет посвятил этому делу. Ты знаешь, Годердзи, когда я вижу запущенный сад или виноградник, у меня портится настроение. Я не могу равнодушно пройти мимо, останавливаюсь, вызываю хозяина и распекаю его. Недавно один из них спросил меня: «Скажи, пожалуйста, кто ты такой? Должно быть, государственный человек? Загляни лучше ко мне домой,

отдохни, выпей вина». Я ответил ему, что все мы государственные люди, и, попросив его запомнить это, уехал. Мы стараемся проникнуть в другие миры и в то же время недостаточно внимательны к окружающей нас природе,— заключил Коринтели,— к близкой нам повседневности. А ведь в ней еще много неразгаданных тайн. Взять хотя бы крик петуха. Разве не удивительно, как чувствует эта птица, отнюдь не слывущая умной, смену дня и ночи? Или как чувствует такое глупое животное, как овца, приближение непогоды? Разве не поражаешься тому, что подсолнух всегда обращен головкой к солнцу, а все вьющиеся и стручковые растения вьются вокруг подпорок справа налево. Ты сам, наверное, замечал, Годердзи, что когда в селе режут скот, то быки, проходя мимо места, где была пролита кровь, обнюхивают землю и поднимают душераздирающий рев...

— Да, приходилось наблюдать,—подтвердил Годердзи, хотя и не помнил такого случая.

Часы пробили десять.

Коринтели встал, Ахилл тоже было приподнялся, но хозяин приказал ему: «Ложись!», и собака осталась на месте.

— Садись в машину,— сказал юноше Коринтели.— Я переоденусь и скоро приду.

Когда Годердзи вышел, Майя заметила:

— Хороший парень, но только не везет ему...

— Что с ним? — спросила Медея.

— Влюблен в Натию Таралашвили,— пояснила Майя,— и та отвечает ему взаимностью, но родители не разрешают ей выйти за него замуж.

— Чем же он плох? — спросила Медея.

— Не то, чтобы плох, нет. Но кто ему, несчастному, отдаст девушку? Ведь дома у него слепой дед и сумасшедшая тетка.

— Ну и что?

— Эх, разве вы сами не знаете, что лучше иметь покойника в доме, чем сумасшедшего,— вздохнула Майя.

Коринтели переоделся. Медея забеспокоилась — не простудился бы он — и уже на лестнице сунула ему в руки пальто. Ахилл подстерегал хозяина, извивался у его ног, как бы упрашивая взять с собой. Он был явно огорчен, когда услышал:

— Ахилл, ты остаешься дома.

6. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА

Машина медленно двигалась по покрытой грязью дороге. Коринтели внимательно разглядывал старые домики с полуразвалившимися стенами каменной кладки, заброшенные сады и огороды, облезлую, непородистую скотину, бредущую к водопою. Обернувшись к Годердзи, он сказал:

— Этот край мне очень хорошо знаком. И должен тебе сказать откровенно, что такого бедного колхоза я еще нигде не видел. Чем это объяснить? В иашей стране только бездельник может быть бедным. На что похоже хотя бы вот это: в таком большом селении всего лишь один родник. Неужели нельзя было привезти из Тбилиси тысячи две метров труб? Вот я скоро поеду и привезу эти трубы, тогда мы проведем сюда воду. Я разговаривал с Цихнстави и о том, чтобы построить ГЭС на Гвелети. Село будет обеспечено водой и светом.

— О, вы сделаете большое дело, товарищ профессор,— откликнулся Годердзи.— Моя бригада готова вам помочь... Но ведь вы заняты другими, более важными делами.

— Знаешь, Годердзи,— ответил Коринтели,— ваши бермухские дела тоже очень важные. Разве государство не заинтересовано в том, чтобы народ всюду хорошо жил?

— Это-то верно,—согласился Годердзи,— но ведь вы, профессор, живете далеко от нас и так загружены работой, что только изредка сможете сюда заглядывать.

— Почему ты так думаешь, Годердзи,— сказал Коринтели.— Отсюда до Тбилиси три часа езды. А я скоро, иаверное, получу машину. Я очень люблю Бермуху... Ведь здесь прошли самые счастливые годы моей молодости. Еще студентом мечтал я о том, чтобы поселиться в этих местах... Эх, устал я, Годердзи, слоняться по чужим краям, жить в чужих городах. Меня всегда тянуло на родину, я всю жизнь мечтал об одном: жить в таком доме, где иадо мною не было бы ни одного этажа, где вместо грохота и лязга трамваев и гудков автомобилей раздавался бы только петушиный крик да собачий лай.

— Если так,— обрадовался Годердзи,— то вам обязательно иадо поселиться в Бермухе!

Непосредственность юноши пришлась Коринтели по

душе. Он выглянул из машины и, указав на возвышенность, сказал с улыбкой:

— А ты знаешь, как называется та возвышенность?

— Гвелетская,— ответил Годердзи.

— Вот та, на которой виднеются развалины старой башни?

— Да, там Гвелетское плоскогорье.

— Ну, вот, если я когда-нибудь найду время и возможность, то поставлю себе там небольшой домик, разобью сад, высажу около сотни лоз и буду приезжать сюда хотя бы на каникулы, ухаживать за садом и виноградником и охотиться на берегах Алазани, а когда состарюсь, окончательно переселюсь сюда, на родную землю.

Некоторое время они молчали. Потом Коринтели спросил:

— Ты любишь охотиться?

— Раньше я много охотился,— ответил Годердзи,— но с тех пор, как меня назначили бригадиром, времени не хватает: наш колхоз, как вы сами видите, отстающий. Ну, и...— Он замялся.— Но если вы соизволите взять меня с собой на охоту, то я с удовольствием пойду с вами. И места у меня есть хорошие на примете...

— Как это «соизволю»? — удивился Коринтели.— Я буду рад тебе.

Тогда Годердзи сказал:

— Между прочим, я и столяр, и мог бы помочь вам в строительстве дома.

— Спасибо, Годердзи, но я и сам немного знаком с этим ремеслом.

Юиоша подумал: откуда профессор знает столярное дело?

— В Париже, когда я был еще студентом,— объяснил Коринтели,— мне пришлось работать в столярном цехе на автомобильном заводе Ситроена. Вот там я и научился столярничать.

— Как? На заводе, простым рабочим?

— А ты думал: директором? Эх, Годердзи. Я ведь учился не в нынешнее время, когда молодым людям платят стипендии, лишь бы они учились. Я рано лишился отца и остался без всяких средств к существованию. Вот и приходилось работать: то столярничал, то слесарничал, то работал по ночам корректором. Бедность и го-

лод были моими постоянными спутниками... Жена вот заставила меня сейчас взять с собой пальто. А тогда мое пальто чаще всего лежало в ломбарде.

Годердзи пристально посмотрел на Коринтели и только сейчас заметил его поседевшие виски, резкие складки у рта и под глазами.

— Нелегко вам там жилось,— вырвалось у него.

— Поэтому я и недолюбливаю Запад,— сказал Коринтели.— Когда наше правительство в последний раз посылало меня туда, мне не хотелось ехать. Но нужно было выполнить поручение. Только родная земля, ее красота и сила могут омолодить мою душу, исцелить ее от всех недугов. Я хочу и никак не могу насладиться тишиной наших лесов, шумом наших водопадов, цветением лоз...

Коринтели опять посмотрел в сторону Гвелетского плоскогорья. Долго разглядывал он озаренную солнцем пирамидообразную возвышенность. И от этого как-то стало светлей у него на душе.

— Жизнь прекрасна, Годердзи,— произнес Коринтели.— И человек обязан научиться жить как можно лучше. Величайшее счастье, дарованное человеку,— это умение трудиться.

Когда они добрались до плоскогорья Девяти дубов, их уже ждали здесь Тедо Таралашвили и Цихистави.

Что сравнится с той радостью, которую испытывает земледелец, видя распаханную, подготовленную к посевам и посадкам землю? Земля словно ждет — она лежит затаив дыхание под живительными лучами солнца, готовая принять в себя зерна будущей жизни. Недолго дремать им в ней. Пройдет немного времени — и потянутся кверху бесчисленные зеленые ростки, взойдут они на счастье людям, вложившим в эту землю свой тяжелый труд.

— Аммонал доставили? — спросил Цихиставн.

— Доставили,— ответил Тедо.

— Мы правильно сделали, что не отложили это дело на будущий год,— сказал секретарь райкома.— Меня очень тревожили наши первые неудачи.

— Еще бы! Не говоря уже о деле, была задета и наша честь,— заметил Тедо.— Старики засмеяли бы нас: коммунисты, мол, не сумели справиться с плоскогорьем Девяти дубов!

Цихиставн сказал:

— Это только начало. В нашем районе еще много неосвоенной земли. Если взяться за дело энергично, по-хозяйски, то можно превратить эту местность в рай земной. В ближайшую пятилетку нам надо освоить не только плоскогорье Девяти дубов, но и Гвелетскую возвышенность.

Плоскогорье Девяти дубов было разбито на несколько участков. Все три бригады приступили к закладке аммонала.

— Он поможет нам окончательно расчистить почву от старых и гниющих корней — обиталища паразитов,— объяснил Коринтели.

Годердзи разделил свою бригаду на две части. Одну он отправил на ту сторону Лисьего оврага, где надо было закончить расчистку земли от выкорчеванных и обгорелых корней. Сам же возглавил другую половину бригады, в которой находились Нуну и Натия.

Годердзи объяснил товарищам, как пользоваться взрывчаткой и как вести себя при взрыве. Он первым поджег бикфордов шнур...

— Кто из вас не боится сделать то же? — обратился он к девушкам и посмотрел на Натию.

Та смутилась, покраснела.

— Да не бойся, Натия,— подбадривал Годердзи.— Действуй смело. Вот тебе шнур.

Но она окончательно растерялась и не могла двинуться с места.

— Так никто из девушек и не отважится? — спросил он с укором.

— Почему — никто? — раздался спокойный голос Нуну.— В этом нет ничего страшного.

Она подошла к яме, вырытой около огромного пня, под который был уже заложен аммонал, подожгла шнур, быстро отбежала и припала к земле.

Раздался взрыв.

Пример Нуну ободрил ее подруг. Преодолела страх и Натия.

Взрывы следовали один за другим. Им вторило мощное эхо.

У всех было веселое настроение. Только Абриа-злоязычный сказал Кетуа:

— Не бабье это дело возиться со взрывчаткой! Если женщина будет взрывать, стрелять, то того и гляди она не побоится и мужчину убить.

— Раньше Нуну на муравья боялась ступить ногой,— отвечала Кетуа.— А теперь словно с ума ее свели. Поскорее бы выдать замуж!..

Цихистави и Коринтели стояли на пригорке и прислушивались к грохоту взрывов.

— Это салют по случаю начала наших больших работ в Бермухе! — радостно воскликнул Цихистави.

К полудню подоспели трактористы — Ника Уджираули и Коля Соколов. Прицепив к своим тракторам бороны, они принялись выравнивать участок.

Когда работа была закончена, Коринтели подозвал к себе бригадиров и звеньевых, взял в руки колышек и воткнул его у края первого участка.

— Дайте бечевку,— попросил он.

Коринтели вынул из кармана рулетку, сложил бечевку вдвое и измерил ее. Затем он сделал петлю и надел ее на колышек. Один конец бечевки он передал Годердзи: «Иди на восток и укрепи его там». Другой конец достался Нуну; он велел ей идти по прямой линии на север и укрепить конец бечевки на краю оврага. Когда все это было сделано, Коринтели взял мотыгу и прочертил на земле недостающую сторону треугольника.

Колхозники внимательно смотрели на него, они не могли понять, для чего понадобилось профессору очерчивать треугольник.

— Семиклассное образование у вас есть? — спросил он обступивших его людей.

Все, кроме Нуну, молча кивнули головой.

— Если так, то вы должны быть немного знакомы с геометрией, а значит, и этот треугольник знаете. Теперь слушайте внимательно. На этом участке нужно посадить виноградник с таким расчетом, чтобы лозы шли параллельными рядами и имели точное направление с запада на восток.

— Почему с запада на восток? — спросила Нуну.

— Во-первых, потому, что ветры в Восточной Грузии дуют обычно в этом направлении. Волны ветра пройдут между рядами и не причинят вреда винограднику. Есть и вторая причина: солнечные лучи свободнее проникнут к лозам. Теперь подумайте: для чего нам нужен прямо-

угольный треугольник? А ну-ка, вспомните известную теорему древнегреческого математика Пифагора о прямоугольном треугольнике. Я покажу вам сейчас, в чем именно может нам помочь знание этой теоремы.

Раньше крестьянин сажал ряды лоз, прикинув лишь на глаз расстояние между ними. Мера была неточной, и расстояния между рядами были, конечно, неодинаковыми. Такое ведение хозяйства при нашей механизации совершенно неприемлемо. Нам необходимо, чтобы расстояние между лозами было равно одному метру и десяти сантиметрам, не больше и не меньше. Если нарушится эта точность, то мы не сможем использовать ту технику, которой располагаем.

Посмотрите на наш треугольник: бечевка, протянутая на восток, имеет длину шесть метров, на юг — восемь метров. Эти две стороны называются катетами. А ну-ка, Годердзи, протяни между этими двумя катетами десятиметровую веревку, укрепи ее колышками и проведи линии по земле согласно этим веревкам.

Когда Годердзи возвратился, профессор сказал:

— Таким образом, Годердзи провел гипотенузу между двумя катетами. Теперь я вам напомню теорему Пифагора: сумма квадратов двух катетов равна квадрату гипотенузы. Какова же теперь длина первого катета? — спросил Коринтели руководителя третьей бригады Иону Грдзелишвили.

— Шесть метров.

— Квадрат означает, что надо умножить эту цифру на самое себя. Умножь-ка, Иона.

— Тридцать шесть.

— Хорошо. Теперь ответьте мне, какова длина другого катета? — обратился Коринтели к Нуну.

— Восемь.

— Умножь на восемь и скажи: сколько будет?

— Шестьдесят четыре.

— Прибавь к этому тридцать шесть.

— Сто.

— Какова длина гипотенузы, Годердзи?

— Десять метров.

— Помножьте десять на десять.

— Получим сто метров.

— Теперь вы видите, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. По линии гипотенузы и

пройдет первый ряд виноградных лоз. Сделаем новые расчеты, и у нас получатся точно отдаленные друг от друга параллельные ряды. Понятно?

— Понятно, понятно,— раздались голоса.

Одна Нуну молчала.

— Вам понятно, девушка? — спросил Коринтели.

Нуну опустила голову и покраснела.

— Как видите, колхозное хозяйство требует, чтобы все владели знаниями. Иначе нам не справиться с ним, и оно будет не передовым, а отсталым.

Коринтели собрался еще раз, для Нуну, объяснить теорему Пифагора, но к нему подошел Цихистави.

Он взял Коринтели под руку и сказал:

— Поднимемся наверх, к крепости Мамуки, осмотрим верховье Лисьего оврага: надо выяснить, не понадобятся ли там водоосушительные дренажи.

Районный агроном Мелитаури пошел впереди, указывая путь. Целый час карабкались они на гору по склону Лисьего оврага и наконец достигли вершины.

Построенная из гладкого речного камня крепость возвышалась на отвесной скале. Она была окружена большими раскидистыми деревьями.

— Это и есть крепость Мамуки? — спросил Коринтели.

— Да,— ответил Тедо.— Это крепость Мамуки.

У подножия крепости из углубления в скале пробивался родник. Кто-то прикрепил к камню кору дерева, и теперь по этому желобку лилась прозрачная и холодная как лед струя.

Коринтели обрадовался этому тенистому месту и роднику; он подставил ладони, освежил лицо, а затем жадно припал к воде губами.

Стекающая с желоба вода образовала под скалой небольшое озерцо, в нем шныряли головастики. Посередке на камне сидела лягушка и таращила глаза на вновь пришедших.

Утолив жажду, Коринтели поднялся на огромную каменную глыбу и оттуда оглядел овраг. Ему не понравилось то, что овраг имел крутой уклон в сторону плоскогорья.

Коринтели сделал знак рукой и попросил Цихистави, Мелитаури и Таралашвили следовать за ним. Некоторое

время он вел их, не говоря ни слова, и лишь когда они достигли того места, где уклон несколько выравнивался, сказал:

— Разумный человек всегда должен смотреть в будущее. Во время весеннего паводка этот овраг может причинить нашим виноградникам много бед. Давайте вот здесь, в этом самом месте, поставим дамбу. Расстояние небольшое — метров сто. Дамба задержит весенние потоки, и они будут не так страшны нам. Потом здесь можно построить и небольшую электростанцию. А?

Мелитаури и Тедо не разделяли опасений профессора.

— Уже больше двадцати лет,— говорили они,— мы наблюдаем за оврагом, и ни разу в нем не скапливалось при паводках угрожающего количества воды.

Цихистави был обычно осторожен в своих суждениях. Он уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что вопрос этот нужно еще изучить. Потом он посмотрел на часы.

— В Кварели совещание, я должен ехать.

Он предложил Коринтели место в машине. Но тот, окинув еще раз взглядом раскинувшуюся внизу панораму, отказался:

— Я хочу спуститься по этим тропинкам,— сказал он.— Отсюда не так уж далеко до гостиницы. Пойду пешком.

7. НА МЕЛЬНИЦЕ, КОГДА-ТО СЛУЖИВШЕЙ КРЕПОСТЬЮ

Коринтели приятно было идти одному по лесу. Неторопливым шагом начал он спускаться по тропинке. Где-то самозабвенно заливалась зорянка. Под ногами сновали ящерицы. Возвышенность террасообразно снижалась и постепенно выравнивалась в сторону Алазанской долины.

Небо над пробуждающейся землей было бирюзового цвета, без единого облачка. В воздухе пахло цветами, землей, перегноем.

Цвел можжевельник. Его кусты пылали на фоне молодой зелени ярко-золотистым пламенем, как неугасимые костры.

Из кустика фиалок, растущих у самой обочины, выползла змея. Лучи солнца сверкнули в ее острых, как бритва, глазах. Не обращая внимания на путника, она скользнула по траве и, плавно извиваясь, пересекла тропинку.

Высоко в небе летели с юга журавли. Сначала они виднелись еле заметным многоточием. Затем точки постепенно увеличились, и можно было уже различить силуэты птиц.

Вдруг журавли резко изменили свой курс и стали снижаться к сверкающей на солнце, словно клинок сабли, Алазани.

Прошло несколько минут, и шум крыльев снова привлек внимание Коринтели. Теперь над ним летели дикие утки. Совсем низко, почти над самой головой, раздавалось «фрр, фрр»— тот приятный для слуха охотника звук, который обычно сопровождает взмахи крыльев диких уток.

Не отрываясь, смотрел Коринтели на летевших к Алазани птиц и думал: «Как мало нужно человеку для счастья на этой земле, как радостно ему видеть цветение земли, слышать голоса жизни, чувствовать ее немеркнущую красоту...»

Он вышел на равнину и увидел крытое дранкой строение. Несколько лошадей паслось на лужайке.

«Это, вероятно, колхозная конюшня»,— решил он.

Стоявшая у края дороги лошадь подняла голову и заржала. Коринтели обернулся. По дороге ехало несколько всадников. У одного из них, седого, широкоплечего, он заметил на груди орден Ленина. Вслед за всадниками, не отставая, брели, высунув языки, рослые грузинские овчарки. За ними двигались две арбы, а за арбами — нескончаемая отара овец, подгоняемая возгласами чабанов.

Коринтели поздоровался со всадниками, расспросил их, кто они и откуда.

У развилки дорог он остановился. Одна дорога вела в село, другая — к Алазани. «Пойду-ка я домой и поработаю немного»,—решил было Коринтели. Но в это время над его головой раздался совершенно непонятный шум. И тотчас неподалеку, возле самой дороги, опустилась стая диких индеек. Птицы жадно накинулись на ранние хлебные всходы.

Когда он приблизился к птицам, некоторые из них подняли головы, насторожились, но потом, словно поняв, что он безоружен и им не опасен, снова принялись за свое дело.

«Птицы губят посевы! Где же полевой сторож?» — возмутился Коринтели. Он нагнулся, поднял камень, огляделся по сторонам, словно стесняясь своей мальчишеской выходки, и швырнул камень в птиц.

Индейки взлетели и вскоре опустились снова.

Коринтели свернул на проселочную дорогу и время от времени пугал птиц камнями.

До его слуха донесся шум воды. Потом он увидел небольшую мельницу, построенную из речного камня и извести. Внешне она походила на маленькую крепость.

Коринтели вспомнил свое детство и то, как часто приходил он сюда ловить рыбу...

Двери мельницы открылись, и оттуда вышел лысый человек без шапки. Он прикрыл глаза ладонью от солнца и посмотрел на путника.

— Добро пожаловать, батоно[1], добро пожаловать на мою мельницу! — сказал он, радушно улыбаясь.

Улыбка этого человека сразу же воскресила в памяти Коринтели белокурого некогда юношу, которого в доме Реваза Вачнадзе называли Соло. Соло возил тогда воду на осликах, и Вахтанг с Медеей любили кататься на них...

— Как поживаешь, Соломон?

Лысый человек засмеялся.

— Чему ты смеешься? — спросил Коринтели.

— Я отвык от своего имени, батоно.

— Как это — отвык?

— Облысел я, вот и прозвали меня Ниортава.

— Ты узнал меня? — спросил Коринтели.

— Как же, батоно! Как можно вас не узнать. Меня удивляет лишь, как это вы меня узнали?

— А что?

— Да разве запомнишь такого незаметного человечка, как я.

— Не то говоришь ты, Соломон,— возразил Коринтели.— В нашей стране каждый труженик пользуется

[1] Батоно — буквально: сударь; сейчас употребляется как почтительное обращение — уважаемый.

уважением. Все мы — труженики у одной большой машины. Не будь нас,— колесо не удержится на оси, да и сама ось перестанет вращаться, и вся машина остановится.

Мельник справился о здоровье Медеи. Коринтели ответил, потом попросил воды.

— Пожалуйте в дом, батоно.

— Ничего. Побудем здесь.

— У меня, правда, нет своего дома. Но пока, кажется, никто не собирается выселять меня отсюда. Вот и живу тут на мельнице. Я прошу вас зайти,— повторил он свою просьбу и взял Коринтели под руку.

На столе у мельника Коринтели увидел раскрытую книгу.

— Что за книга? — спросил он.

— «Витязь в тигровой шкуре». Уже который раз перечитываю.

Напившись, Коринтели спросил:

— Тебе не обидно, когда тебя называют Ниортавой?

— Нет, батоно. Я и вас прошу: называйте меня Ниортавой. Имя большого человека ко многому обязывает того, кто его носит. Имя мудреца Соломона — слишком уж большая честь для меня.

— Нет, Соломон, ты неправ,—возразил Коринтели.— Мы живем в такое время, когда дань уважения приносится не имени человека, не его роду, а его деснице. Сейчас вот, по дороге на мельницу, мне встретился чабан, грудь которого украшена орденом Ленина. А имя у него рядовое. Делами своими он прославил это имя.

Коринтели оглядел помещение.

Вертелись жернова. У очага дремали кошки и собаки. С закопченных балок потолка свисали нити паутины.

Мельник принес сухие ветки и, присев у очага, принялся ломать их о колени и подкладывать в огонь.

— Зачем беспокоишься, Соломон? Для чего тебе огонь?

— Что вы, какое там беспокойство! Ведь на мельнице сыро, и вы можете простудиться. Я давно узнал о вашем приезде, хотел попросить Майю передать вам и Медико, чтобы вы как-нибудь заглянули ко мне, проведали того малого, который когда-то катал вас на осликах, но...

— Мы бы с удовольствием навестили тебя, Соломон. Разве ты сомневаешься в этом?

— Нет, такого горемыку, как я...

Мельник не закончил. Он схватил кувшин и принёс воду, ругая шнырявших у очага кошек и собак.

Коринтели собрался было уходить, но мельник преградил ему дорогу и решительно заявил, что без хлебасоли никуда его не отпустит.

— Что ты, Соломон,— отказывался Коринтели.— Я ведь забрел сюда сегодня случайно. Это индейки виноваты, они меня заманили. Я спешу, у меня работа.

— Дай бог здоровья индейкам,— ответил хозяин.— Они хорошо сделали, что привели вас сюда. Было бы при вас ружье, вы бы славно поохотились.

— Они выводят сейчас птенцов, и охота на них запрещена.

— Э, кто с этим считается!

— Как это так, ведь это браконьерство.

— Да, конечно,— поспешно согласился мельник.— Я и сам никогда не стреляю дичь в это время. Но мои друзья обычно ни у кого не спрашивают разрешения на охоту.

И Ниортава положил перед гостем трех убитых индеек. На большом деревянном блюде лежала еще одна индейка, уже ощипанная, лоснящаяся от жира, желтая, словно тесто из кукурузной муки.

— Кто подстрелил их, Соломон?

— Канкрэ, Лалбаца и Гагриа, вчера ночью. Что может сравниться по вкусу с мясом дикой индейки, а? Сейчас я угощу вас, батоно.

— Нет, Соломон, дома ждут меня к обеду. Я не могу остаться. Да и Медико будет волноваться.

Залаяли собаки. Ниортава открыл дверь. К мельнице верхом на коне подъехал мальчик. Он привез мешок зерна на помол.

Ниортава обрадованно сказал Коринтели:

— Я сейчас же велю передать Медико, что вы в гостях у меня. И пусть вас не ждут к обеду.

Ниортава сунул мальчику в руки небольшой бурдючок и о чем-то пошептался.

Коринтели проклинал в душе злополучных индеек, заманивших его сюда, но уйти сейчас значило обидеть хозяина.

Вскоре на взмыленном коне вернулся мальчик. Ниортава отдал ему мешок с мукой, взял бурдючок и положил перед гостем.

— У меня есть и другое вино,— сказал он,— но киндзмараули самое лучшее. Не так ли?!

Коринтели засмеялся:

— Зря старался, Соломон. Вот уже третий год, как я почти не пью вина, врачи запретили.

— Э, если слушать докторов, они скоро нам и кушать запретят. В прошлом году в Бермуху пожаловал один пройдоха, выдававший себя за доктора. Обещал всем сделать такую прививку, от которой ума прибавится.

— Ну и как, сделали кому-нибудь такую прививку?

— Мой приятель Канкрэ и его дружки сделали себе по разу. Чуть было и меня не заставили, черт их побери!

Коринтели не мог разобрать: шутит Ниортава или говорит всерьез.

А тот бросил тесто на угли, засыпал его горячей золой и продолжал:

— Я вам правду говорю. По этому делу даже следствие велось. Сам районный прокурор приезжал. Выяснилось, что этот пройдоха впрыскивал доверчивым людям не мозги, а сок от вываренной петрушки.

Изжарилась индейка. Хозяин разрезал ее и разложил на блюде. Запах жареной дичи возбуждал аппетит.

Коринтели с удовольствием отпил вина. Дома ему это не разрешалось.

Мельник вытащил откуда-то довольно объемистую посудину, служившую ему, очевидно, мерой зерна, наполнил ее вином, встал и произнес тост за здравие профессора.

Коринтели с аппетитом ел индейку и горячий хлеб, пил вино. Он чувствовал себя превосходно, если бы только не собаки и кошки, окружавшие столик и настойчиво требовавшие пищи.

Мельник повеселел. Он произносил все новые и новые тосты, но Коринтели не поддавался соблазну: он пил все меньше и меньше и наконец совсем отказался от вина.

Ниортава вышел во двор и остановил мельницу.

Стало тихо. До слуха Коринтели донеслось кряканье

диких уток и шум алазанских вод. Хозяин, возвратившись, выгнал из комнаты собак, кошек и запер дверь.

— Зачем ты держишь столько животных? — спросил Коринтели.

— Что делать, батоно! — ответил захмелевший мельник.— Каждый беспризорный так и льнет ко мне, тоже обездоленному. Если бы не было на этой мельнице кошек, то меня давно бы заели крысы. Да это что, вы бы посмотрели, сколько ласточкиных гнезд под стрехой мельницы.

Залаяли собаки, и хозяин вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Коринтели выглянул наружу и увидел приближающихся к мельнице девушку в платке и мальчика без шапки, погоняющего навьюченного мешками осла. Ниортава поздоровался с девушкой и помог снять поклажу.

Потом все они — Ниортава, девушка и мальчик — вошли в комнату.

— Мачеха просила помолоть эту кукурузу, да так, чтобы в ней не было остатков пшеничного помола,— бойко начала девушка и осеклась, заметив Коринтели.

— Чего ты оробела, Нуну, подсаживайся к столу и угощайся,— сказал Ниортава и вышел.

Мельница заработала.

Ниортава вернулся с большой закопченной керосиновой лампой.

Коринтели узнал Нуну Уджираули. Рядом с ней, уцепившись за ее рукав, стоял мальчик.

Бронзовый оттенок лица девушки, ее большие темно-синие глаза и красный платочек на голове создавали чудесную гармонию красок. На ее шее висели дешевые черные бусы.

Глядя на Нуну, Коринтели вспомнил «Женщину с железным ожерельем» Леонардо да Винчи.

Потом он перевел взгляд на стоявшего рядом с девушкой мальчика и содрогнулся. У мальчика была почти треугольная, непропорционально большая голова, неестественно широкий лоб, приплюснутый нос, очень маленький подбородок, большие желтые уши и лимонного цвета лицо.

Красоту Нуну еще больше подчеркивало уродство стоящего рядом с нею подростка. Коринтели вспомнил слова Леонардо да Винчи: «Когда красота и уродство

оказываются рядом, оба они начинают звучать сильнее».

— Присядь, чего ты стоишь! — повторил Ниортава.

Коринтели догадался, что девушка стесняется его, и, в свою очередь, попросил ее сесть. Он уступил ей свой расшатанный стул и пересел на большое суковатое полено, поближе к огню.

Мельник отыскал наконец щербатую тарелку и, положив на нее несколько кусков индюшатины, предложил их девушке и мальчику.

— Слушай, Малхаз, как твои дела? Сколько индеек ты убил по дороге сюда? — обратился Ниортава к мальчику.

Тот болезненно поморщился и что-то отрывисто и тихо ответил.

Коринтели не расслышал слов мальчика, он тронул хозяина за локоть и спросил:

— Что сказал мальчик?

— У этого несчастного язык заплетается, и он не выговаривает буквы «г». Он сказал, что убил змею по дороге.

Нуну не пожелала ничего есть. Малхаз же, схватив ножку индейки, энергично грыз ее.

Коринтели спросил девушку:

— Чей это мальчик?

— Мой брат.

— Родной?

— У нас с ним общий только отец,— ответила она, опустив голову.

Коринтели предложил Нуну вина. Но мальчик ухватился за чашу, вырвал ее из рук сестры и мгновенно осушил. Нуну это огорчило.

— Вы что, не разрешаете ему пить? — спросил Коринтели.

— Да, если ему не препятствовать, он может напиться. Очень любит вино. До трехлетнего возраста все землю ел, а теперь к вину его потянуло. Убьет меня мачеха, если я приведу его домой пьяным.

— Сколько тебе лет, Малхаз?

Тот нахмурился.

— Тринадцать,— ответила за него Нуну.

Мальчик потянулся к блюду и взял еще кусок мяса. Но тут подскочила кошка и вырвала мясо у него из рук.

Раздался дикий крик. Слезы потекли по щекам мальчика. Коринтели старался успокоить его другим куском индейки.

— Проклятые кошки,— ругался Ниортава.— Осрамили меня перед гостями.

Он схватился за метлу. Кошки кинулись к лестнице, ведущей на чердак. Мельник устремился за ними... С потолка посыпалась пыль, сажа.

Ниортава вернулся к столу.

Теперь он произнес тост за Нуну, хвалил ее трудолюбие, скромность, доброту.

Коринтели тоже взял в руки чашу и пожелал девушке здоровья, счастья.

— Вы семилетку закончили? — обратился он к ней.

Нуну покраснела и опустила голову.

— Ей не дала учиться эта сумасбродная женщина,— сказал Ниортава.

— Кто? — спросил Коринтели.

— Ее мачеха, Кетуа,— ответил мельник.

— Очевидно, поэтому ты и не поняла теорему Пифагора,— сказал Коринтели.

— Кое-что я поняла,— смущенно проговорила Нуну.— Но я не представляла себе, для чего нужен треугольник при планировке виноградника.

Коринтели взял палочку, разгреб ею золу, выровнял, начертил на ней прямоугольный треугольник и начал снова объяснять. Лицо девушки засияло: теперь она все поняла.

Ниортава все больше хмелел. Он провозглашал новые тосты и упрашивал Коринтели выпить с ним.

Трудно было устоять.

Приятно трещали сучья в пылающем очаге. Монотонно вращались жернова. Напротив Коринтели сидела миловидная девушка. В чашах искрилось киндзмараули. Это вино напоминало Коринтели его юность, тот день, когда он и его сверстники отмечали в Телави окончание гимназии.

Ниортава все не мог угомониться. Он вскакивал изза стола и приносил то вино, то сушеные фрукты. Хозяин настаивал, чтобы гости пили. А Коринтели уже подошел к тому пределу, когда хорошее вино, будто незаметно подкравшаяся собака, бросается на человека и хватает его своими цепкими зубами за ноги.

«Довольно, больше пить не буду»,— приказал себе Коринтели, когда мельник снова поставил перед ним наполненную чашу.

Хозяин на этот раз не настаивал. Он втайне решил, что киндзмараули возьмет свое, оно сумеет заманить гостя в свои сети.

— Мельница моя — настоящий клуб,— говорил Ниортава,— клуб охотников. Часто им бывает лень ехать в Кварели, или в гостинице нет мест, тогда они останавливаются у меня. Этой зимой ко мне заявились три тбилисских агронома. Они здесь неподалеку охотились. Всю ночь напролет пили вино. Один из них работал помощником какого-то профессора. Как это у них называется, батоно?

— Ассистентом.

— Да, кажется так. Он утверждал, что греки и какие-то другие народы — я не запомнил, как их звать,— вывезли отсюда, из нашей страны, виноградную лозу. Правда ли это, батоно?

— Что же, некоторые действительно так считают,— заметил Коринтели.— Археологи подтверждают, что виноградная лоза в Грузии существует не одну тысячу лет. Вполне вероятно, что греки, как и другие завоеватели, вывозили из нашей страны не только золото, но и новые для них породы животных и растений.

Он обратился к Нуну:

— Вы учили историю?

— Учила немного.

— Так вы, может быть, знаете, что примерно в восьмом веке до нашей эры греческий поэт Гомер написал поэму «Одиссея», герой которой Одиссей приезжает в Колхиду, в гости к Кирке,— сестре царя колхов Ээта.

Ниортава несколько раз пробормотал.

— Кирке, Кирке, Кирке. Какое странное имя, а? — сказал он.

И тогда Коринтели начал неторопливый и длинный рассказ о том, как пришел в древнюю Колхиду Одиссей — царь Итаки.

Огонь, женщина, вино разжигают в мужчинах страсть к разговорам. Коринтели не являлся исключением из этого правила. Он увлеченно рассказывал о похождениях Одиссея, о его воинских подвигах, о том, как, посетив Колхиду, греки пили знаменитое «искрящееся вино».

— Если верить легенде, то Одиссей, оказавшись в стране колхов, сразил копьем огромного оленя с ветвистыми рогами и на плечах доставил его своим спутникам на корабль. После того как они отведали оленьего мяса, Одиссей разделил людей на два отряда и они двинулись завоевывать Колхиду. Один отряд возглавил он сам, а второй доверил Эврилоху. Долго бродил Эврилох со своими воинами по безлюдным лесам и ущельям и наконец подошел к выстроенному из тесаного камня дворцу Кирке — сестры «злосердного» царя колхов Ээта.

Дворец этот охраняли заколдованные львы и волки. Они рыскали вокруг него днем и ночью.

Кирке сидела во дворце, пряла и пела песни. Она разгадала замысел греков, приняла их и угостила вином, в которое подмешала «черную траву». Воины напились и превратились в свиней. Тогда Кирке загнала их плетью в свинарник.

Случайно спасся лишь Эврилох. Он вернулся на корабль и, рыдая, сообщил своим соотечественникам эту печальную весть.

Одиссей опоясался большим мечом, кованным серебром, и направился к дворцу Кирке. Она и его угостила колдовским вином. Потом она взяла плеть и захотела загнать в свинарник и этого непрошеного гостя. Но Одиссей, принявший противоядие, выхватил меч и принудил Кирке дать клятву верности. Тогда Кирке поднесла ему чашу искрометного вина...

Коринтели собирался продолжить рассказ о том, как Кирке пожалела греков и вновь превратила их в людей и как снова с жадностью накинулись они на искрометное колхидское вино, но тут кто-то со страшной силой толкнул дверь мельницы.

Коринтели вздрогнул и обернулся. В комнату ввалились три человека с ружьями.

— Ниортава, где ты, чертово отродье,— заорал один из них; на поясе у него висели убитые зайцы.

— Не дури, Канкрэ! — крикнул мельник, указывая взглядом на Коринтели.

Канкрэ опешил и как ошпаренный выскочил из комнаты. За ним — его приятели.

— Кто они такие? — спросил Коринтели.

Ниортава, стараясь сгладить неприятное впечатление от появления непрошеных гостей, пошутил:

— Эх, будь у меня вино Кирке, я бы, не задумываясь, превратил всех этих троих в свиней.

Потом он взял кувшин и стал разливать вино.

Тогда Коринтели поднялся из-за стола:

— Теперь я скажу тост, и он будет последним. Почти весь мир объездил я, мой Соломон, но нигде не встречал такой мельницы, как у тебя. Я приглядывался к ней, пока сидел тут. Помещение это раньше было, очевидно, не только мельницей, но и крепостью. Наш народ даже зерно молоть вынужден был в крепостях. С кем только не приходилось нам воевать. Мы воевали и с римлянами, и с греками, и с монголами, и с сельджуками. Спасли нас непоколебимое мужество и любовь к жизни. Предлагаю тост за жизнелюбивый и мужественный грузинский народ!

Коринтели отпил немного и передал чашу Ниортаве.

Мельник упрашивал посидеть еще немного. Но Коринтели и так уж засиделся.

Хозяин закрыл мельницу и пошел проводить гостей.

Малхаз погонял осла. Мальчик пел, как это ни странно, необычайно красивым тенором. Слушая его, Коринтели думал о несуразности природы, вместившей в уродливое тело такой прекрасный голос.

Рядом шла Нуну. Коринтели рассказывал ей о жизни растений, о биохимических процессах, происходящих в земных недрах, и втайне мечтал о том, чтобы никогда не кончилась дорога, ведущая от колхозной мельницы к Бермухе.

8. КАРАКУЛЕВАЯ ПАПАХА

— А ну-ка, взгляни, Малхаз, не идет ли Нуну! — крикнула Кетуа своему сыну.

Задвинув кеци[1] в горячую золу, она стала яростно месить тесто.

Мальчик вернулся, присел у огня и проворчал:

— Нуну нигде не видно, а сюда идет дедушка Абриа.

Только Малхаз сказал это, как у входа появилась могучая фигура старика. Дверная притолока была низ-

[1] Кеци — небольшая сковородка из огнеупорной глины.

кой, и Абриа вынужден был пагнуться, чтобы пройти в комнату.

Он поздоровался с хозяйкой и спросил:

— Зачем я тебе понадобился?

Кетуа подняла вверх выпачканные в тесте руки.

— Я вдова, и обо мне некому заботиться. Ты старейший из рода Уджираули, и я должна сообщить тебе радостную весть.

Кетуа была чем-то возбуждена. Лицо ее пылало. Густо накрашенные губы нервно вздрагивали. Она остановила свой строгий взгляд на сыне и приказала:

— Выйди во двор, Малхаз!

— Что мне там делать? — возразил мальчик.

— Посмотри, нет ли телят в огороде.

— Не хочу во двор! — истерически завопил он и затопал ногами.

— Убирайся сейчас же, кому говорю! — крикнула разъяренная Кетуа.

Мальчик вцепился обеими руками в табурет, думая, что тот удержит его в комнате. Но Кетуа вытолкала сына вместе с табуретом.

Захлопнув дверь, она вернулась к жаровне и, намочив ладонь, ловко принялась за изготовление хачапури[1].

— Мужа нет у меня, говорю, и некому обо мне позаботиться,— затараторила она.— Так к кому же обращаться мне за советом и помощью, как не к тебе? Ты — дедушка Нуну и ее единственный наставник. Нет ведь у нее ни отца, ни матери. И вот теперь, говорю тебе, счастье постучалось в наш дом, настоящее счастье.

— Какое счастье, что ты плетешь, женщина?

— Приехал из города Коберидзе с подарками.

— Какой еще Коберидзе?

— Коберидзе, друг моего несчастного мужа.

— Ты хотела сказать — губитель твоего мужа?

— Какой губитель, что ты говоришь, дед Абриа. Мой муж сам погубил себя, несчастный.

— В глаза я не видел этого Коберидзе,— сказал Абриа.— Но слышал, что это он заманил твоего мужа в город, споил его там, разорил и свел с ума. А потом несчастный Гоброн пришел домой нищим и уже не смог подняться на ноги.

---

[1] Хачапури — пирог с начинкой из сыра.

Кетуа подошла ближе к Абриа.

— Так ли было это или иначе, неважно,— сказала она.— Надо поскорее выдать замуж нашу замарашку. Не то знай, принесет она в подоле ребенка, и тогда мы будем рвать на себе волосы. Недолго до греха: ведь нынешние девушки день и ночь вместе с парнями в лесу, в поле, на собрании, в кино,— всюду они вместе. Как бы тебе потом не пришлось пожалеть. Еще раз говорю: выдай ее замуж! Или развяжи мне руки, и тогда я сама с ней справлюсь.

Абриа молча смотрел в огонь, а Кетуа продолжала:

— Счастье стучится в наш дом. Щедрые подарки привез Коберидзе. Богатый он человек, словно сыр в масле катается...

— Не зарься на его богатство, женщина,— пытался остудить ее пыл Абриа.— Не знаешь ведь, откуда оно у него. Может быть, ворованное.

Но не так-то легко было унять Кетуа.

— Что мне до того, ворованное оно или полученное по наследству,— еще больше распалялась она.— Я знаю одно: живет он по-барски. Это может подтвердить и соседка Маруа. Ее сестра живет в городе, так она говорит, что у Коберидзе в доме и прекрасная шифоньерка, и никелированные кровати, и ковры, и даже пианино.

— Не зарься на это,— спокойно твердил Абриа.— Придет время, и все у него отберут. Вот увидишь.

— Так или иначе, а ты имей в виду: не сегодня, так завтра я продам этот дом и уеду в Тбилиси,— выкрикнула Кетуа. Не зная, чем еще пронять старика, она выпалила: — Мне осталось жить еще очень немного, так я хочу прожить оставшиеся дни спокойно. Я ведь очень больна, Абриа, у меня воспаление мочевого пузыря. Да, да, не смейся!

Абриа словно водой ее окатил:

— Если ты у меня спрашиваешь совета, женщина, то изволь выслушать. Для чего тебе этот Коберидзе? Кто его знает? Откуда он взялся? У меня и брата моего Луо совсем другое на уме. Мы думаем выдать Нуну за Канкрэ. Он и шофер, и парень неплохой. Недавно мы встретили его слегка подвыпившим, и он сам признался, что для того только и приехал сюда из города, чтобы жениться на Нуну. Канкрэ наш человек.

Кетуа взбесилась:

— Канкрэ? Опомнись, Абриа! Ведь вы, тушинцы, не женитесь на девушках из своего рода. Где же слыхано, чтобы Уджираули выдавали замуж за Уджираули?!

Но Абриа почесал затылок и пробормотал:

— Напрасно ты думаешь, что Канкрэ из рода Уджираули. Он сирота, сын бодбийского дьякона Кобешавидзе. Его усыновил мой племянник. Давно это было, в Шираки. Никто об этом не знает, и пусть это останется между нами.

Кетуа была ошеломлена.

— Что я слышу, Абриа!.. Теперь мне понятно, почему зачастил к нам Канкрэ — то приходит дров нарубить, то поросенка зарезать... Под разными предлогами день и ночь здесь околачивается. А недавно поносил Нуну последними словами и грозил убить, потому что встретил ее с Годердзи у склада саженцев.

Кетуа метнулась к очагу, зашлепала ладонью по тесту и, несколько утихомирившись, сказала:

— Если вы, Уджираули, считаете меня хозяйкой этого дома, то должны посчитаться хотя бы с тем, что я не хочу выдавать Нуну замуж в нашем селе. Канкрэ женится на ней и захочет поселиться у нас, а меня это не устраивает. Я хочу выдать Нуну за городского человека, потом продать дом и участок, отдать ей ее долю денег — пусть подавится! — и уехать в город.

— Насчет дома — поступай как знаешь, но участок... Вряд ли ты сумеешь его продать. Тедо Таралашвили задаст тебе! Кончилось то время, когда можно было продавать землю.

— Еще как продам!..— начала было Кетуа, но тут открылась дверь и на пороге появился Канкрэ.

Ни с кем не здороваясь, даже не сняв кепку, он молча подошел к очагу и, вынув из огня горящий уголек, прикурил.

— Что с тобой, Канкрэ, никак плакать собрался, а? — спросила Кетуа, продолжая возиться с тестом.

— Ничего особенного, тетушка, мне плакать не о чем, а вот тебе есть о чем поплакать, горемычная.

— Что ты мелешь?

— Не мелю, а правду говорю, тетушка, правду.

— О чем же, по-твоему, мне плакать?

— Слышал я, Нуну выдаете замуж. Только что Маруа сообщила мне эту новость. И жених, оказывается, уже

приехал, городской жулик Коберидзе. Только ничего хорошего не выйдет, сами увидите. Заберет ваш Коберидзе месяца на два Нуну в город, потом возвратит ее вам. Не впервой ему!.. Трем женам алименты выплачивает.

— Потише говори, парень,— сказала Кетуа, показав глазами на дверь соседней комнаты.

Тут появилась Маруа.

— Поздравляю вас, вот и Нуну счастье выпало! — сказала она.

— Эх, далеко еще до счастья, моя Маро, посмотрим, что скажет Нуну,— печально ответила Кетуа.

— А разве не все равно, что она скажет? Разве нас спрашивали, когда выдавали замуж? — Маруа вопросительно посмотрела на Абриа и Канкрэ.

Канкрэ промолчал, а Абриа ответил:

— Пожалуй, ты права, Маруа. В наше время девушку столько же спрашивали, сколько лошадь, которую собирались седлать. Такого правила придерживались наши деды и отцы. И мы, Уджираули, не знали другого закона. Но теперь...

— Что — теперь? — спросила Маруа.

— А то, что нынешние девушки стали другими,— осуждающе произнес Абриа, кладя в свою трубку горящий уголек и ногтем приминая его.— Видела, как они динамит взрывали?

— Надо было ее за волосы оттаскать,— ответила Маруа.— Ты ведь старейшина рода Уджираули.

— Все это верно, но только Коберидзе не годится в зятья Уджираули,— не выдержал Канкрэ.

— Не ори, парень! — остановила его Кетуа и снова указала на дверь соседней комнаты.

— Пусть слышит, сукин сын, наплевать мне на него,— прорычал Канкрэ.

— Тише, как тебе не стыдно, что ты, одурел? — пыталась унять его Кетуа.

— Я правду говорю.

— Скажите пожалуйста! — иронизировала Кетуа.— А откуда ты знаешь Коберидзе?

— Как же не знать его! Кто не знает спекулянта Коберидзе. Все знают, что он возит в Тбилиси вино из Кахетии и торгует им, разбавляя водой и сахарином.

— А тебе что до этого? Пусть разбавляет.

— Мне-то ничего. Вот на тебя хочу посмотреть, когда посадят в кутузку этого твоего зятька.

— Помолчи, парень. Он все-таки гость в этом доме,— вмешался Абриа.

Тут пришел Луо Уджираули, а за ним и Малхаз.

Абриа поднялся, взял за руки Луо и Канкрэ и повел их в соседнюю комнату. У очага осталась лишь Маруа, с любопытством наблюдавшая за тем, как Кетуа и Малхаз носили туда хачапури, жареных цыплят и влажные от холодного вина кувшины.

Сквозь дверную щель Маруа время от времени видела Коберидзе — краснощекого здоровяка с двойным подбородком, жадно пьющего вино из большой чаши. Коберидзе хмурился, прислушиваясь к вялому разговору своих сотрапезников.

На голове у него была отливающая золотом новенькая каракулевая папаха, от которой Кетуа не могла оторвать своего восхищенного взгляда. Края папахи упирались в красные оттопыренные уши Коберидзе.

Малхаз поминутно сновал из одной комнаты в другую. Он таскал кувшины, прикладываясь к каждому из них, прежде чем отнести к столу.

— Что они там делают? — поинтересовалась Маруа.

— Пьют! — ответил Малхаз.

Гости действительно молча пили и ели, словно на поминках.

Маруа не могла, конечно, усидеть на месте. Она нетерпеливо ждала той минуты, когда вино одолеет гостей и она сможет прошмыгнуть к ним. Из соседней комнаты донесся грозный окрик Канкрэ: «Пей, сукин сын, не воруй вино!»[1] Скрипнула дверь, Кетуа и Малхаз с трудом вынесли тяжелый чемодан и, поставив его возле очага, открыли, торопясь рассмотреть содержимое.

Чего только в нем не было! Какие чудесные подарки привез Коберидзе! У Маруа глаза разгорелись.

Тут было белое креп-жоржетовое подвенечное платье и черное шерстяное, кашемировые блузки, шелковые

---

[1] «Не воруй» в данном случае означает: не обманывай, пей наравне со всеми, не оставляй вина в чаше, то есть не воруй вино у себя.

ночные рубашки и лакированные туфельки, шелковые чулки и фетровые шляпки, платки и бусы... В отдельной коробке лежали золотые часы, браслет, несколько колец с фальшивыми камешками и среди них — одно обручальное.

Кетуа схватила особенно понравившуюся ей коричневую фетровую шляпу с зеленым пером.

— Примерь сначала платье,— посоветовала Маруа.

Женщина отложила шляпу и натянула на себя черное шерстяное платье. Потом надела часы, браслет и, сбросив с ног стоптанные тапочки, сунула ноги в лакированные туфли.

— Иф, иф, какая красавица! Сразу на десять лет помолодела! — верещала соседка Маруа, вертясь вокруг Кетуа так, словно та была на выданье.

— Эх, Маруа, не для меня уготовано все это,— простонала Кетуа.

Но тут же она встрепенулась, кокетливо завертелась, словно эти вещи возвратили ей молодость, и начала вспоминать свое «счастливое девичество». В десятый раз рассказывала она о том, как богат был ее отец-гробовщик, который за «баснословные деньги» торговал во время эпидемий гробами, как он покупал ей на эти деньги дорогие парчовые платья...

И должно же было случиться так, чтобы именно в это самое неподходящее для Кетуа время явилась Нуну! В полумраке комнаты она приняла свою мачеху за какую-то городскую гостью. Маруа, заметив это, решила подшутить над девушкой:

— А у вас гостья, Нуну.

Кетуа прикрыла лицо шелковым платком и замерла.

Нуну приветливо ей сказала:

— Присаживайтесь, пожалуйста, моя мачеха сейчас придет.

Тогда Кетуа не выдержала и прыснула.

— Ты что, не узнала ее? — воскликнула Маруа.

Нуну удивленно посмотрела на мачеху. Да, это была она.

— Откуда взялось все это? — спросила Нуну.— Кто тебе принес?

Кетуа игриво захихикала.

— Я ведь говорила тебе, девушка, что если ты не поспешишь замуж, то я опережу тебя. Посмотри, какие

богатства привез мне из города мой жених,— указала она на раскрытый чемодан.— Завтра мы распишемся в загсе и уедем вместе с мужем и сыном в город.

Нуну приняла все это всерьез и от души обрадовалась скорой возможности избавиться от мачехи. Но она не высказала эту свою радость. Девушка подошла к стенному шкафу, достала оттуда краюху хлеба и принялась есть.

Малхаз, услышав слова матери, тоже поверил им и заскулил.

— Не хочу в город! Я никуда не уеду...

Кетуа и Маруа затараторили о чем-то своем.

Нуну сказала:

— Сегодня мне придется работать допоздна, поем немного и пойду. Меня ждут.

Кетуа притворилась огорченной:

— Что ты, доченька. Ты не хочешь присутствовать на моем обручении?

Малхаз капризно топал ногами и продолжал скулить:

— Никуда не поеду отсюда!

Нуну стояла растерянная, она почувствовала, что здесь что-то неладно. Из соседней комнаты донесся голос Канкрэ:

— Коберидзе, не хитри, пей, черт тебя возьми!

Девушка насторожилась, встревожилась.

Заметив ее волнение, Кетуа решила прекратить игру.

— Не ко мне, а к тебе приехал жених, Нуну. И эти подарки он привез не мне, а тебе. Поздравляю тебя, это большое счастье,— сказала Кетуа и потянулась, чтобы поцеловать девушку.

Но та резко отстранилась.

— Какой жених? Какие подарки? Нет у меня никакого жениха.

— До сих пор не было, а теперь будет,— хихикнула Маруа.

— Хватит тебе, сирота, месяцами носить одно и то же платье. Довольно с тебя бедности! — крикнула Кетуа.

Нуну опустила голову.

— Я еще никому не жаловалась на свою бедность.

— Ты не жаловалась. Но бог оценил твое терпение и послал тебе счастье,— сказала Маруа.

— Не верю я ни в какого бога и не ищу никаких женихов, тетя Маро,— отрезала Нуну.

— Сядь, я тебе кое-что скажу,— многозначительно произнесла Кетуа и потянула девушку к стулу, стоявшему у очага.

— Некогда мне сидеть,— огрызнулась Нуну.— У нас соревнование с мукузанским колхозом, за неделю мы должны высадить несколько тысяч виноградных лоз.

— Там без тебя обойдутся,— увещевала ее Кетуа.— А вот помолвка без тебя не обойдется. Приехал Коберидзе. Не сегодня, так завтра я устрою тебе помолвку.

— Коберидзе? Какое он имеет ко мне отношение?

— Как, неужели ты не знаешь Коберидзе, друга твоего отца? Разве ты не помнишь мужчину в каракулевой папахе, который пригласил нас в кино, когда мы возили Малхаза к врачу в Тбилиси? Я тебе тогда еще говорила, что папаха Коберидзе очень пригодилась бы мне на воротник для пальто. Помнишь? Ну, так вот, этот Коберидзе с тех пор только о тебе и думает.

Нуну вспомнила человека в высокой, конусообразной каракулевой папахе.

— Богатый человек этот Коберидзе,— заключила Кетуа.

— Но я ничего общего не хочу иметь с такими богачами!

— А с кем же ты хочешь быть,— с такими же бедняками, как сама?

— Я не собираюсь выходить замуж. Этот Коберидзе больше тебе годится в женихи, чем мне. И его платья тебе к лицу...

— А что ты думаешь?! Я с удовольствием пошла бы за него, но, к сожалению, ему не нужны такие, как я.

Нуну прекратила разговор и направилась к двери.

Кетуа бросилась за ней:

— Куда ты, постой, покажись хоть гостю, не будь такой дикаркой.

— Я сказала уже, мне некогда.

— Ну и черт с тобой! — бросила ей вслед Кетуа.

Из соседней комнаты доносились громкие голоса мужчин.

— Коберидзе, не жульничай, пей, сукин сын! — орал Канкрэ.

Кетуа переоделась в свое старое, выгоревшее на солнце платье, сунула ноги в чусты и побежала наполнить вином опорожненные кувшины. От вина, которое ей

приходилось отсасывать из бочки через резиновую трубку[1], от усталости и мрачных предчувствий у нее кружилась голова.

Она шепнула Маруа:

— Боюсь, как бы этой ночью не стряслась беда в нашем доме.

— Какая беда, что ты?

— Эх, ведь знаешь, какой отчаянный Канкрэ. Он все грызется с Коберидзе, а тот покоя мне не дает, все спрашивает — где да где Нуну? А этому Канкрэ тоже нравится Нуну. Они могут сцепиться.

— За Коберидзе не бойся, он не останется в долгу.

— Да, но только убрались бы они из моего дома, а там пусть хоть головы друг другу проламывают!

— Но куда же среди ночи пойдет Коберидзе? — спросила Маруа.

— Туда, где остановился, в дом свинопаса Попола, он же его родственник.

А шум в соседней комнате все усиливался. Оттуда доносились пьяные выкрики, хохот. Женщины прильнули к дверной щели.

Во главе стола сидел Коберидзе. Лицо его побагровело от вина, и по лбу текли струйки пота.

Напротив него стоял Канкрэ. Ворот его рубахи был расстегнут. Он нервно вертел в руках кувшин с вином и приговаривал:

— Коберидзе, христопродавец, пей, не воруй вина, не то...

Коберидзе вскочил, вытаращил свои бычьи глаза и ударил кулаком по столу.

Зазвенели тарелки, и дрожь пробежала по телу Кетуа: как бы разбушевавшиеся гости не побили ее последнюю посуду.

Луо Уджираули подошел к Канкрэ и отнял у него кувшин.

— Выйдем на двор, если ты не баба,— грозил Канкрэ, снова хватаясь за кувшин.

— А ты похуже бабы! — крикнул Коберидзе.

---

[1] Чтобы перелить вино из бочки в небольшую посуду при помощи резиновой трубки, приходится прежде немного отсасывать его.

И тогда у самого его виска пролетел и грохнулся о стену кувшин. Второй летел уже в сторону Канкрэ.

Пришлось вмешаться старейшине рода Уджираули — Абриа. Он крепко выругался, дал подзатыльник Канкрэ, затем потащил его за собой, обвел вокруг стола и, подведя к Коберидзе, приказал:

— Поцелуй гостя!

В комнате водворился было мир. Но пьяный Канкрэ не выдержал:

— Коберидзе, христопродавец, не воруй вина, пей! — заорал он опять.

Вслед за этим полетели уже не только кувшины, но и стулья.

И опять старейшине рода Уджираули пришлось восстанавливать порядок. Абриа увел Канкрэ, Луо поволок за собой Коберидзе.

Когда женщины выскочили вслед за ними из дома, они увидели четыре удаляющиеся фигуры...

Кетуа, предчувствуя недоброе, сказала Маруа:

— Что ни говори, а Коберидзе все-таки наш гость, пойдем за ними, посмотрим...

Они увидели, как у колхозного двора Абриа снова мирил Канкрэ и Коберидзе, заставлял их целоваться. Но старикам, видно, надоело возиться с пьяными, и они оставили их.

Из белых, точно мел, облаков выплыла луна и осветила спящие домики. Цветущие персиковые деревья, посаженные вдоль оград, казались занесенными снегом. Вокруг стояла тишина, изредка нарушаемая тявканьем собак.

Двигающиеся на расстоянии друг от друга Канкрэ и Коберидзе то и дело останавливались и снова ругались. До слуха женщин доносилось имя Нуну. Так они дошли до лавки райпотребсоюза.

— Почему ты, сукин сын, воровал за столом вино? — не унимался Канкрэ.— Мало тебе того, что в городе жульничаешь?

В ответ Коберидзе так стукнул Канкрэ по лицу, что тот чуть было не свалился. Он тут же размахнулся и ударил своего противника кулаком в челюсть. Огорошенный этим ударом, Коберидзе завертелся и взвыл, словно бык, которого режут. Затем, выпрямившись, он

снова рванулся в атаку, испугав спрятавшихся в придорожных кустах женщин.

Канкрэ ответил ударом на удар. С головы Коберидзе слетела каракулевая папаха и, подобно мячу, отлетела в растущий возле дороги кустарник. Это еще больше разъярило Коберидзе.

И на сей раз у Кетуа мелькнула мысль, что неплохо было бы украсить ее пальто воротником из каракулевой папахи Коберидзе. Но она ничего не сказала об этом Маруа.

Маруа беспокоилась. Ведь это она привела Коберидзе в дом к Нуну. Об этом знали все соседи. И Маруа с ужасом подумала об ответственности, которая ляжет на нее, если этой ночью стрясется какая-нибудь беда.

Неподалеку находилась МТС. Маруа предложила Кетуа сходить туда и позвать людей.

Женщины так и сделали. Но ворота МТС оказались закрытыми. Они заглянули во двор: не видно ни души.

Но вот на их зов из кабины грузовика вылезли Вано Хелашвили и Ника Уджираули.

Ника, выслушав женщин, сказал:

— Я вижу — делать вам нечего. Мы целый день сегодня работали, а эти бездельники пьянствовали. Пусть горло перегрызут друг другу — нам какое дело!

Кетуа и Маруа возвратились к месту драки.

Бой продолжался. Коберидзе, убедившись, что ему не справиться с Канкрэ с помощью кулаков и подножек, выхватил нож. В руке Канкрэ тоже сверкнул нож, изогнутый, как кабаний клык.

В это самое время на дороге появилась милицейская машина, направлявшаяся из Кварели в Телави. Яркий свет фар ослепил дерущихся. Шофер резко затормозил. Но задержать никого не удалось: Канкрэ и Коберидзе словно растворились во тьме.

Когда машина удалилась, из придорожных кустов вылезли женщины. Они спустились в канаву и долго искали там, среди крапивы и колючек, каракулевую папаху. Маруа уговаривала отказаться от этой затеи, уверяя, что сразу же после того, как уехали милиционеры, она своими глазами видела, как из оврага вылез человек в папахе и побежал в сторону плоскогорья Девяти дубов.

Кетуа не верила ей.

— Не может этого быть. Коберидзе побежал бы в другую сторону, туда, где живет Попола.

Папаха так и не нашлась.

9. БЕРМУХА СОРЕВНУЕТСЯ С МУКУЗАНИ

В ту самую субботу, когда произошли события, описанные в предыдущей главе, бермухский колхоз, наиболее отстающий из всех, расположенных за Алазанью, вызвал на социалистическое соревнование колхоз села Мукузани, считающийся одним из передовых в Кахетии.

Тот день ознаменовался еще одним немаловажным событием: закончили строительство большого сарая-склада для саженцев. Колхозники украсили здание лозунгами, цветами и собрались здесь утром на митинг.

За столом в президиуме — Цихистави, секретарь райкома комсомола Алавидзе, профессор Коринтели, Тедо Таралашвили, агроном Мелитаури, колхозные бригадиры...

Сперва говорил Цихистави. Секретарь райкома партии по достоинству оценил самоотверженный труд людей, которые успешно осваивали плоскогорье Девяти дубов. Он выразил уверенность в том, что колхозники Бермухи не посрамят себя в соревновании с колхозниками Мукузани.

После Цихистави выступил Тедо Таралашвили. Испытующе глядя на собравшихся из-под нависших над глазами мохнатых бровей, он степенно, с расстановкой говорил:

— Товарищи! Партия и правительство зовут нас строить счастливую, зажиточную жизнь. Знаете, что для этого нужно? — Он сделал паузу.— Нужны три вещи: труд, труд и труд.

Председатель колхоза резко критиковал лодырей, пьяниц. Раздался гул одобрения. Но послышались и недовольные голоса. Пришлось призвать собрание к порядку.

Слово получила Нуну Уджираули. Сразу же наступила тишина.

Девушка говорила так непринужденно и просто, словно перед ней было только ее звено. Пристально смотрел

на нее Коринтели. Нуну очаровала его. Глядя на нее, он думал: «Есть простота совершенства. Она, подобно этой девушке, не нуждается ни в каких украшениях...»

Нуну говорила о том, какое большое значение имеет социалистическое соревнование.

— Если колхоз наш отсталый, бедный, то в этом виновны и мы, женщины,— сказала она. — Давайте же проявим в труде тот героизм, который в былые времена не раз проявляли наши грузинские женщины в битвах с врагами.

На эти ее слова колхозники откликнулись дружными аплодисментами. Нуну вздрогнула, смутилась, румянец покрыл ее щеки.

Теперь вышел белокурый, голубоглазый свинопас Попола — Нико Ростиашвили. Он впервые в жизни выступал перед таким многолюдным собранием и заметно волновался.

Медленно, с трудом находил он нужные слова для выражения своих мыслей, а когда их не хватало и одну фразу не удавалось связать с другой, он протяжно тянул «а-а-а!» или в бессилии повторял: «так сказать», «так сказать».

Оратор часто бил себя кулаком в грудь и жестикулировал.

Но, как ни странно, именно этот неумелый оратор сумел, как говорится, овладеть аудиторией.

В неуклюжих словах Попола билась мысль. Он остро, до боли, чувствовал необходимость высказаться. И его волнение передавалось слушателям.

Попола покорял людей и своей богатырской внешностью.

Его белокурая волнистая борода, загнутая кверху под подбородком, делала его похожим на мужчин, изображенных на древнегрузинских фресках. У него были открытые, ясные, как у ребенка, глаза и белые, словно яичная скорлупа, зубы.

Он сказал:

— Хотя я и беспартийный, но и я не пожалею свои слабые силы (тут, конечно, раздался смешок), чтобы выполнить задание партии и правительства.

Это было сказано с той подкупающей непосредственностью, которая всегда вызывает больше сочувствия, чем любые пышные и красноречивые уверения.

Попола замешкался и начал что-то искать в карманах своей довольно потрепанной куртки. Люди решили, что он окончательно растерялся, и им стало жаль его.

Но Попола не растерялся. Не найдя написанного им листочка, он продолжал свою мысль:

— Я хоть и беспартийный,— повторил он твердо,— но я ни от кого не отстану ни в труде, ни в бою.

И в этих его словах было столько простой человеческой правды, они были так искренни, что люди не могли остаться равнодушными к ним. Ведь Попола говорил то, о чем думали, что чувствовали и они, потому-то так горячо и аплодировали ему.

Как только закончился митинг, все три бригады приступили к работе. Они вызвали друг друга на соревнование: звено соревновалось со звеном.

Мужчины заканчивали рытье ям, женщины сидели под навесом сарая и сортировали саженцы. Все двигалось как по конвейеру: одно звено развязывало пучки саженцев, другое — сортировало их по качеству корней, третье — обрезало их, следило, чтобы длина корней не превышала трех сантиметров.

Цихистави и Коринтели осмотрели ямки, вырытые для саженцев.

Возле них разложили поодиночке отсортированные саженцы.

К каждой ямке подходили три женщины. Одна из них аккуратно опускала саженец, другая тщательно засыпала его корни. Когда смешанная с навозом земля наполовину заполняла яму, третья уминала землю ногами, и затем яму засыпали доверху. Вокруг тоненького ствола делали небольшую остроконечную насыпь.

Коринтели чувствовал себя помолодевшим. Без пальто, повязав на шею кашне, он бодро шагал по участку с секатором в руке.

— Гриппа вы не боитесь, профессор? — спросил его Цихистави.

— Гриппа? Гм,— усмехнулся Коринтели.— Конечно, я был бы счастливейшим человеком на белом свете, если бы господь бог, создавая мир, позабыл о такой пакости, как грипп.

— Кто знает, может быть, это не он, а врачи изобрели грипп,— пошутил Цихистави.

— Говорят, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за гриппа,— в тон ему ответил Коринтели.

Они подошли к той части участка, где был Лисий овраг. Коринтели внимательно осматривал ровные ряды только что посаженных лоз. Иногда он нагибался, брал из рук женщины саженец и сам осторожно опускал его в подготовленную ямку. Его тщательно выутюженные брюки были уже изрядно выпачканы грязью. Нуну попыталась их почистить, но Коринтели ласково отстранил ее:

— У настоящего рыбака не могут быть сухими ноги...

Коринтели остановился, окинул взглядом людей, заполнивших плоскогорье Девяти дубов, и сказал, обращаясь к Цихистави:

— У народов, занимающихся виноградарством, издавна существовал культ лозы. Христианская религия придала виноделию мистическую окраску, объявив вино «кровью Христа». Этот миф заимствован из древнегреческой мистерии о мучениях Диониса, его смерти и весеннем воскрешении. И все это связано с закапыванием виноградной лозы в землю, ее весенним оживлением и, наконец, с процессом превращения винограда в вино. В христианских молитвах вскользь даже указывается на это обстоятельство — «ты еси виноградник истинный»... У нас, грузин, существует предание о том, что крестительница Нино явилась в Грузию с крестом, сплетенным из виноградной лозы...

Он помолчал некоторое время и задумчиво добавил:

— Сколько усилий требуется от человека, чтобы вырастить лозу! Трудясь над ней, он склоняется на колени, как перед святилищем. Так же склоняются перед чайным кустом. Создано немало легенд, связанных с этим древнейшим растением. Чайный куст, подобно виноградной лозе, тоже имел сложное символическое значение.

Из всех растений я больше всего люблю виноградную лозу, потому что знаю, сколько пота и крови пролил мой народ для ее сохранения.

Когда Цихистави и Коринтели вернулись к первому участку, Нуну со своим звеном обходила засыпанные землей ямки и ставила деревянные подпорки. Коринтели выдернул одну из них.

— Ты, девушка,— обратился он к колхознице,— втыкай палочку не в середину ямки, а скраю, чтобы не повредить корни саженцев.

С наступлением сумерек работа в поле прекратилась. Медленно ползли к северу легкие, как пух, розовато-белые облака.

Годердзи заметил, что Нуну, вернувшаяся из дому на участок во второй половине дня, была чем-то взволнована. Но ему не удавалось с ней поговорить. Когда работа закончилась и колхозники начали расходиться по домам, он спросил:

— Случилось что-нибудь, Нуну?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Ты чем-то расстроена. Не заболела ли?

Она опустила голову.

— Может быть, мачеха тебя обидела? — не отставал Годердзи.

Нуну не отвечала.

Белая шелковая блузка, в которую переоделась девушка после работы, очень шла ей. Никогда еще Годердзи не видел на ней белой одежды, во всяком случае с тех пор, как у нее умер отец. И казалось, что никогда еще Нуну не была так хороша.

«Что же могло так огорчить ее?» — думал юноша.

— Тут недавно женщины говорили, я слышал, будто к тебе приехал какой-то гость? — спросил он.

— Ко мне никто не приезжал,— резко ответила Нуну.— Это к мачехе приезжал Коберидзе. Я его и в глаза не видела.

Годердзи слышал про то, что Кетуа хочет сосватать свою падчерицу за какого-то Коберидзе. Но он ничего не сказал об этом девушке. Когда же Нуну собралась уходить, он остановил ее:

— Подожди немного, я сейчас тоже пойду.

Они вышли вместе из сарая, где хранились саженцы. Уходя, Годердзи обернулся и крикнул сидящему под навесом одноглазому сторожу:

— Гайоз, будь добр, собери-ка забракованные саженцы и занеси их в сарай.

— Занесу! — пообещал старик.

10. «УПРЯМСТВО ПОГУБИТ ТЕБЯ, НУНУ»

Годердзи хотелось остаться наедине с Нуну, но он знал, что дорога в село, начинавшаяся сразу же за рощей, была всегда очень людной, застенчивая Нуну постесняется идти по ней рядом с молодым человеком. Поэтому он сказал:

— Сходим-ка, Нуну, к старому дубу, посмотрим, что там. Ребята говорили, ураган сломал недавно огромную ветку.

Нуну не спешила домой. Что ее там ждет! Подвыпившая мачеха, нахальный Канкрэ, не менее противный Коберидзе и, пожалуй, самое неприятное среди них существо — соседка Маруа, которая под видом случайных гостей водит в их дом все новых и новых женихов.

Именно в эту минуту Нуну как-то особенно остро ощущала свое одиночество: не было у нее матери, не было и родного дома.

Стоит ей сейчас появиться, и Кетуа потащит девушку к пьяным гостям. Кончится тем, что Нуну вынуждена будет сбежать и всю ночь провести в марани.

К старому дубу вела протоптанная тропинка, но Годердзи предложил:

— Пойдем оврагами, так быстрей доберемся.

Юноша и девушка спустились в овраг. Склоны его были каменисты и пересекались расщелинами. Идти было трудновато, и Годердзи взял девушку под руку.

Нуну приятно было чувствовать его рядом с собой. Сильная рука Годердзи бережно поддерживала ее каждый раз, когда она спотыкалась о камень. Но она, стыдясь и пугаясь этой близости, осторожно высвободила свой локоть. Как только Годердзи отпустил ее руку, Нуну тут же споткнулась и, конечно, упала бы, если бы ее снова не поддержала та же крепкая рука.

Так они вышли на ровное место.

На западе еще ярко пламенело небо, но уже наступал вечер. Сквозь прозрачные облака все слабее и слабее струился на землю мерцающий свет.

Со стороны алазанских садов и виноградников донесся протяжный крик ночного сторожа: «Ау-у-у!» — будто припев, выхваченный из песни.

Испуганно метнулась какая-то птица и, прошумев своими большими тяжелыми крыльями, исчезла вдали.

Годердзи крепче взял Нуну под руку.

— Наконец-то мы одни,— радостно произнес он.— Мне так много нужно сказать тебе... Как хороша была ты в тот день...

— В какой?

— В тот день, когда взрывали аммонал на участке Мамуки.

Нуну улыбнулась:

— Разве ты меня тогда впервые увидел?

Годердзи засмеялся:

— Пожалуй, впервые.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать?

— А то, Нуну, что случается в жизни так: человек ежедневно что-то видит и не замечает того, что видит. Потом происходит нечто такое, что как бы возвращает ему зрение, и ему открывается невидимое до сих пор, он видит его по-новому.

Расскажу тебе очень странную историю.

Однажды вечером, когда я еще учился в авиационной школе, меня назначили в караул, и я отправился на пост. У выхода из казармы неожиданно для себя я услышал шелест листьев тополя. Лето стояло жаркое, а от дерева повеяло прохладой. Сколько раз до этого дня я проходил мимо этого тополя и не замечал его. А в тот день поднял голову и залюбовался. До чего же красивый вырос тополь!

Нуну зарделась.

— Что же особенного произошло в тот день? Я работала, как и все другие.

— Особенное произошло не с тобой, а со мной,— сказал Годердзи.— Я тогда точно впервые увидел тебя.

Годердзи на минуту умолк. В его памяти ожило лицо Нуну в тот памятный день, когда взрывали аммонал, и он сказал:

— Я, разумеется, верю в то, что мужчина и женщина равны, и в то же время думаю так: то, что постыдно для мужчины, не всегда оказывается постыдным для женщины. Скажем, мужчина в минуту страха всегда смешон и даже отвратителен. Испуг делает его жалким. У женщины же все это выглядит несколько по-иному. Страх не всегда искажает ее лицо. Оно может и в страхе, как мне кажется, оставаться привлекательным.

— И только?!

— Нет, не только это.

— Что же еще?

— Слезы никогда не украшают мужчину, они всегда признак его слабости. Но разве можно то же самое сказать о плачущей женщине или плачущем ребенке?

Нуну слушала Годердзи с интересом, хотя не все понимала. К чему он все это клонит?

— Ты, как видно, много читаешь в последнее время, Годердзи. Скажи, из какой книги ты все это вычитал?

— Клянусь, это только мои наблюдения. Может быть, я не сумел выразить свою мысль, писатель сделал бы это, наверное, лучше, но я поделился с тобой только своими наблюдениями. Писатели иногда высказывают наши мысли. Ты разве этого не замечала?

И, не дожидаясь того, что она ответит, он, глядя ей в лицо и думая о ней, сказал:

— В наше время слабые люди мало для чего пригодны. Нам нужны смелые люди.

Нуну почему-то в эту минуту подумала о своей подруге Натии Таралашвили, которой Годердзи первой предложил поджечь бикфордов шнур. К слабым или смелым относит он ее?

Нуну хотелось упомянуть о Натии и услышать, как отзовется о ней Годердзи: ведь бермухские сплетницы давно связывали ее с ним. В последнее время разговоры эти, правда, прекратились. Не было уже людей, которые могли бы рассказать о том, что видели Годердзи, гуляющего с Натией, а Зина Залдастанишвили даже уверяла Нуну, что Годердзи охладел к Натии. Да и сама Нуну стала замечать перемены в Годердзи: почти каждый день после окончания работы он ищет случая, чтобы встретиться с Нуну, интересуется ее здоровьем, настроением... Но Натия, словно нарочно, ни на минуту не оставляла Нуну.

Сегодня же Натия почему-то одна раньше обычного ушла домой, сказала, что нездоровится. Кто ее знает — действительно ли ей нездоровилось, или она решила добровольно уступить Годердзи, поняв, что у юноши уже не лежит к ней душа.

Обо всем этом думала сейчас Нуну.

«Кто может определить тот день, то мгновение, ког-

да любовь к желанной овладевает сердцем человека?» — мысленно произнес Годердзи.

У него и у Нуну накопилось так много невысказанного, того, о чем хотелось поведать друг другу. Но так получалось, что они словно кого-то боятся, словно кто-то наложил запрет на их чувства, словно не было у них слов, чтобы объясниться в любви друг другу.

Сегодня наступил день, когда огонь, пробежавший по бикфордову шнуру, вызвал взрыв, уничтоживший ту глухую стену, которая разделяла их. Они шли сейчас молча рядом, и не произнесенные пока еще вслух слова все громче и громче стучали в их сердцах, стремились вырваться наружу.

Однако ни один из них не решался в этот прекрасный весенний вечер первым произнести то единственно нужное им обоим слово.

Они шли вдоль кустарников кизила. На высоте вытянутой руки сидели совы, сверкая огненными глазами. Пролетали дикие утки. Со стороны алазанских садов доносились крики ночного сторожа: «Ау-у-у!» Заяц перебежал тропинку, и Нуну вздрогнула от неожиданности.

На возвышенности стоял старый дуб. Его мощные, узловатые ветви, казалось, подпирали небосвод, усеянный крупными звездами.

Одна его тяжелая ветвь была сломана ураганом и висела теперь на его могучем теле, как сабля в черных ножнах на поясе великана.

Когда Годердзи и Нуну присели у подножия дуба, они услышали шум крыльев и сдержанное воркованье диких голубей.

— Как жаль,— сказала Нуну,— что ураган искалечил наш дуб...

Они так близко сидели сейчас один от другого, что слышали не только дыхание друг друга, но, казалось, и биение сердец.

Годердзи следил за игрой лунного света на поверхности Алазани и нервно курил. От волнения у него пересохло во рту. Он отбросил папиросу, обнял своими крепкими руками колени и положил на них голову.

А Нуну?.. Она тревожилась в эту минуту о том, как бы не пришел кто-нибудь сюда случайно и не нарушил бы этих счастливых минут. Необычайный трепет охва-

тил все тело девушки. Ей хотелось, чтобы сильные руки Годердзи, которые сомкнулись сейчас на его коленях, крепко-крепко обняли ее.

Вдруг прогремели два выстрела...

Что бы они могли значить?

Нуну встревожилась. Годердзи поднялся и посмотрел в сторону дороги. По ней мчалась какая-то машина.

— Не бойся,— успокаивал он Нуну,— это, вероятно, пьяные забавляются.

Где-то далеко зарокотал трактор, но он скоро умолк, и только уже знакомый им крик сторожа «ау-у-у» изредка нарушал тишину.

Годердзи взял Нуну за руку. Она почему-то отстранилась.

— Что с тобой? Ты ведь не трусиха? Чего же ты боишься? Я с тобой.

Девушка пристально вглядывалась в чащу кустарника.

— Посмотри, Годердзи,— прошептала взволнованно она.— Что-то черное движется над кустами.

И Годердзи действительно увидел какое-то черное пятно, которое, постепенно увеличиваясь, приближалось. Странное видение представилось ему: будто остроконечная папаха сама по себе, как бы по воздуху, плыла над кизиловыми кустами.

Не прошло и нескольких минут, как из-за кустарника появилась фигура рослого человека в папахе.

— Видишь, Годердзи, он идет сюда!

— Не бойся, девочка, пусть идет, если ему так хочется.

Теперь он уже сам следил за человеком, направляющимся к старому дубу. Но, чтобы успокоить Нуну, сказал:

— Что с тобой? Ты думаешь, что только мы любим это место у старого дуба?

Тем временем незнакомец остановился и пристально посмотрел на них. Затем он закурил и уселся неподалеку на пень, спиной к Годердзи и Нуну.

Нуну торопила Годердзи:

— Уйдем отсюда.

— Что ты? — прошептал он.— Как это можно? Если у него и в самом деле недобрые намерения, то пусть не думает, что мы испугались его.

— Умоляю, уйдем отсюда,— настаивала Нуну.

И Годердзи уступил ее просьбе.

Когда они вошли в чащу кустарника, Годердзи обернулся и еще раз посмотрел на незнакомца. Тот по-прежнему сидел и курил.

У сарая для хранения саженцев Годердзи, услышав кашель сторожа, крикнул:

— Гайоз, дружище, ты еще не спишь?

— Кто там? — отозвался Гайоз.

Он приблизился и узнал Годердзи и Нуну.

— Вам не встречался человек в остроконечной папахе? — спросил Гайоз.

— Кто?

— Недавно тут проходил какой-то верзила, я его не разглядел. Он спрашивал, не видел ли я Нуну, девушку из семьи Уджираули.

— Что же ты ответил? — тревожно спросила Нуну.

— Я подумал, что это кто-нибудь из твоих родственников, и сказал, что ты вместе с Годердзи пошла к старому дубу.

Нуну встревожилась еще больше, а Годердзи сказал:

— Ты напрасно перепугалась. Это, вероятно, кто-нибудь из своих. Может быть, Луо. Увидев меня рядом с тобой, он постеснялся подойти и потому уселся в стороне. Ты знаешь ведь, Луо зол на меня,— я у него когда-то буйволов отобрал.

Но сердце подсказывало Нуну нечто иное.

— Поверь, Годердзи, этот человек в папахе не из наших.

Когда они удалились от сарая и вышли на дорогу к селу, Нуну старалась держаться на некотором расстоянии от Годердзи, чтобы их не увидели вместе. Это злило его. И Годердзи сказал, что не было никаких оснований пугаться какого-то незнакомого человека, что Нуну просто-напросто не пожелала остаться с ним наедине...

Нуну перебила его:

— Знаешь, что я тебе скажу, Годердзи. Ты уже дал повод бермухским сплетницам для разговоров о тебе и Натии.

Годердзи передернуло:

— Я и Натия? Что ты говоришь? У меня с ней нет ничего общего.

Нуну приятно было это услышать. Но ей хотелось, чтобы Годердзи привел более убедительное доказательство того, что между ним и Натией ничего не было. Потому-то она и сказала:

— Не пойму, вот уже больше года, как твои родственницы только и говорят о том, что вы с Натией вот-вот должны расписаться.

— Расписаться? Кто распространяет такую чушь? В прошлом году на свадьбе Жужуны Залдастанишвили нас посадили за столом рядом. Там были, кстати, Кетуа и Маруа. Они-то и привязались к нам: вы-де так подходите друг к другу, что надо вас поженить. А утром я и Натия ушли раньше других, мы были вызваны к председателю колхоза. Отсюда и началось, пошли трепать языками бездельники.

Сердце Нуну учащенно билось.

Они двигались по длинной аллее вдоль цветущих деревьев. Годердзи остановился, резко притянул к себе Нуну, и его губы должны были уже коснуться ее губ.

Но тут им помешали: ударил свет фар, и мимо промчалась грузовая машина, едущая из Кварели. В ее кузове стояли и пели молодые люди.

Годердзи пытался обнять Нуну, поцеловать ее. Но она стала противиться и настояла на том, чтобы они сейчас же расстались.

Годердзи попрощался и один побрел по тропинке.

Душевный подъем, который только что пережила Нуну, сменился вдруг усталостью. Она еле-еле двигалась. Испытанное ею ощущение счастья сменилось печалью. Хотелось бежать за любимым, вернуть его, продлить прерванное счастье.

Перед глазами всплывало искаженное злостью лицо мачехи, ее крикливые, ярко накрашенные губы, слышался пьяный хохот гостей. И Нуну снова с горечью подумала о том, что у нее нет родного дома, что она там чужая...

Она упрекала себя в том, что так холодно рассталась с Годердзи — заупрямилась, не откликнулась на зов его сердца.

Девушка вдруг вспомнила слова покойной матери: «Упрямство погубит тебя, Нуну».

В эту самую минуту от дерева, стоящего напротив парка МТС, отделился верзила в остроконечной папахе.

Девушка, инстинктивно почувствовав опасность, повернулась и бросилась бежать. Но не прошло и мгновения, как человек догнал ее и попытался обнять.

Разъяренная Нуну ударила его кулаком по лицу. Он замычал и начал вывертывать ей за спину руки. Девушка изловчилась и ударила его снова с еще большей силой. Папаха слетела с его головы.

Верзила было отступил. Потом он глухо взвыл, выхватил нож и чуть было не полоснул девушку по лицу. Она успела оттолкнуть его руку — и нож вонзился в ее плечо.

И тогда Нуну так исступленно закричала, что проснулись спавшие под навесом в парке МТС трактористы. Ворота были заперты. Ника Уджираули и Вано Хелашвили схватили тяжелые гаечные ключи и перемахнули через ограду.

Напавший оставил Нуну и скрылся, забыв в суматохе свою папаху.

Когда Ника и Вано привели домой окровавленную Нуну, Кетуа сразу узнала остроконечную каракулевую папаху, но и виду не подала, что знает, кто ее носил.

11. КТО ПРЕСТУПНИК?

Рано утром из районного центра в Бермуху прибыли прокурор Хидашели, секретарь райкома комсомола Кевришвили и три милиционера. Покушение на Нуну оказалось в ряду других преступлений, которые за последние годы были совершены в Бермухе и оставались безнаказанными.

Как ни пытался предшественник Хидашели размотать их клубок, это ему не удавалось. Хидашели был более опытным работником. Он раскрыл несколько весьма запутанных дел,— куда более сложных, нежели бермухское. Это вселяло веру в него.

Тедо Таралашвили встретил приезжих в сельсовете; он хотел предварительно поговорить с ними здесь, но прокурор сразу же направился в дом к Нуну, чтобы, не теряя времени, приступить к опросу потерпевшей и свидетелей.

Услышав у своего дома гудок машины, Кетуа насторожилась. Бледная от испуга, она ввела в комнату Ну-

ну прокурора и председателя колхоза и тотчас же удалилась.

Хидашели спросил Нуну:

— Неужели вы никого не подозреваете?

— Никого,— ответила девушка.

— Вы говорите правду?

— Да.

Тогда Тедо принялся уговаривать Нуну:

— Прокурору надо говорить только правду. Этим ты поможешь нам найти преступника.

Но девушка стояла на своем:

— Человек напал на меня ночью. К тому же он надвинул на глаза папаху, и я не могла разглядеть его лица.

— Он что-нибудь говорил? — допытывался Хидашели.

— Нет. Когда я ударила его по лицу, он замычал, как бык, и отскочил, а потом ударил меня ножом.

Тедо спросил:

— Скажи, доченька, может быть, кто-нибудь любит тебя в Бермухе и из ревности мстил тебе, а? Ты не бойся назвать преступника, мы не дадим тебя в обиду.

Нуну находилась меж двух огней. Она не умела хитрить даже в простых житейских делах. Но сказать сейчас правду, значит раскрыть свою девичью тайну, посвятить всех в свои отношения с Годердзи, с которым она сидела у старого дуба и который видел этого человека в остроконечной папахе. Она настояла на уходе Годердзи, боясь сплетен. Но рассказать сейчас все это, значит дать пищу сплетникам.

Нуну удерживало и другое: выскажи она свои подозрения, неминуемо ополчились бы на нее близкие люди того, чье имя она назвала бы. Жизнь в Бермухе стала бы для нее невыносимой. Кроме того, она поставит под угрозу Годердзи — он ведь обязательно захочет отомстить за нее и может поплатиться за это жизнью. Разве могла Нуну пойти на это?!

Вот почему девушка так твердо стояла на своем.

— Нет, никого не подозреваю! — повторяла она.

Ничего не добившись от Нуну, прокурор приказал ввести Кетуа.

Тедо нахмурился и пристально посмотрел на нее изпод своих мохнатых бровей.

— Женщина, ты что ни день плачешься, все уверяешь, что больна, не можешь работать, тащишь в контору какие-то справки. А для кутежа и гостей находишь время. Вчера даже дети помогали нам в работе, а ты устроила попойку. Как это называется, а?

— Что вы изволите говорить, батоно? Какие гости? Какой кутеж? Вы ведь знаете, что я и в самом деле больна — у меня воспаление мочевого пузыря,— причитала Кетуа.— Вчера собиралась ехать в город, врачам показаться... Не могу я работать на винограднике. Уж лучше мне скотину пасти, чем работать, согнувшись в три погибели...

— Но ты ведь и скотину отказалась пасти. Забыла разве? — напомнил Тедо.

Кетуа притворно заплакала:

— Мне и за скотиной нельзя ходить. Вы же знаете. С кем тогда оставить моего Малхаза?

— А что с ним случится, пусть играет с другими детьми.

— Как? Разве ты не знаешь, что мой Малхаз, если за ним не присмотреть, натворит невесть что, землю начнет кушать!

Кетуа готова была без конца тараторить о своей мнимой болезни и ненормальном сыне. Тедо остановил ее:

— Мы пришли сюда не за тем, чтобы ты плакалась. Советую тебе, Кетуа, говорить прокурору только правду.

Кетуа захныкала.

— Что же я должна говорить, дядя Тедо, ведь я ничего не знаю.

От страха у нее подкашивались колени, и она, всхлипывая, опустилась на тахту.

Из соседней комнаты доносились недовольные голоса членов семьи Уджираули. Тщетно пытались милиционеры навести там порядок. Женщины и дети поминутно открывали дверь, которая немилосердно скрипела.

На допрос ввели соседку Маруа. Как только она увидела плачущую Кетуа, она тотчас и сама начала реветь.

— Ничего не знаю. Никуда не ходила. Ничего не видела,— твердила Маруа. Она призывала в свидетели всех святых, клялась памятью мертвых и здоровьем живых.

В это время в комнату вошел сын Кетуа Малхаз. Его прежде всего поразил, должно быть, красный карандаш в руке прокурора, и он внимательно следил за его движением.

Прокурор заинтересовался кутежом, который был у Кетуа вечером, незадолго до нападения на Нуну. Но Кетуа и Маруа утверждали, что никакого кутежа не было, что все это, мол, сущие выдумки.

Веселые искорки детского смеха сверкнули в глазах Малхаза. Прокурор заметил это. Он дал знак оставить его наедине с мальчиком.

— Сколько тебе лет? — спросил он Малхаза.

— Тринадцать,— ответил тот.— Какая у тебя хорошая ручка, дядя!

— Это не ручка, а карандаш.

— Кто тебе дал этот карандаш, дядя?

Малхаз потянулся к карандашу.

— Раз тебе так нравится этот карандаш, возьми его, пусть он будет твоим,— сказал прокурор и вынул из кармана другой карандаш.

— А как тебя зовут, мальчик?

— Малхаз.

— Ух, какое красивое имя! А теперь скажи: кем тебе приходится пострадавшая?

— Кто? — спросил Малхаз, уставившись теперь на другой, зеленый карандаш прокурора.

— Вон та девушка,— сказал прокурор, указывая на Нуну.

— Сестра моя.

— Хорошо. А теперь скажи: где ты был вчера вечером?

— Для чего тебе это, дядя? Хочешь записать на бумажку?

— Нет, я ничего не буду записывать, просто мне хочется знать.

— Я был дома.

— Еще кто был дома?

— Моя мама.

— Еще?

— Тетя Маро.

— Еще?

— Кто еще мог быть? — Малхаз почесал затылок и стал перечислять, загибая пальцы: — Дедушка Абриа,

дедушка Луо, дядя Канкрэ и еще один длинный-длинный человек — тот самый, у которого на голове была остроконечная папаха.

— Больше никого не было?

— Никого.

— Хорошо. А теперь скажи, Малхаз, что они делали?

— Вино пили.

— Еще что делали?

— Ничего больше... ругались.

— Не знаешь, из-за чего ссорились?

— Не знаю, дядя.

— А теперь скажи мне, Малхаз, не помнишь, когда пришел этот, в папахе?

— Светло еще было, когда он пришел.

— Он пришел один?

— Нет, его тетя Маро привела. А потом тетя Маро ушла.

— Он ничего не приносил с собой?

— Один большой-большой чемодан притащил.

— А что было в том чемодане, не знаешь?

— Много-много платьев, шапок и туфель. Этот длинный человек хотел отвезти в город меня и мою маму, но я стал плакать, и мы не поехали в город.

Прокурору стало ясно, что Кетуа и Маруа скрывали от него что-то очень важное. Из соседней комнаты доносился галдеж. Он мешал сосредоточиться. Хидашели решил отправиться в сельсовет и там продолжить допрос.

Было воскресенье, и потому у сельсовета толпилось много любопытных. Пока еще толком никто ничего не знал, но болтуны успели уже распространить разного рода слухи.

Некоторые утверждали, будто вчера ночью бандиты похитили Нуну Уджираули и Годердзи Эланидзе. Затем где-то в лесу милиция догнала бандитов и с трудом отбила девушку. Во время перестрелки и ранили, мол, Нуну.

Хидашели приказал Тедо позвать всех названных Малхазом лиц.

Абриа Уджираули явился первым. Сняв шапку, он робко вошел в комнату и поздоровался.

Хидашели окинул его строгим взглядом:

— Предупреждаю: вы должны давать только правдивые показания. Поняли?

— Как не понять, батоно! В таком деле меня не нужно предупреждать. Я никогда в жизни не врал и сейчас не собираюсь никого обманывать.

— Тогда скажите: вы были вчера на кутеже в доме Кетуа?

— Какой кутеж? Я случайно проходил мимо и зашел разделить с ними хлеб-соль.

— Хорошо. Кто же там еще был?

— Мой брат Луо, мой племянник Канкрэ...

— Еще?

— Коберидзе, гость из Тбилиси.

— К кому приехал этот Коберидзе?

— Не знаю.

— Чья это папаха? — И прокурор показал остроконечную каракулевую папаху.

— Коберидзе.

— Теперь скажите: что привез с собой этот Коберидзе?

— Не знаю.

— И «хлеб-соль» проходил мирно, тихо?

— Так, немного повздорили Коберидзе и мой племянник Канкрэ!

— Из-за чего?

— Канкрэ пристал к Коберидзе, чтобы тот пил вино.

— И только?

— Больше я ничего не знаю.

Луо, которого ввели вслед за Абриа, показал то же самое.

Потом допрашивали Канкрэ. Он подошел к столу, не снимая с головы замасленной кепки.

Прокурор показал на лежавшую перед ним каракулевую папаху и спросил:

— Скажите, чья эта папаха?

— Папаха? Откуда я знаю, чья она. Я ведь не шапочник, чтобы знать, у кого какая папаха на голове,— развязно ответил Ка́нкрэ.

— Значит, вы не узнаете эту шапку? Не знаете, что она принадлежит Коберидзе, так, что ли? — Спокойный взгляд прокурора скрестился с дерзким взглядом Канкрэ.

Видно было, что этот парень не в первый раз подвергается допросу. Он держался вызывающе.

— Как ты держишь себя, бичо! Уж не забыл ли ты, где и перед кем находишься? — пытался урезонить его Тедо.

— Я ничего не забыл, дядя Тедо, все хорошо помню,— словно не понимая истинного смысла его слов, ответил Канкрэ.— Нахожусь в сельсовете, ну, а дальше что?

— А знаешь, что ты забыл? В первую очередь кепку с головы снять, вот что! — рассердился Тедо.— И еще ты забыл о вежливости, о нашей грузинской вежливости. Тут до тебя были Абриа и Луо, они старше тебя и то сняли шапки и поздоровались. А ты?

Канкрэ поморщился и стащил с головы замасленную кепку.

На вопросы прокурора Канкрэ отвечал, что он был нездоров, отправился к врачу и случайно зашел к Кетуа. А с Коберидзе подрался потому, что тот «воровал за столом вино», делал вид, будто пьет, а на самом деле не пил.

— Так неужели же вы подрались только из-за того, что Коберидзе не пил вина? — уточнил прокурор.

— Я не обманываю вас,— угрюмо отвечал Канкрэ.— Мне захотелось побить этого человека, вот я и поколотил его.

Прокурор усмехнулся:

— Так вы считаете, что достаточно захотеть и можно кого хочешь отдубасить, да? Теперь скажите, не привозил ли Коберидзе чего-нибудь Кетуа?

— Не знаю. Я сказал вам, что был нездоров и зашел к Кетуа уже под вечер.

Тогда снова вставил слово Тедо:

— Насколько известно, наш врач живет совсем в другом конце села. Кроме того, ты вовсе не похож на больного.

Канкрэ молчал.

— Значит, вы не видели ни чемодана, ни подарков? — снова обратился к нему прокурор.

— Я знаю, кто вам сказал об этом!

— Откуда вы можете это знать?

— Я находился в соседней комнате и слышал, как

вы разговаривали с Малхазом. Но вы забыли, что этот мальчик ненормальный, припадочный.

— Ладно,— сделал вид, что согласился с ним, прокурор.— Малхаз ненормальный. Но вы ведь нормальный. Скажите, когда вы подрались с Коберидзе, эта папаха была у него на голове?

— Когда я ударил его в последний раз, его папаха упала в овраг. Но я не знаю, была ли на нем эта самая папаха или другая.

— Может быть, вы видели, чтобы кто-нибудь другой в ту ночь достал эту шапку из оврага?

— Нет, не видел.

— Как вы думаете, куда пошел Коберидзе после драки?

— Не знаю.

— А вы сами куда отправились, не помните?

— К Ниортаве, на мельницу.

— Зачем вы пошли туда?

— Мы договаривались с ним утром пойти на рыбалку...

Канкрэ понял, что его вызывающий тон рассердил прокурора, и решил пойти на попятную. Повернувшись к председателю колхоза, он сказал:

— Дядя Тедо, я этого Коберидзе побил еще и потому, что он начал приставать к хозяйке, требовал, чтобы она заставила Нуну выйти к нему. Мы, Уджираули, никому не разрешаем так вести себя в нашем доме, ты это хорошо знаешь, дядя Тедо.

— Ага, до сих пор вы от нас это скрывали,— сказал прокурор.— Хорошо. Теперь идите и подождите в коридоре.

Милиционеры ввели Коберидзе. Человек этот уже дважды судился за спекуляцию, был в заключении. Он зашел сгорбившись и вел себя куда менее вызывающе, чем Канкрэ.

На все вопросы прокурора Коберидзе робко отвечал: «не знаю», «не видел», «не помню».

Коберидзе скрывал настоящую цель своего приезда в Бермуху. По его словам, он приехал в гости к своему родственнику — свинопасу Попола, но хозяин оказался на собрании, и поэтому он решил зайти к Кетуа и там подождать его прихода.

— Никакого чемодана и подарков я не привозил,— повторял он.— Разве возможно, чтобы человек с таким маленьким заработком, как у меня, мог дарить такие ценные подарки?!

Умолчал он и о причине ссоры с Канкрэ.

— Хорошо,— продолжал прокурор.— Теперь скажите, после драки вы искали свою шапку?

— Искал, но не нашел.

— Куда же вы отправились после драки?

— В дом к моему родственнику Попола.

— Вы не помните, который это был час?

— Точно двенадцать.

Прокурор записал.

— Откуда вы знаете?

— Когда я пришел к Попола, то вынул часы и посмотрел на них. Стекло было разбито, но часы все же работали.

— Вы никуда не уходили после?

— Никуда.

Хидашели велел Коберидзе выйти и подождать в коридоре.

Милиционеры ввели Ниортаву и свинопаса Попола.

— С какой стороны приходится тебе родственником Коберидзе? — обратился прокурор к Попола.

— Он был когда-то женат на моей сестре, батоно.

— А где теперь твоя сестра?

— Она умерла, батоно.

— Зачем приехал в Бермуху Коберидзе, не знаете?

— Сказать по совести, не знаю. Он мне так сказал: ехал, говорит, по делам в Кварели и решил заглянуть к тебе.

— А раньше он бывал у тебя в гостях?

— В позапрошлом году.

— По какому поводу, не помнишь?

— Если не ошибаюсь, приезжал, чтобы закупить вино для артели.

Потом прокурор обратился к Ниортаве:

— Как поживаешь, Соломон?

— Лучше всех, батоно.

— Ночевал вчера у тебя Канкрэ на мельнице?

— Да, батоно, Канкрэ был у меня.

— Зачем же он пришел к тебе ночью?

— С утра мы должны были пойти на рыбалку.

— А который был час, когда он пришел к тебе, не помнишь?

— Поздно было, самое время ужинать.

— И он больше никуда не уходил от тебя?

— Никуда, батоно.

— Откуда ты знаешь? Может быть, он ушел после того, как ты заснул?

— Нет, батоно, наоборот, он спал, а я всю ночь работал. Канкрэ был пьян — как улегся, так и спал беспробудно до самого утра.

— Ты не знаешь, чья это папаха? — спросил прокурор, беря в руку папаху Коберидзе.

— Нет, батоно.

— Канкрэ пришел к тебе без нее?

— Да, батоно.

— Разве он без шапки ходит, этот ваш Канкрэ?

— Да, батоно, Канкрэ часто без шапки ходит. Он ведь не такой лысый, как я.

— Хорошо. Теперь ты мне вот что скажи, Соломон. Ты не заметил, был ли Канкрэ избит, когда он пришел к тебе?

— Я даже спросил его: кто это тебя так разукрасил.

— Что же он тебе ответил?

— Сказал, что он крепко побил одного человека.

— Он не называл, кого?

— Я не спрашивал, а он не назвал.

Допрос ни к чему определенному не привел, так как не удалось установить, кто же из двух — Канкрэ или Коберидзе — поднял упавшую в канаву папаху. А возможно, кто-то третий нашел папаху и, замаскировавшись ею, совершил нападение на девушку.

Прокурор вторично допросил Кетуа и Маруа. Но обе женщины, снова призвав в свидетели всех святых, поклялись, что не видели ни каракулевой папахи, ни того, кто ее нашел.

«Кто же напал на Нуну? — мучительно думал Хидашели.— Коберидзе? Канкрэ?» Трудно было предположить, чтобы кто-нибудь из них после драки и после того, как на месте происшествия появилась милиция, мог вернуться на дорогу и искать пропавшую папаху. К тому же оба они — Коберидзе и Канкрэ — сильно избили друг друга: у Коберидзе под правым глазом огромный синяк и кровоподтек на подбородке, у Кан-

крэ же крупные ссадины на носу и скулах. Не до папахи им было.

Судя по всему, предстояло обнаружить третье лицо, которое и совершило, должно быть, преступление. Но кто этот человек?

12. АХИЛЛ ПОШЕЛ ПО СЛЕДУ...

Профессор Коринтели и его жена Медея собирались отправиться в Телави проведать своих родственников и осмотреть дворец царя Ираклия, где находится местный исторический музей.

Эта приятная поездка откладывалась уже два раза. То неожиданно приезжал Цихистави, то заходил председатель колхоза. Они уводили Коринтели на участок, где закладывался виноградник, и профессор возвращался домой только поздно вечером.

Коринтели так увлекли колхозные дела, что он забросил даже свою научную работу «Грузинская ампеллография»[1] и перестал лечиться, хотя врачи серьезно и не раз предупреждали его о необходимости беречь свое здоровье.

Коринтели не мог равнодушно наблюдать за работой. Часто он сам брал мотыгу, лопату или секатор и показывал колхозникам, как нужно ухаживать за лозой. Он часто простуживался, заболевал гриппом. Давало себя знать и сердце, повышалось давление.

Но стоило ему почувствовать себя лучше, как он снова включался в трудовой ритм колхозной жизни.

Когда на плоскогорье Девяти дубов закончилась посадка виноградных лоз, Коринтели выделили опытный микроучасток, который он назвал в шутку «Виноградником Грузии». На этом клочке земли было посажено по одному, по два саженца из всех имеющихся в Грузии четырехсот пятидесяти сортов винограда: аладастури, алмура, авшилури, аричули, кларджула, мухамцване, тита, чинури, хихви, шавкапито, капистони, сакмиели, орола, чвитилури и многие, многие другие.

Бесконечно влюбленный в свое дело ученый хотел

---

[1] Ампеллография — наука о сортах и видах виноградной лозы.

проверить, какие из этих сортов лучше всего приживутся на плоскогорье Девяти дубов и какие из них следует здесь культивировать.

Много времени отнимали у него поездки в Тбилиси на разного рода совещания и заседания.

Вот и откладывалась с недели на неделю поездка в Телави.

Медея нервничала, сердилась. Телавские родственники были обижены, что она и Вахтанг так долго не приезжают к ним.

И вот, наконец, был твердо установлен день отъезда в Телави — воскресенье.

Все, казалось, благоприятствовало этому. Они закупили подарки. Как раз накануне Коринтели получил из Тбилиси легковую машину, выделенную ему правительством.

Медея была вне себя от восторга. До этого она всем жаловалась, что, привыкнув разъезжать в парижских комфортабельных лимузинах, никак не может примириться с тем, что ей приходится ездить в чужих и грубых машинах. Со дня приезда из-за границы она только и мечтала о том, чтобы муж приобрел собственный автомобиль, чтобы у нее всегда была возможность навещать своих родственников, по которым она так истосковалась в Париже.

Но в воскресное утро не успел еще Коринтели встать с постели, как Майя сообщила о ранении Нуну. Она рассказывала, что бандиты, мол, всю ночь продержали Нуну в лесу. Отважные трактористы не побоялись сразиться с ними и героически отбили тяжело раненную, уже умирающую девушку...

Как известно, в самой природе человека заложена способность не только выдумывать необычайные истории, но и верить своим же вымыслам.

Рассказывая, Майя сокрушалась о трагической судьбе несчастной девушки-сиротки.

Весть о покушении на Нуну взволновала Коринтели.

— Кто тебе рассказал эту страшную историю? — спросил он Майю.

— Все село говорит об этом, батоно,— ответила Майя.— На рассвете я встретила Тедо, он сказал, что ждут приезда прокурора и милиции.

Медея знала, как трудно бывает мужу вставать ут-

ром с постели, если ему пришлось поздно лечь. На этот раз, однако, Вахтанг быстро поднялся и достал новый костюм.

— Зачем ты надеваешь этот костюм? Ведь мы же едем. Надень лучше дорожный френч и галифе. В машине новый костюм помнется.

— Костюм сменить — пустое дело,— думая о чем-то своем, ответил он.

Медея расстроилась. Она поняла, что их долгожданная поездка в Телави может снова сорваться.

Кто-то постучал. Надевая на ходу пиджак, Коринтели направился к двери.

Вошел шофер.

— Как дела, Андро?

— Неважно, батоно. Мы сейчас никуда не сможем поехать.

— Почему? — удивился Вахтанг.

— Карбюратор в неисправности.

— А что с ним?

— Пустяки, но все же... Случается, что и у новой машины не все в порядке. Карбюратор придется разобрать.

В другой раз это, вероятно, огорчило бы Коринтели. Сейчас же он искренне обрадовался тому, что машина не в порядке. Он беспокойно шагал по комнате, по балкону и думал о Нуну.

Часовая стрелка приближалась к девяти. Пришла Майя и передала, что хозяйка просит его к столу.

— Садитесь, завтракайте,— ответил он.— Я сейчас приду...

Явилась Медея.

— Не заставляй меня ждать, Вахтанг,— сказала она обиженным тоном.— Давай скорее позавтракаем. Шофер быстро исправит машину, и мы должны быть готовы к отъезду.

Коринтели, не желая выдать своего душевного состояния, последовал за нею в столовую.

Когда Майя вышла, Медея сказала мужу:

— Что с тобой, Вахтанг? Ты и сегодня не собираешься в Телави?

— Кто тебе это сказал, Медико? — попытался утешить ее Коринтели.

— Во-первых, это видно из того, что ты не надел

дорожного костюма, а во-вторых, я не понимаю, что тебя так взволновало.

— Меня? Я вовсе не волнуюсь, Медея. Просто мне неприятно было услышать, что в Бермухе случаются такие вещи.

— Не понимаю, что тут особенного,— сказала Медея.— Обычная история: какой-то влюбленный юноша захотел похитить деревенскую девушку и случайно ранил ее. Что же тут такого?

— Печально слышать, что старые нравы проявляются в наше время, только и всего,— сдержанно произнес Коринтели.

— Чему здесь удивляться, Вахтанг,— продолжала Медея.— Ты ведь сам не раз говорил, что два-три десятилетия в жизни человека — большой срок, а в жизни народа — мгновение. Нет ничего удивительного в том, что старые нравы не исчезают так быстро.

Коринтели закурил папиросу и, думая о своем, тихо проговорил:

— Эх, красота, как и талант, должны как будто приносить человеку счастье. Между тем красивые женщины, как и талантливые люди, бывают часто несчастливы. У них много завистников.

— Ты прав, Вахтанг,— ответила Медея.— Красота порою бывает даже причиной того, что женщина сбивается с верного пути. Менее красивые устраивают свою жизнь куда более благополучно. Я не видела эту Нуну, но мне трудно себе представить, чтобы простая бермухская девушка была уж столь красива, чтобы из-за нее кипели страсти.

— Напрасно ты так думаешь, Медико. Я много в последнее время ездил по нашим городам и селам и воочию убедился: необычно красивое молодое поколение выросло у нас. И это вполне понятно...

Но у Коринтели не было желания углублять разговор. Он выпил стакан вина, который обычно выпивал по утрам, и, сославшись на отсутствие аппетита, поднялся из-за стола.

Медея тоже встала и ушла в свою комнату.

В это время Коринтели увидел на крыльце сельсовета Тедо Таралашвили, прокурора Хидашели и секретаря райкома комсомола Кевришвили.

Коринтели спустился к ним. Ахилл последовал было

за хозяином, но тот указал собаке место на лестнице и приказал ей лечь.

Узнав о подробностях нападения на Нуцу, Коринтели заметил:

— Я бы вот что посоветовал, товарищи. Есть у меня собака-ищейка. Может быть, она могла бы вам пригодиться.

И Коринтели через открытую дверь указал на Ахилла.

Прокурор, присмотревшись к собаке, сказал:

— У нас в уголовном розыске тоже имеются такие собаки. Жаль, что мы не захватили с собой одну из них. Что ж! Давайте попробуем и это средство. Если вы позволите, профессор, то мы воспользуемся вашей собакой сейчас же.

— Извольте, только я не уверен, пойдет ли Ахилл с кем-нибудь из вас.

— Пойдет,— уверенно произнес Хидашели.— Мне почему-то легко подчиняются такие собаки.

Коринтели позвал Ахилла.

В это время появился шофер Андро и сказал, что машина в исправности и можно ехать.

Медея находилась на балконе. Услышав шофера, она спросила мужа по-французски:

— Мы поедем в Телави?

Коринтели ответил не без смущения:

— Я вернусь... через час. Ты будь готова...

— Я уже давно готова,— зло ответила Медея.

Коринтели посоветовал прокурору повести Ахилла сначала в дом Кетуа. Так и поступили.

В доме Кетуа собаке дали понюхать каракулевую папаху, затем Коринтели крикнул ей:

— Шерш![1]

Собака стала кружить по комнате, обнюхала пол, потом выбежала во двор через ту самую дверь, сквозь которую Абриа и Луо с таким трудом выпроводили в тот день Коберидзе и Каикрэ.

Она привела людей, среди которых был и Годердзи, к старому дубу.

Здесь Ахилл несколько раз обежал вокруг пня, на

[1] Ищи! (франц.)

котором сидел человек, замеченный Нуну и Годердзи. Затем собака побежала по направлению к мельнице. Путь ей преградил ручей. На берегу ручья след терялся...

Вернулись к старому дубу. Теперь Годердзи окончательно убедился в том, что преступление совершил человек, которого он прошлой ночью принял было за Луо Уджираули. Именно он преследовал их до того самого места, где Годердзи расстался с Нуну, и, воспользовавшись тем, что девушка оказалась одна, напал на нее.

Но и Годердзи, боясь поставить Нуну в неловкое положение, решил об этом никому не рассказывать. У прокурора, таким образом, ни против кого не было прямых улик. Богатая практика привела Хидашели к одной непреложной истине: правосудие похоже на обоюдоострый клинок, и замахиваться им следует крайне осмотрительно; в противном случае может получиться так, что в поисках одного виновного двум невиновным снесешь голову.

13. К РОДНЫМ ПЕНАТАМ

Молча, словно поссорившись, сидели в машине Вахтанг и Медея, лицо которой было прикрыто шелковой шалью. Она никак не могла простить мужу того, что из-за какого-то заурядного происшествия с какой-то крестьянской девушкой этот солидный человек заставил ее задержаться на целых три часа, тогда как в Телави их ждали к обеду родственники, достойные самого высокого уважения.

Машина мчалась по свежегудронированной дороге, усыпанной гравием. Колеса разметывали этот гравий, и он барабанил снизу по крыльям машины, вызывая монотонный тренькающий звук, похожий порою на звук маленьких колокольчиков.

Коринтели хотелось поговорить с женой, развеять ее дурное настроение. Неприятно было, что посторонний им человек, шофер Андро, оказался невольным свидетелем их размолвки.

Коринтели сказал:

— Посмотри, Медико, какую чудесную дорогу сделали! А ведь две недели назад ее еще не было...

— Потому-то так и воняет гудроном,— грубо оборвала она.

— Сказать по совести, меня этот запах не раздражает. Я люблю и ту пыль, которая стоит в наших городах вокруг строящихся новых домов, и радуюсь шуму строек. Я люблю все, что говорит о возрождении нашей страны.

— Что поделаешь, мой Вахтанг, на вкус и на цвет товарищей нет — так, кажется? — язвительно ответила Медея.— Я не выношу ни запаха гудрона, ни пыли строек. Всему этому предпочитаю аромат французских духов. И вообще, хорошо было бы родиться в такое время, когда строительные работы были бы уже закончены и меня никто и ничем не беспокоил бы.

— Вот чего ты хочешь, Медико,— сказал Коринтели.— А ну-ка, вспомни, как мы с тобой из Бермухи в Телави плелись на старых фаэтонах. Разве лучше было? Как много в стране сделано за эти годы!

Медея не удостоила его ответом. Вахтанг посмотрел на свои наручные часы.

— Через полчаса будем в Телави. Правда, Андро?

— Думаю, что раньше, батоно Вахтанг.

— Это меня устраивает,— заметил Коринтели, обернувшись к Медее.— Всего лишь один час занимает дорога от Бермухи до Телави. Можно будет в тот же день возвращаться домой.

Медея поняла, о чем говорил муж.

— Как, ты уже дал согласие Телавскому институту? — вспыхнула она.

— А что было делать! — ответил Коринтели.— Я, правда, человек беспартийный, но общая дисциплина и меня касается. Меня просили помочь Телавскому институту виноградарства. Разве можно от этого отказаться?

— Да, но сколько времени мы будем еще жить в этой паршивой бермухской гостинице?

— Я ведь говорил тебе, что к концу месяца все устроится — нам построят домик в Гвелети.

Медея хотела возразить. Но, взглянув на спину шофера, удержала колкие слова на кончике языка.

Коринтели заметил это. И он спорил сейчас с тем, что не было высказано Медеей, но что все еще крепко сидело в ней.

— Тот, кто любит свою родину, должен примириться со многими неудобствами во имя ее блага,— сказал он.— Государство не курорт, моя дорогая, чтобы каждый из нас мог выбирать наиболее приятное для себя место пребывания. Меня приглашали, как ты знаешь, на кафедру в Монпелье, и я мог бы там остаться. В Монпелье больше комфорта, нежели в Бермухе. Не так ли?!

— Эх, мой дорогой,— не выдержала все-таки Медея.— Если хочешь знать, родиной всякого более или менее культурного человека может быть лишь благоустроенный город.

Коринтели стоило большого труда овладеть собой. Он сказал Медее после некоторого молчания по-французски:

— Так могут рассуждать только парижские снобы. Человек, у которого есть родина, не может так думать, не то что говорить! Ты забываешь, что ты грузинка.

Медея ответила не сразу. Она на этот раз тоже прибегла к помощи французского языка.

— Знаешь, мой дорогой,— сказала она.— Не для того я отказалась от парижских салонов, чтобы коротать свой век в Бермухе, в этой темной медвежьей берлоге. Родина, любовь к которой ты проповедуешь, это, помоему, просто фикция. Моя родина всюду, где могут быть созданы лучшие условия для моей жизни. Не менее красивые горы и ущелья имеются в достаточном количестве и в Вогезах, и в Швейцарии...

Коринтели ошеломило это заявление жены. Он с трудом удержался, чтобы не сказать ей какую-нибудь колкость.

Подъезжали к Телави. Только это и спасло Медею от его гнева.

Коринтели открыл окно машины, чуть высунулся в него и с радостью ощутил ветер Кахетинской равнины, родных с детства мест.

Вот они, потемневшие от времени стены дворца царя Ираклия. Детство и юность Вахтанга Коринтели прошли в окрестностях этих развалин. Он помнит еще то время, когда они казались ему страшным логовом, населенным сказочными дэвами. Потом, когда мальчик подрос, он никому не давал покоя своими расспросами

о бывших хозяевах этого дворца. Старый псаломщик, служивший когда-то в дворцовой церкви, долго рассказывал ему о трудной жизни царя Ираклия, о его походах и сражениях. И все это крепко осело в памяти Вахтанга. Ему тогда казалось, что нет в мире замка более величественного, нежели этот. Побывав во многих странах и городах, он убедился, что это далеко не так. Но и теперь, проезжая мимо почерневших стен, он испытывал тот же душевный трепет, что и в те далекие уже годы...

Машина свернула вправо, стала спускаться по узкой улице и остановилась у старых, покрытых зеленым мхом дубовых ворот.

Когда Коринтели вошел во двор, ему сразу же бросились в глаза узловатые стволы дубов, состарившиеся деревья инжира и ореха, высохшие груши, на толстых стволах которых, подобно сорочьим гнездам, торчали наросты грибов.

На лестнице дома лежала старая облезлая овчарка. Она подняла голову, глухо залаяла и даже попыталась подняться, но не смогла. Взглянув на пришедших своими слезящимися глазами, она стала колотить хвостом по каменным ступеням лестницы.

На всем лежала печать старины: и на деревьях, и на каменном доме, и даже на собаке.

Коринтели огляделся. Он увидел дворцовую церковь, в которой служили псаломщиками его дед, прадед и прапрадед — Кимотэ, о котором в их семье сохранилось только предание.

Вместе с Медеей он стал подниматься по каменной выщербленной лестнице.

Как трудно взбираться по ступенькам отцовского дома, где некогда жили дорогие твоему сердцу люди. Как холодно поблескивают в этом доме окна. Из них никогда уже не выглянут безвозвратно ушедшие родные лица.

Как печален скрип двери, из-за которой они никогда уже больше не покажутся.

Собака снова залаяла. Коринтели погладил ее крупную голову с коротко обрезанными ушами.

Открылась дверь, и на балкон вышла сгорбленная женщина — тетушка Текле. По ее сморщенным щекам

потекли слезы. Высохшими руками она обняла Вахтанга и стала его целовать.

— А!.. Добро пожаловать, добро пожаловать! — послышался рокочущий бас, и представительный плотный старик вышел настречу гостям.

Широко раскинув руки, он заключил в объятия Медею, потом крепко прижал к своей богатырской груди Вахтанга.

— Услышав лай собаки,— сказал он,— я подошел к двери и наблюдал за тем, как ты поднимался по лестнице. И знаешь, мне показалось, что это не ты, а Ростом, твой отец, ожил и вернулся к своему очагу, ей-богу! Ты хорошо знаешь, Вахтанг, что я никогда не признавал смерти, но в эту минуту я еще раз убедился, что ее действительно не существует. Твой отец живет в тебе!

— Давно известно, дядя Нико,— ответил Вахтанг,— чем ближе человек к старости, тем больше он становится похожим на своих родителей.

Тетушка Текле причитала все громче и громче. Дядя Нико прикрикнул на нее. На шум вышли из комнат дальние и близкие родственницы, облаченные в черное вдовы, и подняли плач.

Твердыми мужскими шагами балкон пересекла высокая женщина с длинной шеей и следами оспы на лице.

— Тетя Варя! — воскликнула Медея и обняла ее.

Расцеловав Медею, женщина с длинной шеей подошла к Коринтели и протянула ему для поцелуя свою костлявую руку. Она проделала это с таким выражением лица, с каким надменные старые барыни встречали обычно своих управляющих или бедных родственников.

Когда все вошли в гостиную, тетя Варя уселась в ветхое, с провалившимся сиденьем кресло и холодными прищуренными глазами уставилась на поседевшие виски Коринтели. Трудно было определить, рада она или недовольна встречей с ним. Коринтели, в свою очередь, тоже изучающе посматривал на тетю Варю. Он обнаружил, что на верхней губе у нее проросли уже поседевшие густые усики, а волосяной покров на щеках и подбородке делал ее неприятно похожей на мужчину.

Коринтели всегда была противна эта женщина, тетка его жены, высокомерная и чванливая представительница княжеского рода Дадиани, которую дядя Нико в шутку называл «дядюшка Варя».

Справа и слева от камина были развешаны старые, выцветшие портреты. Коринтели перенес свой взгляд на них. Вот его мать, вот маленькая сестренка Нана, умершие дяди, а рядом с ними главы четырех поколений: белобородые дед, прадед, прапрадед Кимотэ — псаломщики придворной церкви царя Ираклия, и наконец отец Вахтанга Ростом, рослый мужчина в форме землемера.

Гости по обычаю умылись с дороги. Дядя Нико взял Вахтанга под руку, подвел к длинному столу и усадил рядом с собой.

Разрушающая сила времени коснулась тут всех, кроме дяди Нико. Казалось, что этот незаменимый тамада, убежденный эпикуреец, неисправимый донжуан остался таким же, каким был в юности. Годы только изрядно посеребрили его густую гриву и красивую волнистую бороду, покрыли кончик его слегка горбатого носа и скулы тончайшими сизыми прожилками, но не смогли заставить этого человека состариться, отказаться от вина, забыть о женщинах... И его мощный, зычный голос, и красные, чувственные губы, и крепкие зубы — все говорило об огромном запасе жизненных сил.

Коринтели то и дело с улыбкой оглядывал развеселившегося дядю Нико, его толстые пальцы с желтыми, как шпоры старого петуха, ногтями и думал про себя:

«Если бы какой-нибудь художник пожелал изобразить живого Бахуса, то лучшей натуры, чем дядя Нико, ему не сыскать».

Медея корила Вахтанга, говорила, что дядя Нико рассердится на них за опоздание. На самом же деле произошло нечто другое, ею не предвиденное.

— Хорошо, что ты запоздал,— сказал дядя Нико.— У меня есть свои соображения, я сообщу их тебе позже.

Дядя Нико знал, что если бы Вахтанг и Медея приехали часа на два раньше, то его жена, тетушка Текле, обязательно вспомнила бы своего покойного брата, подняла бы плач и предложила бы немедленно всем пойти на кладбище. А дядя Нико больше всего на свете не любил плач и кладбище. Семейное пиршество, к которому старательно готовился этот влюбленный в жизнь человек, было бы, разумеется, испорчено. Неприятно было дяде, что за столом оказалось так много женщин, одетых в траур. Он сказал Вахтангу:

— Пригласил я сегодня директора школы и трех учителей, да приехала какая-то комиссия из Тбилиси и задержала их. Знаешь, кого я еще позвал? Доцента Зураба Арадели, твоего друга юности, того, что учился с тобой за границей.

— Почему же он не пришел?

— Не знаю, право... Сегодня я хочу насладиться рассказами о ваших путешествиях. Куда и как вы ездили? Где что видели?

Коринтели ответил:

— Из Константинополя мы поехали в Бомбей, объездили Цейлон, Яву, Мадагаскар, Голландскую Индию, добрались до Токио. Оттуда — в Нью-Йорк и Вашингтон. Потом мы объездили Южную Америку, были на острове Гаити. А из Испании перебрались во французскую провинцию Шампань. Затем объездили почти всю Италию, пересекли Грецию и через Стамбул вернулись домой...

— Циствала![1] — позвал Нико.

Появилась девочка и в самом деле с голубыми глазами.

— Ступайте в марани — ты и Леван — принесите вина.

Дядя Нико обратился к Коринтели:

— Дорогой мой, уважь старика. Я хочу сегодня выпить с тобой. Три рога — за светлую память усопших. Остальные тосты будем пить кувшинчиками. Помнишь, отец твой любил пить кувшинчиками.

Циствала и соседский мальчик Леван принесли вино.

— Слушай, Леван,— весело сказал мальчику хозяин.— Ты видишь, как подвели нас гости; не можем же мы пить с этими женщинами. Садись, поддержи нас.

Мальчик заморгал своими длинными ресницами и, застенчиво улыбаясь, сел среди одетых в траур, похожих на ворон женщин.

— Боже великий и хвалы достойный... — с напускной торжественностью начал дядя Нико, исполняющий и на этот раз почетную роль тамады.

Он наполнил рог вином и вручил его Коринтели.

---

[1] Циствала — женское имя, буквально: девушка с глазами небесного цвета.

— Что это за вино? — тихо спросил тот.

— Пей и разберись сам,— ответил дядя Нико. — В старом вине столь же трудно разобраться, как и в молодой женщине. Не так ли?

Вахтанг засмеялся.

— Общим свойством людей,— продолжал хозяин,— является то, что они предпочитают хвалить уже сотни и тысячи раз хваленное, воздерживаясь от похвалы чего-либо нового, так как для того, чтобы хвалить новое, нужно обладать еще и способностью его обнаружить. Сумеешь ли ты это сделать? Геройство не в том, чтобы хвалить известное, а в том, чтобы похвалить еще не хваленное.

Слова дяди Нико развеселили Коринтели. Ему было хорошо в этом доме. Он вспомнил свою молодость и, несмотря на протесты Медеи, осушил рог до дна, опрокинул его горлышком вниз, чтобы показать тамаде, что вино выпито.

Появились новые гости — трое мужчин. Заметно было, что они навеселе.

— Добро пожаловать! — приветствовал их тамада.

Коринтели поинтересовался ими. Дядя Нико сказал ему на ухо:

— Тот, что с длинной шеей,— Дадиани, другой, с большой головой,— Вачнадзе, а лысый — Цероденашвили, здесь его называют просто Цероденой...[1] Кажется, он инженер.

— А чем занимаются те двое?

— Дадиани — зоотехник, а Вачнадзе работает на тбилисском ипподроме... Оба они дальние родственники твоей жены...пришли ко мне, вероятно, по делам, как к ветеринару.

Дядя Нико обрадовался тому, что число собутыльников увеличилось; он стал красноречивее, шумнее.

Коринтели же, отвыкший от вина, почувствовал, что уже первый рог одолел его. Учащенно забилось сердце. Он попросил тамаду:

— Не заставляй меня пить...

Но дядя Нико всячески старался развеселить Коринтели. Ему понятно было его состояние. Вернуться в отчий дом и застать здесь только пожелтевшие портреты

[1] Церодена — величиной с мизинец (грузин.).

дорогих покойников, старых теток и старую беспомощную собаку... Понятно было и то, почему Вахтанг не торопился приехать в Телави: он ждал, когда затянутся эти глубокие раны.

И тамада надеялся вином и шутками развлечь Вахтанга.

— Ты не знаешь, какая прелюбопытная история случилась со мной прошлой осенью? — спросил он.

— Какая? — спросил Коринтели.

— А вот какая,— улыбнулся дядя Нико, обнажив свои крупные и желтые, как кукурузные зерна, зубы.— Когда-то я от тебя, если не ошибаюсь, слыхал, что какого-то древнего философа очень интересовало, что́ происходит в глубинах земли. Для того, чтобы узнать это, он прыгнул в кратер Этны. А потом, как ты, вероятно, знаешь, спустя несколько лет, во время извержения Этны из ее кратера вылетели его сандалии...

— Да, помню, дядя Нико, я рассказывал тебе,— подтвердил Коринтели.

— Со мной произошла не менее удивительная история,— смеялся дядя Нико.— Ты ведь знаешь судьбу царя Ираклия. Всю жизнь он боролся против турок, персов... Я же, чтобы не отстать от него, боролся с болезнями скота — бруцеллезом, сибирской язвой — и больше всего, как ты догадываешься, с вином. Ты, вероятно, помнишь отцовский, или, точнее, дедовский огромный квеври в вашем марани, первый слева, который выглядывает из земли, как кратер Этны? Чтобы его изнутри почистить, двое парней влезали туда по лестнице. Так вот, в прошлом году купил я виноград в Цинандали, отжали его. Опустили лестницу в квеври, и я с Леваном влезли в него, помыли. Потом залили его вином, и знаешь, что произошло со мной?

— Что?

— А вот что. Я наклонился, чтобы посмотреть, сколько еще вина вместит в свою ненасытную пасть квеври, оперся о край руками, но поскользнулся и полетел вниз головой. Слава богу, оказался рядом Леван. А то утонул бы, и молодое бродящее вино выбросило бы наверх мои сапоги, как Этна сандалии Эмпедокла!

Дядя Нико от души хохотал.

Леван осушил по приказу тамады второй рог и почтительно спросил, кому его передать. Оказалось, что

все мужчины, сидящие за столом, уже изрядно выпили. Тогда тамада распорядился передать рог «дяде Варе».

Тете Варе не понравилось то, что ее назвали так на людях, но она храбро опорожнила рог и обратилась к Коринтели:

— Если вы мужчина, последуйте моему примеру.

Коринтели ничего не оставалось, как принять из ее рук рог.

Дядя Нико знал, что Вахтанг болен гипертонией. Однако, как всякий любитель вина, он считал, что оно-то и есть лучшее лекарство от всех недугов. Он провозглашал тост за тостом, то за светлую память покойной матери Вахтанга, то за светлую память его отца, и следил за тем, чтобы Вахтанг, как и все, пил. Медее удалось добиться лишь того, что рога заменили маленькими кувшинчиками.

Тетя Варя заметно опьянела. Коринтели сидел далеко от нее, на противоположном конце стола, но и он видел ее возбужденное, раскрасневшееся лицо. Она без устали дымила папиросой и, беседуя с Медеей, оживленно жестикулировала.

Говорила она на старомодном французском языке, которому учили в прошлом веке. Она говорила несколько в нос и нарочито картавила. Она принадлежала к людям, всерьез считающим французский язык языком богов.

Несмотря на веселый шум, поднявшийся за столом, до уха Коринтели долетало кое-что из того, что говорила тетя Варя. И это не могло его не заинтересовать.

— Ты не так уж удачно выбрала себе мужа,— говорила тетя Варя.— Во-первых, он старее месье Шаркутье, фотографию которого ты мне прислала. Тот выглядел довольно галантным джентльменом. А главное — мне очень не нравятся манеры Вахтанга. Такого человека в приличном обществе и за стол не посадят. Твой муж похож больше на приказчика, чем на ученого...

Медея улыбнулась и что-то сказала на ухо своей тетке,— вероятно, попросила ее говорить не так громко. Но тетю Варю трудно было уже унять. Она зажгла очередную папиросу и продолжала:

— Я не люблю, дорогая, этих агрономов и зоотехников — «ослиных докторов». Вечно от них пахнет гнилым картофелем и навозом. Не скрою и того, что я вообще

ненавижу людей плебейского происхождения, так как они лишены не только денег и галантности, но и фантазии. И это само собой понятно. Людям, которые день и ночь имеют дело с животными, птицами и растениями, передается скотское поведение и тупоумие (тут тетя Варя употребила французское слово stupidité — глупость, тупость). Кроме того, твой муж — внук псаломщика, а известно, что они тупеют от чтения псалмов!..

К столу подавали все новые и новые блюда. Дядя Нико, толкая под локоть Коринтели, просил его отведать то одно, то другое.

— А вот твой любимый дедас-пури[1]. Ты объездил весь свет, но скажи по совести, разве ты пробовал где-нибудь такой прекрасный хлеб? А вот чалагаджи[2], а вот курица, хочешь с чесночным, хочешь с гранатовым соком — иф, иф! — все выбрано по твоему вкусу, ей-богу. Как видишь, я не ровня царю Ираклию, но от его сына Георгия — любителя выпить и поесть — не отстаю. Да, что касается еды и питья, то я, дай боже, в этом деле и перед принцем Уэлльским не ударил бы лицом в грязь.

Когда принесли жареного поросенка на вертеле, дядя Нико от удовольствия даже подскочил.

— Смотри, смотри, Вахтанг, как он изжарен! От такого и у абиссинского негуса потекли бы слюнки!

— Зачем так далеко ехать, дядя Нико? Ты забыл британского короля?

— Что поделаешь, мой дорогой, времена изменились, и теперь королей и императоров найдешь, пожалуй, только в Англии или Африке. Ха-ха-ха!

Вахтанг от души смеялся. Иногда он поглядывал на сосредоточенные лица двух женщин в конце стола. Медея ухватилась за руку тетки и таинственно что-то шептала ей.

Теперь дядя Нико хвалил куриные потроха, приправленные киндзой[3], уксусом и перцем. Но Вахтанг не слушал. Его чуткий слух ловил слова тети Вари.

---

[1] Дедас-пури, или матушкин хлеб — сорт грузинского хлеба, испеченного в тонэ.

[2] Чалагаджи — блюдо из шейной части туши.

[3] Киндза — кишнец, душистая трава, часто применяемая в грузинской кухне приправа.

— Что? Ты должна жить в Бермухе? Mon dieu, mon dieu![1] После того, как тебе, дорогая моя, прискучил Париж — Сен Жермен, «Мулен руж», «Наполеон», Трокадеро, Плас де Конкорд, Гранд-Опера — ты должна наслаждаться запахом навоза бермухских дворов. Да я всю жизнь только и мечтала посетить те святые места! Сколько времени ожидала визу. Ах, если бы я была там, разве я допустила бы развод с месье Шаркутье. C'est dommage, c'est dommage![2]

Тамада тем временем поднял и опрокинул выпитый им кувшинчик и предложил сделать то же самое всем остальным — показать, что у них тоже пусты.

Раньше всех проделали это «дядя Варя» и тот лысый гость, которого прозвали Цероденой.

Коринтели внимательно прислушивался к пьяному голосу тети Вари. Она уже не стеснялась.

— Родина?! Родину может любить только ограниченный человек, дорогая. Истинным аристократам родина нужна так же, как ослу пятая нога. Только мужикам нужно то, что твой муж называет родиной. Мы, Дадиани, называли мегрелом[3] только крестьянина. Да и здесь, в Восточной Грузии, слова «грузин» и «крестьянин» считались синонимами. В нашей семье, милая, считалось дурным тоном говорить по-грузински...

Дядя Нико не силен был во французском языке, на котором говорила тетя Варя, но по лицу Вахтанга он понял, как далеко она зашла,— дядя прервал апологию блюд и, перекрывая болтовню тети Вари, сказал:

— Тебе, как агроному, лучше меня известно, что дольше всех плодов на ветках остаются груши. Поздней осенью осыпаются грецкие орехи, миндаль, каштаны и унаби[4]. А на груше два-три плода висят до самого декабря, когда уже иней покрывает деревья. Посмотришь и видишь, остались где-то на верхушке на ветке две груши, такие черные и сморщенные, что если и упадут на землю, то даже свинья их есть не станет... Тетка твоей жены — еще хуже. Вот уж действительно про нее

[1] Боже мой, боже мой! (франц.)

[2] Как жаль, как жаль! (франц.)

[3] Мегрелы или мингрельцы — грузины, живущие в западной части Грузинской ССР.

[4] Унаби — небольшие деревья с красно-коричневыми плодами.

сказано: только могила горбатого исправит. Ведь эта самая «дядя Варя» на стенку лезла, когда узнала, что племянница ее выходит за тебя замуж. Она скулила, злословила, что Медико, мол, отказалась от миллионного состояния и вышла замуж за внука псаломщика. Дай боже тебе здоровья столько, сколько раз мы ругались с ней!

— Эх, что делать, дядя Нико,— с горечью произнес Коринтели.— Психика людей не такое уж простое дело. Такие, как тетя Варя, подобны Бурбонам; они и после революции ничему не научились и ничего не забыли.

Дядя Нико заметил:

— Говорил же великий Илья:[1] зная, что представляет собой «хороший» князь, можно понять, каков плохой.

Коринтели думал о многом, но сказал коротко:

— Высохшие груши в конце концов упадут на землю. «Собака лает, караван идет...»

И как раз в этот момент залаяла на лестнице собака.

Появились еще гости: доцент Зураб Арадели и учитель Чхетиани. Увидев Арадели, тетя Варя прошипела:

— Вот еще один красный профессор!

Зураб Арадели был автором многих известных трудов о вредителях грузинской флоры и способах борьбы с ними. Коринтели сердечно обнял друга студенческих лет, с которым к тому же два года назад он объездил многие страны мира.

Взыскательный тамада «оштрафовал» опоздавших гостей рогом вина.

— Я знаю, вы сейчас начнете рассказывать о тараканах и саранче,— сказал он Арадели.— Расскажите-ка лучше, где вы видели самых красивых женщин, где и какие напитки пьют люди.

— Пьют разное и по-разному,— ответил тот сдержанно.— И важно, что кофе, например, который с удовольствием пьют в Париже, Берлине, Вашингтоне, дорого обходится населению Явы. Там у крестьян — да и не только у крестьян — зубов от него во рту не осталось. Они ведь пьют кофе и ничего не едят, а это вызывает болезни желудка и выпадение зубов.

[1] **Илья Чавчавадзе** (1837—1907) — грузинский писатель и общественный деятель.

Но дядя Нико находился не в том состоянии, чтобы вести серьезные разговоры. Он приказал наполнить кувшинчики.

В это время Циствала сообщила, что пришли новые гости.

— Да будет к добру их приход! — воскликнул дядя Нико.

В столовую вошли три женщины. Одна — блондинка, другая — брюнетка, а третья — с каштановыми волосами, которые местами отливали красноватым цветом. Едва заметные веснушки покрывали её удивительно белое лицо. Женщина эта, образно говоря, была похожа на щедрую кахетинскую осень, когда в винограде преобладают янтарные цвета, а в листьях красный цвет — цвет спелого граната. Она привлекла к себе внимание Коринтели.

Женщина была ему знакома. Но где и когда он ее встречал? Она чем-то напоминала Нуну Уджираули. Только эта выше и плотнее Нуну.

Коринтели вспомнил счастливые минуты, которые он провел в гостях у Ниортавы, шум мельницы, крик диких гусей, лунную ночь... и чувственные губы Нуну, которых он не посмел коснуться. Он подумал: «Удивительно! Неосуществленные желания оставляют более глубокий след в нашей памяти, чем желания удовлетворенные».

Дядя Нико изощрялся в новых и новых тостах. Когда он поднял стакан за тетю Варю, в комнате погас свет. Гости всполошились. Дядя Нико, соблюдая спокойствие, шепнул Вахтангу:

— Слава богу, что ночь распростерла надо мной свой покров, а то я должен был сейчас произносить бесстыдные похвалы.

Внесли старомодные керосиновые лампы на огромных ножках. В век электричества они выглядели какими-то ископаемыми чудовищами.

Коринтели любовался женщиной с каштановыми волосами. Как хороша ее голова на высокой шее, ее обвитые вокруг головы косы, окруженные сейчас тем сиянием, какое обычно излучают горящие веточки сухой лозы.

Существует своеобразная грань между знанием и незнанием, сомнением и догадкой, понятным и непонят-

ным. Коринтели преодолевал ее. Он мучительно старался вспомнить, где и когда видел эту женщину.

— Скажи, пожалуйста, дядя Нико, ведь это Суския Миндели, не так ли?

Вместо того, чтобы просто подтвердить это, дядя Нико ответил:

— Ты опьянел, что ли? Неужели ты до сих пор не узнал Сускию Миндели, дочь пекаря Луки? Насколько я помню, ты даже влюблен был в нее в юности.

Да, это была именно она — дочь пекаря Луки, Суския.

Коринтели осторожно улыбнулся ей. В ответ дрогнули в улыбке ее губы.

Теперь-то вспомнилось Коринтели, что в тот год, когда он и Медея собрались переехать в Тбилиси, Суския перешла учиться в заведение святой Нины.

И, думая о своем, Коринтели спросил:

— А я не помню, дядя Нико, почему дочь пекаря Луки назвали таким странным именем.

— Точно и я не помню, но слыхал, что какой-то шведский художник приехал в Телави рисовать Кахетинский Кавкасиони. Говорят, он часто ходил к пекарю Луке на дом, за грузинским хлебом. Жена Луки скончалась во время родов, оставив ему девочку.

Художник сдружился с пекарем и нарисовал его портрет. Ему понравилась и его маленькая девочка. Он рисовал и ее, назвав ее именем возлюбленной Рембрандта — Саскии. Потом это имя — Саския — переделали на грузинский лад, на Сускию.

Теперь Коринтели вспомнил и то, что Суския Миндели была в юности такой же худенькой, как и Нуну Уджираули. Она казалась ему воплощением той красоты, которую выражали в своих скульптурах древнегреческие мастера.

Дядя Нико сказал:

— Эта девочка нам так нравилась, что я и тетушка Текле называли ее нашей будущей невесткой, чем и заставляли ее, бедняжку, краснеть.

Коринтели подумал: «Кто знает, может быть, я был бы более счастлив, если б взял в жены дочь пекаря».

— Дядя Нико, что теперь делает Суския? — спросил он.

— Она врач. Работает в здешней больнице. Почему-

то не вышла замуж. Живет вместе с отцом недалеко от нас в маленьком домишке. Лука и по сей день печет хлеб... Уж не сожалеешь ли ты, Вахтанг, что не женился на ней?

— Как сказать,— ответил Коринтели.— Жалеть о чем-нибудь свойственно обычно бесхарактерным людям. Я не жалею ни о чем, что было сделано мною сознательно. Однако...

— Что — однако?

Коринтели продолжал:

— Я уважаю Медею, но ее окружение не нравилось мне раньше и, тем более, не нравится теперь. Я верю тебе, как собственному отцу, дядя Нико, и потому говорю это. Ее родственники осквернили мое чувство к Медее.

Дядя Нико сказал:

— Жаль, что у тебя нет детей.

— Я и сам очень это переживаю,— согласился Коринтели.— Не могу равнодушно пройти мимо ребенка. Хочется прижать его к груди, назвать своим.

Из-за стола поднялась Медея. Она была грустна. Дядя Нико проводил взглядом ее гордо выпрямленный стан, несравненные плечи, исполненные такой же пластической гармонии высокие бедра, и, наклонившись к Вахтангу, сказал:

— После того, как вино тебя одолело, ты не спускаешь глаз с Сускии. Это, кажется, заметила Медея и потому оставила нас.

Коринтели пропустил мимо ушей его слова. Тогда дядя Нико вернулся к предыдущему.

— Я каждый день с горечью смотрю на этот длинный балкон, где когда-то скакали на палках-лошадках ты и покойная Нана. Меня и твою тетку бог тоже наказал — не дал нам детей. И, как видишь, пуст этот прекрасный грузинский балкон с резными перилами.

Недавно приехал ко мне один хевсур, попросил лекарство от сибирской язвы. Текле была больна, и я не мог его угостить обедом. Вынес сухие фрукты, вино. Хевсур поблагодарил и вынул из кармана каги[1]. Поев и выпив, он посмотрел на наш балкон и спросил: «Где твои дети?» Я ответил: «Нету их у меня».— «Жена-то есть?» — «Есть».— «У нас,— сказал он,— если у жены

[1] Каги — вяленое мясо, которое горцы берут в дорогу.

нет детей, то ее или выгоняют, или, с ее согласия, берут себе вторую жену. Семидесятилетние старцы женятся у нас, если они чувствуют приближение смерти и у них нет детей».

Я до прихода этого хевсура переживал трагедию, но не женился вторично только из-за уважения к вашей семье. Советую тебе иметь детей, позаботься об этом вовремя. Когда тебя не станет, кто-то, похожий на тебя, все-таки останется здесь, в мире, который ты навсегда покинешь. Если бы я был молодым, как ты...

Ты лучше меня знаешь, Вахтанг, что сила и красота природы — в размножении, а не в иссякании. Мой покойный отец не был ни врачом, ни агрономом, он был простым, неграмотным человеком. Круглые сутки твердил он братьям: вырубайте и жгите неплодоносные деревья, режьте яловых коров и разводитесь с бесплодными или не желающими рожать женами...

Увидев тебя сегодня поднимающимся по лестнице, я обрадовался и подумал: воскрес и вернулся из дальнего путешествия отец твой Ростом.

Горе нам, если мы так умрем, что после нас никто не поднимется по ступеням родного дома, никто не посмотрит на мир нашими глазами, никто не вернет природе наших голосов, не наполнит молодой жизнью затихший наш сад, наш марани и наш двор, на котором и по сей день растут деревья времен царя Ираклия...

На другом конце стола в это время Зураб Аradели что-то рассказывал тете Варе, и она с ним спорила.

— Громче, громче, чтобы и мы слышали! — крикнул дядя Нико.

— Вы должны были бы видеть, в каких ужасных условиях находится малаец-крестьянин хотя бы при уходе за рисом,— говорил Араdели.— Сохой, запряженной буйволом, пашет он болотистую землю. Подрастет рис, и по этим болотам начнут шагать босоногие женщины и дети. Созреет рис — нужно срезать колосья ножом.

Бесчисленное множество птиц налетает тогда на поля. Люди оставляют свои жилища и, вооруженные бамбуковыми палками с навешенными на них тряпками, с дудками, барабанами выходят на поля спасать урожай. Полуголые, бродят они под палящими лучами солнца с восхода до заката, среди змей и ядовитых ящериц.

— Фуй, фуй, совсем испортил настроение этот Зу-

раб,— визжала тетя Варя.— Циствала,— вопила она,— неси скорей пандури![1]

Циствала взяла пандури и, заиграв на нем, стала напевать:

Царевича Ираклия,
вскормленного оленихой,
в дремучем лесу затерянного,
охотник нашел...

— В Сингапуре,— продолжал Аради свой рассказ,— я и Вахтанг взяли себе в гиды малайца, который обещал показать крокодилов и попугаев. Мы бродили с ним целый день по джунглям, но так и не увидели ни крокодилов, ни попугаев. Тогда раздосадованный малаец сказал: «Это англичане содрали шкуры с крокодилов, а у попугаев выщипали перья. Ими украшаются теперь их женщины, чтобы понравиться своим любовникам». И малаец горько рассмеялся.

Циствала, монотонно бренча на пандури, напевала новую песню:

Люблю тебя,
прекрасная Кахетия,
прибрежную рощу Алазани,
оленя в высокогорных лугах.
Иори многоводную...

Тетя Варя ехидно заметила:

— Все, что вы сказали, хорошо. Но вы забываете о главном — не будь американцев, англичан и голландцев, эти желтые, чернокожие и краснокожие никогда бы не увидели света цивилизации.

Аради возразил:

— Почему вы думаете, что в Индии и Китае было меньше культуры, чем в Германии, Англии, Франции, Америке? Индия и Китай, если хотите знать,— колыбели древнейших культур, которые, к сожалению, еще мало изучены европейцами.

Циствала продолжала напевать:

О фазан, притаившийся в кустах,
прекрасная Хариствала.
О Шираки — кормилица наших овец,
прибежище диких ланей...

---

[1] Пандури — трехструнный музыкальный инструмент.

Коринтели, слушавший Аределн, поддержал его:

— Американцы кичатся своей культурой. Они на всех смотрят спесиво с высоты своих небоскребов и Бруклинского моста. А ведь и им многому можно поучиться у той же Индии и у того же Китая. Я уже не говорю о нашей стране.

Этого уж тетя Варя не выдержала.

— Я вижу, ты и Вахтанг стали большевиками,— язвительно процедила она.— Неужели так уж и нечему было вам поучиться в Европе и Америке?!

— Чему нужно было, тому учились,— спокойно и твердо произнес Коринтели.— Но их людоедские теории нам — увы! — не привились. Возможно, они у вас найдут спрос...

Неизвестно, какой дальнейший оборот принял бы этот разговор, если бы Циствала не подошла к дяде Нико. Она что-то ему шепнула. Дядя Нико быстро вышел на балкон.

— Зайдите, прошу вас, на одну минуту,— упрашивал он кого-то.

— Некогда, мой Нико, благодарю, в воскресенье мы должны гнать отары на Лысую гору, а у нас несколько ягнят подохло, боюсь, как бы не было сибирской язвы. Наш зоотехник болен, и если не поправится, я пришлю вам машину, и тогда приезжайте послезавтра в Кварели.

— Пожалуйста, приеду, но только и вас я сейчас не отпущу.

— Я не одет, как полагается гостю. Иду с поля. Ну, разве можно войти в комнату в таких грязных сапогах?

— Там же нет никого, кроме Вахтанга Коринтели и Зураба Аредели.

И дядя Нико ввел в комнату секретаря райкома Цихиставн.

Тетя Варя, подсевшая к Церодене, прошипела:

— Чтоб ему пусто было! Это он отобрал у нас большой виноградник. Погляди, настоящий бирюк. В таких грязных сапожищах лезет в общество! Ах, mon dieu, mon dieu!

Церодена, зная свою соседку, опасался, как бы она еще чего лишнего не сболтнула, и пересел к Сускин Минделн.

Но Коринтели, Арадели, да и сам дядя Нико были обрадованы приходу нового гостя.

— Если вам не нравится белое вино, сейчас же принесут красное,— хлопотал дядя Нико. Он приказал наполнить стаканы и провозгласил тост за Цихиставн.

Разгорелся оживленный разговор. Арадели вспомнил:

— В Токио, в так называемом «чайном домике», со мной и Вахтангом заговорил английский ученый-цитрусовод. Он сказал: «Белые никогда не смогут заниматься той примитивно-механической деятельностью, которая превращает человека в машину. Для этого мы, белые, обязательно должны использовать китайцев, малайцев и прочих желтокожих». И, как это ни странно, японец его поддержал.

— В этом нет ничего странного,— заметил Коринтели.— Японцы очень талантливый народ, но там немало реакционеров. По той же самой причине, по какой плагиатор ненавидит автора, у которого он постоянно крадет, или ленивый и неспособный ученик ненавидит своего учителя, многие японские самураи ненавидят китайцев. Японская аристократия куда более реакционна, нежели европейские бароны времен крестовых походов.

Поистине смешон самурай, когда он вставит в рот английскую трубку и переоденется в джентльменский костюм. В сознании японского буржуа все смешано: американский снобизм, индийский буддизм и европейский маккиавелизм.

Некоторые японцы и до сей день верят, что фотография той или иной личности в конце концов приведет эту личность в небытие и превратит ее в призрак.

В Японии в каждой семье самурая женщина бесправна. Когда девочка рождается в доме самурая, ее кладут на три дня и три ночи на землю. Делается это для того, чтобы женщина запомнила, что она существо земное, а мужчина — небесное. В японском семейном кодексе утверждается, что женщину якобы одолевают пять недугов: невежество, недовольство, склонность к сплетням, к клевете и, наконец, глупость.

Мужчины дружно засмеялись. Тетя Варя разозлилась и закричала:

— Ну и глупцы же эти желтые обезьяны!

Коринтели и Цихиставн заговорили о бермухских де-

лах. Цихистави сообщил, что в ЦК одобрили идею строительства микрогэс — маленькой электростанции в Гвелети — и скоро отпустят средства.

Вмешался тамада:

— Заклинаю вас, не говорите здесь о делах. Отдыхайте!

Он упросил Коринтели рассказать, как Зураб проучил шпиона.

— Один японец увязался за мной и Зурабом еще на Яве. Впервые мы увидели его официантом в ресторане корабля. Уже тогда у нас возникло подозрение: не шпион ли это.

Японцы иногда бывают бесцеремонны: сами подходят и выспрашивают имя, фамилию, чей ты сын, сколько тебе лет, чем занимаешься, куда едешь и с какой целью, сколько имеешь детей, сколько жен и гейш.

Этот японец так и познакомился с нами. Он даже спросил с великолепным простодушием: не большевики ли мы.

Зураб сказал: «Если эта обезьяна не отстанет от нас, я его так исколочу, что он до конца жизни своей запомнит». Но я успокоил Зураба и предупредил, чтобы он не давал никакого повода для провокаций.

В Сингапуре этот японец снял комнату в гостинице рядом с нами и ходил разодетый, как английский денди.

Во время путешествия по Малайе он очутился с нами в джонке[1].

Спустя некоторое время мы осматривали в Китае один из бастионов Великой Китайской стены. Именно сюда обычно прибывают верблюжьи караваны. Смотрим — с верблюда спрыгнул и наш японец. На голове его был пробковый шлем заправского плантатора. Он любезно поздоровался с нами. Говорил он на сносном английском языке. От него мы узнали, что он получил докторскую степень в Гарвардском университете и знает даже несколько иностранных языков.

Почему-то он упорно допытывался — не едем ли мы в Вашингтон. Он говорил, что у него большие связи в Америке, что он скоро женится на американке и готов нам, в случае нужды, всячески помочь в Вашингтоне.

[1] Джонка — лодка.

Как дельфин, который увяжется за кораблем, ныряет и показывается вновь, так увязался за нами этот японец, сопровождая нас от Явы до Сингапура, от Сингапура до Гонконга, от Гонконга до Пекина, от Пекина до Токио.

Зураб при виде его уже скрипел зубами. Но мы вынуждены были терпеть, так как были убеждены, хитрыми глазками этого джентльмена на нас — двух безобидных советских агрономов — смотрит иностранная разведка. Мы не имели права дать хотя бы малейший повод для подозрений.

В Токио этот тип не давал нам покоя.

Мы успокоились только тогда, когда отправились из Токио в Нью-Йорк, полагая, что дальше за нами он уже не увяжется.

В Нью-Йорке стояло жаркое лето. Зураб купил дыню, но, как выяснилось, очень переспелую. Ее нужно было выбросить. Но куда?

Наша гостиница помещалась в небоскребе; здесь, как мы позже узнали, останавливались преимущественно дипломаты и шпионы из разных стран.

Мы сели в открытый лифт и поднимались наверх. Вдруг на двадцатом этаже перед нами вырос тот самый японец, в смокинге с шелковыми отворотами. Он стоял под руку с какой-то женщиной, может быть, со своей невестой, и ждал обратного лифта, обмахиваясь веером.

Зураб нажал кнопку, остановил на мгновение лифт и насадил дыню на голову шпиона. Он проделал это с такой виртуозной быстротой, что японец не успел даже пикнуть, только дама его взвизгнула...

14. ПРИЗНАНИЕ ЛАЛБАЦЫ

Нападение на Нуну произошло, как мы помним, в субботу вечером. На следующий день жители Бермухи стали свидетелями довольно странного происшествия. Ранним утром они увидели у основания Мамукской крепости оленя, спустившегося с гор. Он стоял на недосягаемой скале и жалобно трубил. Ему вторило эхо в ущельях.

Услышав этот рев, остановились идущие к алазанским лугам пастухи, свинопасы, и даже трактористы

прервали работу. Его заслушались, как завзятого оратора.

Пожилые мужчины пожимали плечами,— ведь весенняя трубная пора у оленей как будто прошла. Погонщики стада, ночевавшие в развалинах Мамукской крепости, выскочили при виде оленя, совсем близко подкрались к нему, но стрелять не посмели, пораженные величием лесного красавца.

Олень стоял на своем естественном постаменте, гордо подняв свои ветвистые рога. Это был как бы апофеоз природы. Он внимательно осмотрел плоскогорье Девяти дубов и двинулся к алазанским лугам. Первым, кто встретил его на равнине, оказался мельник Ниортава. Он до того растерялся от столь неожиданной встречи, что забыл про ружье, висевшее у него за спиной, и швырнул в оленя камень.

Олень рысью промчался мимо колхозной конюшни. В этот самый момент заведующий коневодческой фермой Копешавидзе садился, оказывается, на коня. Молодой, недавно объезженный конь испугался оленя, кинулся в сторону и сбросил тучного седока на землю.

Свинопас Попола гнал на пастбище свиней. Свиньи бросились от оленя в разные стороны, а сам Попола орал как ошпаренный. То же произошло и со стадом овец. Пастухи не успели и опомниться. За оленем погналось было несколько овчарок, но он оставил их далеко позади, свернул с дороги и побежал на колхозные бахчи. Как бы почуяв доброту работавших здесь женщин, он не обратил внимания на их возгласы, остановился и стал пощипывать травку. Потом он двинулся к зарослям.

Тут за оленем погнались дети. Тогда он перемахнул через высокую изгородь из акаций и снова вышел на дорогу.

В это время ехала из Телави грузовая машина с людьми. Они стали улюлюкать. Шофер дал газу, пытаясь нагнать оленя. Люди в машине орали, свистели. Олень закинул рога на спину и, вытянув вперед шею, помчался еще быстрее.

Но вот начался подъем. Машина сбавила ход. Замедлил бег и олень. Был момент, когда машина чуть не налетела на него. Но животное, почуяв смертельную опасность, напрягло свои последние силы и понеслось

вперед с такой быстротой, что казалось, будто оно обрело крылья.

Навстречу оленю ехали всадники. Тогда он перелетел через живую изгородь и помчался по тропинке к тому самому сараю, в котором хранились саженцы.

Именно в этот момент Годердзи, искавший в сарае свой секатор, увидел, что одноглазый Гайоз с юношеской живостью сорвал со столба свою заржавленную берданку и выскочил из сарая.

«Не поругался ли с кем сварливый старик? Еще беды натворит!» — подумал Годердзи и побежал за ним.

— Зачем тебе ружье, Гайоз? — крикнул Годердзи.

— Олень! Олень! — орал Гайоз.

Годердзи, не успев еще разглядеть оленя, инстинктивно выхватил у Гайоза ружье. И лишь тогда он увидел, как вдоль рядов недавно рассаженных лоз, беззаботно пощипывая траву по краям тропинки, точно лошадь, выпущенная на пастбище, действительно двигался олень.

Годердзи залюбовался им. Он хотел приблизиться к животному и побежал, скрываясь за персиковыми деревьями, посаженными вдоль виноградника.

Олень направился к югу. Годердзи подумал: «Там такие густые заросли терновника, что олень ни за что их не преодолеет. Он вынужден будет повернуть к Лисьему оврагу и выйти на микроучасток».

Годердзи туда и направился.

Он достиг было уже деревянного мостика, проложенного через овраг, и, казалось бы, мог оттуда наблюдать за движением оленя по оврагу. Но олень обманул его расчеты, он подошел к зарослям терновника и скрылся в них...

Годердзи до того расстроился, что оступился на мостике и полетел вниз. Он больно ударился головой о камень. Когда он оттуда выбрался и возвратился к сараю, одноглазый Гайоз всполошился:

— Что с тобой, Годердзи? У тебя на лбу запеклась кровь...

Гайоз разорвал носовой платок, посыпал рану Годердзи табаком и туго перевязал ее.

Они присели на бревно. Гайоз набил трубку и, приминая табак пальцем, корил Годердзи:

— Поделом тебе! Мне не дал выстрелить и сам ничего не сделал.

— Что ты, Гайоз! Разве ты стал бы стрелять в оленя?

— А почему бы и нет, сынок? Он же мне не крестный отец! Ты не шути с одноглазым Гайозом. Дай бог тебе столько лет жить, сколько козлов и оленей я убил.

— Разве ты не знаешь, что за убийство оленя дают сейчас пять лет тюрьмы?

— Э-э, кто бы увидал нас в такую рань?

— А меня за кого ты считаешь?

— Неужели ты выдал бы меня, Годердзи? Зачем же тогда ты сам за ним гонялся? А?

— Меня охватил азарт, дорогой Гайоз. Я не убить его хотел, а только посмотреть на него поближе.

— Так я тебе и поверил!

Старик некоторое время молчал, посасывая свою обугленную трубку, потом сердито сплюнул.

— Эх, исчез зверь в наших краях. Не жить уже там оленю, где появятся тракторы! А жаль... Сколько оленей в былые времена поубивали мы с твоим дедушкой в этих лесах...

Годердзи был расстроен, он не мог простить себе, что послушался Нуну и не проводил ее до самого дома. Если бы он был с нею, ничего бы не случилось.

Много было кривотолков в Бермухе о том, кто напал на Нуну. Думал об этом, разумеется, и Годердзи. Он ни с кем не делился своими подозрениями. Прежде всего нужно было поговорить с самой Нуну.

Годердзи послал было к девушке свою родственницу, просил ее разузнать у девушки, не подозревает ли она сама кого-либо, чтобы тем самым проверить свои подозрения. Родственница вернулась и передала слова Нуну: «Если бы знала, то сказала бы прокурору». Но опытная в житейских делах женщина от себя добавила:

— Нуну говорит не то, что думает. Она ведет себя странно, что-то скрывает.

— Почему ты так решила? — спросил Годердзи.

— Я не слышала уверенности в ее голосе, она смутилась и покраснела...

Дни шли. Колхозники работали в поле, а Нуну все

не было видно. К председателю колхоза как-то явился Малхаз и сказал, что у нее поднялась температура.

Годердзи отвел мальчика в сторону и спросил, действительно ли у Нуну температура. Малхаз чмокнул губами и отрицательно мотнул головой, а потом вдруг подтвердил, что температура есть.

— Лежит она? — спросил Годердзи.

— Лежит,— ответил Малхаз.

А затем снова чмокнул и отрицательно замотал головой.

Вот и пойми его! Весь день Годердзи ходил как неприкаянный. Он злился на всех, упрекал в плохой работе, у одного вырвал из рук секатор, у другого отнял аппарат Вермолеря и сам принялся работать. Наткнувшись на длинного как жердь Лалбацу, он обругал его, вырвал из его рук мотыгу и в течение часа сам за него мотыжил.

— Вырос с версту, а до сих пор не научился обращаться с мотыгой. Сколько раз тебе говорили: осторожней, не задевай мотыгой побега лозы. Ведь это живой организм!

— Допустим, что живой...— мрачно ответил Лалбаца.

— Вот именно, живой. А ты... дохлый!

— А ну, давай поспорим — кто из нас больше вина выпьет и кто раньше дохлым станет,— хвастал Лалбаца.

— Да, в выпивке тебя никто не осилит...

— Скажи-ка лучше, чего ты злишься? — спросил Лалбаца.

— Смотрю на тебя и вижу, что ты ни на что не годен, вот и злюсь,— ответил Годердзи.

Лалбаца почесал затылок и осклабился.

— Ты чего смеешься? — возмутился Годердзи.— Чему обрадовался?

— Я хотел бы, чтоб ты так каждый день на меня злился и выполнял за меня норму,— спокойно сказал Лалбаца.

У Годердзи, как мы уже знаем, был перевязан лоб. Это дало одним повод для сплетен, а другим — основание поверить тому, что Годердзи и в самом деле был вместе с Нуну, когда на нее напали, что его избили, а Нуну потащили в лес... Версию эту особенно охотно поддерживали лодыри, которые терпеть не могли Го-

дердзи. Это ведь известно: лодыри так же «любят» тех, кто учит их трудиться, как глупцы — своих воспитателей.

Годердзи встретил Натию Таралашвили и удивился — она была огорчена, подавлена. Такой ее никто никогда не видел. Причиной тому оказался болтливый Гайоз, который — без злого умысла, конечно,— сказал в ее присутствии, что он видел в субботу, в полночь, Годердзи и Нуну у колхозного сарая для саженцев (собственно, от этого «свидетеля» и пошли все сплетни).

Раньше, когда подруги Натии шутили, что Годердзи-де неравнодушен к ней, она фыркала и отмахивалась: какая, мол, разумная девушка согласится стать женой человека, у которого дома сумасшедшая тетка и слепой дед! Но как только распространился слух о том, что Годердзи гуляет с Нуну, Натия почувствовала себя оскорбленной.

Ненависть и любовь всегда сопутствуют друг другу, качаются на двух чашах одних весов, и бывает иногда достаточно добавить крошечный груз на одну из чаш, чтобы нарушить равновесие.

Так случилось и в данном случае. Натия, которая была неравнодушна к Годердзи, сразу возненавидела его, и не только его, но и свою подружку Нуну.

Когда Годердзи спросил Натию о здоровье Нуну, она посмотрела на него с такой злобой, которую не могли скрыть от него даже ее длинные ресницы.

Девушка сорвала листок персикового дерева, нервно помяла его и сказала:

— Вчера вечером ей было плохо. Рана загноилась. Кетуа, будь она неладна, с утра ушла к Маро, оставив Нуну на попечение брата-дурачка.

У Годердзи перехватило дыхание.

— Как? И врача не вызывали?

— А кому же было вызывать? Я хотела сегодня привести врача, да вот на работе задержалась...

Натия снова сорвала с дерева листок. Зло усмехнувшись, она многозначительно произнесла:

— Так всегда случается, когда девушка на выданье начинает гулять по ночам с мужчинами.

Годердзи возмутился:

— Что ты говоришь? С какими мужчинами? На-

сколько я знаю, Нуну в ту ночь одна возвращалась домой.

Натия ухмыльнулась:

— Одна, говоришь, возвращалась? А что ей нужно было ночью у колхозного сарая?

Годердзи смутился. Он уже хотел было сказать Натии, что сам проводил Нуну до МТС, но прикусил язык и сказал другое:

— А как ты думаешь, Натия, с кем была в ту ночь Нуну?

Натия слукавила:

— Откуда мне знать, с кем гуляет по ночам Нуну?

Годердзи хотел сказать ей что-то резкое. Еще несколько минут назад он не мог себе представить, чтобы девушка с таким открытым лицом, приветливая, добрая, могла быть такой злой. Но он сдержался.

— А все же, что говорят, Натия, с кем была Нуну в ту ночь? — спросил он.

— Откуда я знаю! — раздраженно ответила Натия.— Ты меня так об этом спрашиваешь, будто я там была. Тысячу разных вещей говорят. Говорят и то,— она многозначительно посмотрела на перевязанный лоб Годердзи,— будто того жалкого труса, который был с ней, здорово избили.

Годердзи словно обожгли крапивой.

— Кто же распространяет такие слухи? Скажи мне, как сестру прошу тебя, Натия.

— Могу сказать, если тебя так интересует,— ответила она сухо.— Канкрэ, например. Он вчера рассказывал около потребсоюза: крепко избили ее любовника...

И, измерив своего собеседника презрительным взглядом, Натия удалилась.

Годердзи решил: «Пусть болтают, что угодно, а я найду доктора Годабрелидзе и сам приведу его к Нуну».

Но доктор, оказалось, выехал в Телави. Его возвращения ждали с минуты на минуту. Огорченный Годердзи побрел по улице...

Тут-то и встретил его председатель колхоза. Он схватил Годердзи за руку:

— Жена моя ушла к родственникам, пойдем ко мне обедать — не люблю есть в одиночестве.

Тедо в упор посмотрел на юношу.

— Ты, мне кажется, не в настроении, а у меня дома — буглама[1] из барашка.

— Спасибо, дядя Тедо, я уже обедал,— солгал Годердзи.

— Что с тобой, парень? Я тебя таким никогда не видел.

— Ничего, дядя Тедо. Вчера дедушке было плохо, и я не спал всю ночь.

— А лоб где разбил?

— Переходил через мостик у Лисьего оврага и оступился.

Тедо посочувствовал.

— Не унывай, сын мой,— сказал он.— Эх, твою бы молодость мне — горы сдвинул бы!

Так, беседуя, они шли по улице.

У одного из домов их внимание привлекли гончие собаки: пестрая, черная и в желтых крапинках.

— Интересно, какой это глупец собрался на охоту в такую горячую пору,— заметил Тедо.

И как бы в ответ на эти его слова из дома вышел пьяный Лалбаца и принялся упрашивать их зайти к нему в гости.

Тедо недовольно ответил:

— Разве время сейчас ходить по гостям?!

Лалбаца обиделся на Тедо и стал приставать к Годердзи. Из дома вышли пьяные Канкрэ и Гагна.

Тедо несколько ушел вперед. Годердзи старался отвязаться от Лалбацы и догнал председателя.

— Здравствуй! — сказал ему Канкрэ.

— Здравствуй! — холодно ответил Годердзи и пристально посмотрел ему в лицо, заметив на нем ссадину и синяк.

— Дядя Тедо, подожди, я сейчас,— крикнул Годердзи.

Тедо остановился. Он видел, как Канкрэ, Гагна и Лалбаца окружили Годердзи.

Канкрэ схватил его за ворот рубахи и нагло произнес:

— Как поживаешь, джигаро?[2]

— Джигаро? — переспросил Годердзи и отстранил его руку.— Это что за слово?

---

[1] Буглама — мясо, тушенное на пару.
[2] Джигаро — дружище (жаргонное выражение).

— Городское слово.

— Городское или блатное?

— Городское или блатное — все равно!

— А я не люблю блатных слов.

Но Канкрэ не отставал:

— Нет, ты все же ответь, как поживаешь?

— Хорошо.

— Что-то не видно, что хорошо...— Канкрэ ехидно улыбнулся.— А что это у тебя со лбом?

— Ничего. В темноте споткнулся и упал.

Канкрэ расхохотался.

— Гм! А мы-то думали другое.

— А что думали?

Канкрэ поднес кулак к своему лицу и подмигнул Годердзи:

— Хуже думали, джигаро...

— Что именно?

— Злые языки говорят, что тебя здорово поколотили.

— Кто тебе сказал такую глупость?

— Все говорят!

— Как хочешь, так и думай.

— Нет, я думал, что ты мужчина, а ты — баба. Будь я на твоем месте, я бы на тот свет отправил этих сукиных сынов.

— Нечего хвастаться, время покажет, кто из нас мужчина. А тебе, Канкрэ, советую не походить на тот горшок, который хвастался, что у него золотое дно.

— Горшок! Ха-ха-ха! Мы-то знаем, кто действительно горшок, да еще треснутый,— нагло хохотал Канкрэ, посматривая на завязанный лоб Годердзи.

Лалбаца понял: достаточно еще одного слова — и начнется драка. Чтобы предотвратить ее, он протянул свою длинную руку между Канкрэ и Годердзи.

— Пойдем к нам, Годердзи,— сказал он.— Отведай нашего хлеба-соли. Хватит того, что ты день и ночь ругаешься с нами на работе.

— Если я и ругаюсь с вами на работе, так это не со зла ведь, а потому, что я добра вам хочу. Вы работаете не на меня или на моего дедушку. Если все мы будем хорошо работать, то нам и жить будет лучше.

— Э, брось, пожалуйста, не учи уму-разуму, надоели твои поучения! — заорал Канкрэ.

Лалбаца наклонился к Годердзи:

— Заклинаю тебя именем матери, пошли, посиди с нами за столом.

— Не время сейчас, Лалбаца,— отказывался Годердзи.— К тому же меня ждет Тедо,— он указал на стоящего под деревом председателя колхоза.

Тедо, услышав свое имя, подошел.

— Ты когда, парень, перестанешь задираться? — обратился он к Канкрэ.

— Задираться? Что вы говорите, дядя Тедо! Таким тихим, как я, не был, кажется, и Иисус Христос,— развязно ответил Канкрэ.

Но тут Лалбаца усмирил его подзатыльником.

Смеркалось, когда Годердзи вошел во двор дома, где жила Нуну. В хлеву жалобно мычала корова. Возле сарая пищали голодные цыплята и металась встревоженная наседка.

Он открыл дверь. В полутьме зарычала собака, лизавшая опрокинутый котел для пищи. Годердзи тихо позвал:

— Малхаз...

Мальчик не откликнулся. Собака свирепо залаяла. Годердзи схватил стоявшую в углу палку.

— Малхаз, а, Малхаз!

— Кто там? Войдите! — послышался знакомый девичий голос.

Собака оставила котел и направилась к Годердзи. Она была такой рослой и сильной, что могла бы, вероятно, опрокинуть и всадника.

Годердзи одной рукой быстро открыл дверь на улицу, а другой взмахнул палкой. Собака как ошалелая выскочила из дома.

Нуну не ожидала такого гостя. Она лежала на кровати. Приход Годердзи застал ее врасплох. На столе стояла груда немытой посуды. В углу валялась чья-то неприбранная постель. Девушка смутилась и натянула одеяло до подбородка.

Юноша окинул взором комнату. У постели Нуну — кувшин с отбитым горлышком. На табуретке, рядом с кроватью, стояла керосиновая лампа с закопченным стеклом. Дырявые шкуры лисиц висели на стенах. А у кровати валялась старая шкура медведя.

В углу темнели фотографии. Там же, на оленьем роге, прибитом к стене, висели тулуп, пояс с кинжалом и папаха. Годердзи узнал папаху отца Нуну. Почудилось, что тут же, под нею, болтается и его длинное и худое тело.

В памяти Годердзи ожила фигура отца Нуну — бездельника и пьяницы: трезвый он понуро бродил по селу, а в пьяном виде истошным голосом горланил песни и площадной бранью ругал каждого встречного.

Всем сердцем своим Годердзи жалел Нуну.

— Я думала, это соседка Маро пришла,— сказала Нуну, с трудом сдерживая волнение.

— Где Кетуа? — спросил Годердзи.

Нуну молчала. Но после настойчивых расспросов Годердзи узнал, что девушка поссорилась с мачехой.

— Она набросилась на меня за то, что я тогда задержалась с тобой.

Годердзи почувствовал себя виноватым.

Он заговорил о враче: как только Годабрелидзе вернется из Телави, он обязательно приведет его к ней.

Нуну отказалась:

— Не надо! Рана как будто уже заживает, температура упала...

Хотелось узнать, кто же этот человек, совершивший покушение,— Нуну его, наверное, знает. Но как спросить ее об этом? Годердзи решил схитрить.

— Он сознался, этот хулиган,— сказал он утвердительно.

Нуну не ожидала этого. Но разве можно было не верить Годердзи. И она сразу же доверчиво спросила:

— Что же сказал этот бессовестный Канкрэ?

Годердзи не растерялся. Он ответил, что Канкрэ будто бы сознался, что нашел на дороге папаху Коберидзе и надел ее, чтобы только замести следы.

Нуну разоткровенничалась:

— Да, это был Канкрэ. Я ударила его по лицу, и он замычал. Я сразу узнала его, но не выдала прокурору, чтобы не осложнять дела. Ты ведь знаешь этих Уджираули...

— Напрасно я послушался тебя и ушел,— сказал Годердзи.— Я бы заставил его пожалеть о дне своего рождения.

— Нет худа без добра,— успокаивала его Нуну.—

Будь ты возле меня, ты мог бы убить Канкрэ. Тебя бы судили. Подумай об этом. Разве я перенесла бы такое. Заклинаю тебя всеми, кого ты любишь, не говори ни слова Канкрэ. Ты ведь знаешь: дай волю глупцу, сам на беду наткнется...

— Что ты! — еле сдерживая себя, сказал Годердзи.— Есть ли у меня время возиться с этим хулиганом. Но если он еще раз посмеет пристать к тебе, я уж тогда сполна расквитаюсь с ним.

Чтобы скрыть свое волнение, он закурил и попросил Нуну дать ему руку, чтобы проверить пульс. Девушка протянула ему оголенную руку. Годердзи не выдержал и поцеловал ее. Он был счастлив: Нуну поправляется, они снова одни, он сумеет наконец открыть ей свою душу...

Но как раз в этот момент распахнулись двери и в комнату влетел верхом на палке Малхаз. Лицо его пылало. Глаза блестели.

— Я убил оленя! — самозабвенно кричал мальчик.

— Что ты говоришь, Малхаз? — остановил его Годердзи.

— Клянусь мамой, дядя Годердзи, я убил оленя! Он пробрался на огород к тете Маро и ел там капусту. Я застал его там и убил.

— Чем? — в шутку спросил Годердзи.

— Вот этой саблей, клянусь мамой, вот этой саблей, дядя Годердзи,— и Малхаз поднял ивовый прутик.

Болезненное воображение мальчика легко позволяло ему принимать несовершившееся за происшедшее, выдавать мнимое за подлинное, искренне верить тому, чего не было, но чего ему хотелось. Его безумие было чем-то сродни чувству вдохновенного художника, когда он погружается в мир фантазии и вымысел выдает за правду.

Годердзи встал и, попрощавшись с Нуну, ушел.

Сияла луна. Возле придорожных домишек, как чугунные изваяния, сидели собаки. Они скулили, рычали, лаяли.

Годердзи шел по широкой шоссейной дороге и был доволен тем, что наконец-то узнал тайну Нуну.

Теперь он вспомнил, что прокурор Хидашели перед возвращением в Кварели говорил Тедо:

— Такое впечатление, что эту девушку кто-то любит.

Она, конечно, знает, кто напал на нее, но если она его назовет, то влюбленный захочет отомстить, и все может кончиться весьма печально. Напал на нее не спекулянт Коберидзе, он слишком труслив, чтобы совершить такой поступок, и не озорной шофер Канкрэ,— ведь он из рода Уджираули, а они чтут фамильное родство.

Тедо не догадался тогда сказать прокурору, что Канкрэ не из рода Уджираули, он только их приемыш.

И вот сейчас, в эту светлую ночь, в душе Годердзи созрело решение отомстить Канкрэ.

Спустя несколько дней Нуну вышла на работу. Годердзи очень обрадовался ей. Мучительные переживания последних дней наложили отпечаток какой-то удивительной просветленности на его лицо.

Годердзи в тот день работал с особенным подъемом.

Во время обеденного перерыва он встретил Лалбацу. Хотелось поговорить с ним по душам, чтобы у того не осталось горького осадка от недавней встречи.

— Ты не обижайся на меня, Лалбаца,— сказал ему Годердзи.— Я не мог тогда зайти к тебе в гости: ждала работа. Все мы должны честно трудиться. Ты представляешь себе часовой механизм?

Годердзи вынул для убедительности свои часы, открыл крышку и показал Лалбаце зубчатые колесики, которые, плотно примыкая друг к другу, четко крутились.

— Наш колхоз должен так же слаженно работать, как этот механизм,— говорил Годердзи.— Это зависит от каждого из нас. Не сердись на меня, не считай зазнайкой. У меня, как и у каждого, много недостатков. Один из них — грубость. Но если я и бываю порой груб, то это потому, что в своем детстве я мало видел ласки, любви...

Лалбацу тронули эти простые, сердечные слова. Он почесал затылок и ответил:

— Я не в обиде на тебя, Годердзи. Я не так глуп, чтобы не отличить горькое слово, сказанное от чистой души, от сладкого, сказанного неискренне. Но я тебе вот что скажу. Вы, коммунисты, вечно в труде, в борьбе и всем другим не даете покоя. Газеты только и пишут: бороться за хлеб, бороться за хлопок, бороться за урожай винограда, все бороться и бороться... А жизнь-то

наша коротка. Я не лук-порей и не чеснок, который можно сорвать, а он снова вырастет. Дедушка мой надорвался на работе в винограднике генерала Вачнадзе, здесь вот на этом самом Гвелетском плоскогорье...

Когда сейчас решался вопрос о закладке виноградников, твой дед Микела и Абриа Уджираули забыли рассказать одну вещь. Возможно, им память изменила.

Виноградник Вачнадзе погиб не только от вредителей. Была страшная засуха. В августе пошел град величиной с воронье яйцо. Люди не помнили еще такого бедствия. Оно превратило нашу цветущую Кахетию в пустыню. Народ голодал, питался лесными ягодами и кореньями. Тогда крестьяне стали по ночам высасывать сок из виноградной лозы...

— Что ты говоришь, Лалбаца? Разве это возможно?

— Сомневаешься? Можешь хоть сейчас попробовать и убедиться. Разрежь ветку лозы пополам, положи в рот срез — и ты почувствуешь сладость сока. Так вот, голодные крестьяне набросились на виноградники князя Вачнадзе. А у него были охранники лезгины. Они стреляли из засады и многих убивали. Мой дед тоже сосал лозу. И его убили. Скоро я потерял всех своих родных. Я и мои три брата были, как ты знаешь, выращены соседями. В последнюю войну я потерял братьев и остался один, в том самом домишке, куда ты и Тедо побрезгали зайти.

Эти слова задели за живое Годердзи, и ему стало искренне жаль Лалбацу. Он думал о том, как загладить свою вину перед ним.

— Я не женился,— продолжал Лалбаца.— Да и кто пойдет за такого несчастного. У меня нет детей. Со мной живут три гончих пса. Вот и вся моя забота. Так за что и за кого мне бороться,— объясни, пожалуйста. Когда удается, я пью вино и тем тешу свою бедную душу. Так вот и прозябаю...

Годердзи выслушал Лалбацу, взял его дружески за руку и сказал:

— Твое горе, дорогой Лалбаца, мне понятно. И я обязательно зайду к тебе. Но я хочу, чтобы и ты понял мои слова.

Партия думает о всех нас, а значит, и о тебе, и о том, как бы тебе жить лучше. Ты вот говоришь: «Вы — коммунисты»,— и отделяешь себя от нас. Вы, мол, одно,

а я — другое. И в этом большая твоя ошибка. Если завтра-послезавтра наш колхоз станет, к примеру, миллионером,— как ты считаешь, хорошо будет только коммунистам или всем нам? Партия хочет, чтобы все мы жили богато и культурно, чтобы никому из нас никогда не пришлось сосать лозу. Правильно?

— Правильно,— улыбаясь, ответил Лалбаца.

— Ты говоришь, что у тебя нет детей. Не обижайся, мой Лалбаца, за то, что я, младший по возрасту, скажу тебе, что во многом ты сам виноват. Работай, перестань пьянствовать, обзаведись семьей, и тогда жизнь твоя изменится. Мы все от души желаем тебе этого.

— Ты и в этом прав, конечно,— сказал Лалбаца, поразмыслив.

Ему было сейчас стыдно за себя. А Годердзи от души посоветовал:

— Брось ты этого Канкрэ. Дружба с ним к добру не приведет. И еще я тебе скажу, Лалбаца: каждый человек склонен к лени. Но в то же время труд кое в чем похож на вино — однажды почувствовав его вкус, пристрастишься к нему. Так вот, попробуй, почувствуй настоящий вкус труда...

Лалбаца не спорил. Слова Годердзи заставили его над многим подумать. Он сказал, как бы оправдываясь:

— Я обещал Канкрэ пойти с ним на этих днях на охоту. Слово мужчины дороже золота. Я свое обещание выполню. Но если он не исправится, тогда конец...

Годердзи хотел было спросить — когда и куда они собираются на охоту. Но Лалбаца взял уже в руки мотыгу. А тут еще пришел Тедо Таралашвили и передал Годердзи, что их срочно вызывают на совещание в Кварели.

15. КТО УБИЛ ОЛЕНЯ?

Беседа с Лалбацей оставила в душе Годердзи глубокий след. «Как долго я встречался с этим человеком,— корил себя Годердзи,— ругал его, и ни разу мне не пришло в голову поговорить с ним так, как сегодня, откровенно, тепло, по-товарищески. А он ведь именно в этом нуждался». И Годердзи снова вспомнил о тополе,

который рос у входа в авиационную школу и который он так поздно заметил.

В пятницу он, вернувшись из Кварели, решил на другой же день вечером пригласить к себе Лалбацу и продолжить с ним дружеский разговор.

В субботу с утра он искал Лалбацу, но его на участке не было. Не вышли, оказывается, на работу и Канкрэ и Гагрна. Обычно так оно и случалось: если из этой тройки не выходил на работу один, то исчезали и двое других. Годердзи подумал, что они, вероятно, отправились на охоту, как о том говорил Лалбаца.

Вечером после работы Годердзи шел в сельсовет, и ему встретился Ниортава. Юноша любил Ниортаву настолько, насколько могут любить друг друга очень разные по характеру люди.

Годердзи принадлежал к тому типу людей, которые воспринимают жизнь активно. Они всегда как бы на взводе, как курок ружья. Жизнь для них полна прежде всего действия, героики.

Ниортава же больше любил наблюдать жизнь, нежели в ней активно участвовать. И он охотнее воспринимал ее не в героическом плане, а скорее в смешном, комическом.

Этим, несомненно, определялись и их совершенно разные темпераменты.

Годердзи остро и сложно ощущал жизнь, Ниортава — спокойнее, проще. Но юноше нравилось то, что Ниортава легко переносил трудности, никогда не плакался встречному-поперечному, не омрачал товарищей своим дурным настроением, хотя жизнь его была отнюдь не веселой.

— Как поживаешь? — спросил мельника Годердзи.

— Лучше всех.

— У тебя, я вижу, хорошее настроение.

— Еще бы! — ответил Ниортава.— На нашей мельнице ласточки свили много гнезд. Вчера, в мое отсутствие, мальчишки разорили одно из них. Ох, попадись они мне, я бы выдрал за уши этих озорников. Но вот я иду сейчас сюда и вижу: две ласточки суетятся вокруг разрушенного гнезда, тащат в клювах солому, пух. Они заново строят гнездо. Их упорство достойно подражания.

Годердзи от души рассмеялся, а Ниортава хитро подмигнул ему.

— Если ласточки заново строят гнездо, то на что же ты смотришь, парень?! Если бы я был писателем, то я сказал бы всем неженатым и незамужним: «Как вам не стыдно, почему вы не вьете свои гнезда? Жизнь — величайшее счастье, и вы должны познать его в полной мере».

— Все это хорошо,— улыбнулся Годердзи,— но почему ты сам не показал нам в этом деле примера?

— Я не такой счастливый, как ты, Годердзи,— ответил Ниортава.— Старое время, будь оно проклято, так сильно потрепало меня, что я превратился в летучую мышь и укрылся на мельнице — летучие мыши ведь только и живут на старых мельницах да в разрушенных крепостях.

Ниортава положил руку на плечо юноши.

— Эх, и мне тяжелое наследство оставило старое время,— вздохнул Годердзи.

— Что ты? — возразил Ниортава.— Да продлит бог жизнь твоих близких. Но твой дедушка ведь умрет, и твоей несчастной тетке тоже не суждено долго жить. Старость, вероятно, и к тебе подкрадется в один прекрасный день. Ты останешься совершенно одиноким, таким, как я. Но я-то уже стар, а ты еще молод. Тяжело умирать одиноким, но жить одиноким еще хуже.

Прощаясь с ним, Годердзи между прочим спросил:

— Не ловил ли ты на этих днях рыбу?

— Рыбу? — удивился Ниортава.— Тебе должно быть известно, что рыбу у нас не едят в те месяцы, в названиях которых отсутствует буква «р». Позавчера ребята просили меня сопровождать их в охоте на оленя, да не на кого оставить мельницу. Ты, вероятно, слышал, что произошло со мной, несчастным. Вышел я из мельницы и наскочил прямо на оленя. Он был в двадцати шагах от меня! И что, ты думаешь, я сделал? До того опешил, что забыл про ружье, которое болталось у меня за плечами, и швырнул в оленя камень.

— Что же было потом?

— Потом? Олень и счастье похожи кое в чем друг на друга,— ухмыльнулся Ниортава.— Обоих легко прозевать... Их нужно вовремя схватить за рога.

Они уже было распрощались. Уходя, Годердзи крикнул мельнику:

— Кто приглашал тебя на охоту?

— Канкрэ, Гагриа и Лалбаца,— ответил Ниортава
— Куда они отправились?
— К Дуруджскому ущелью.

Годердзи так и предполагал: у оленя нет другого пути, как через Дуруджское ущелье.

В прошлую ночь юноша поделился переживаниями со своим другом Вано Хелашвили. Обычно спокойный Вано на этот раз реагировал очень горячо:

— Как жаль, что этот негодяй Канкрэ убежал от нас в ту ночь. Мы бы его проучили.

— Ничего, за нами не пропадет,— успокоил его Годердзи.

— Знаешь,— сказал Вано,— у моего отца был норовистый жеребец. Никто не мог объездить его. Отец наполнил хурджин[1] галькой, взвалил его на коня, сам сел верхом, ввел коня в Алазань и плетью начал водить перед глазами коня вверх, вниз, вверх, вниз,— пусть приучается к плетке! С тех пор этого дикого жеребца нельзя было узнать, таким он стал шелковым. Поверь, Годердзи, что Канкрэ ждет та же участь.

Годердзи решил отправиться в Дуруджское ущелье. Вано вызвался сопровождать Годердзи. Тот решительно отказался. Тогда Вано предложил ему своего тушинского коня, крепконогого и привычного к горам, и свое охотничье ружье.

Утренние тени еще лежали в Дуруджском ущелье, когда Годердзи пустился в путь. Постепенно края облаков, нависших над Кавкасиони, светлели, и из ущелья уплывали клочья белого, как снег, тумана. На фоне зеленовато-серых гор выделялись верхушки елей, похожие на зубцы огромной расчески.

Вершины скал, с наседавшими одна на другую серыми глыбами, казались сказочными крепостями и замками, вознесенными к небу.

С утесов взлетали орлы. Они круто забирали ввысь и устремлялись в просвет среди облаков.

Горная река Дуруджи, давшая имя этому ущелью, прыгала по террасам, покрытым мхом, кипела среди валунов, похожих на трупы великанов.

---

[1] Хурджин — переметная ковровая сума.

Все выше и выше поднимался Годердзи. Его конь медленно плелся, вытянув шею и похрапывая. Он явно устал. Всадник пожалел его, слез, закрепил на седле поводья, ружье и пошел вперед, наслаждаясь сказочной красотой этих мест.

Вдруг он услышал ржание коня. Вслед за этим раздался стук копыт и донесся чей-то возглас. Вскоре Годердзи лицом к лицу столкнулся с приземистым человеком в чохе[1], который вел на поводу низкорослую лошадку.

На голове у незнакомца была рыжая папаха, на коротких ногах — пестрые пачичи[2], какие обычно носят горцы. Спереди висел черный кинжал.

Путник оказался лезгином. У него было благообразное лицо и длинные усы, торчавшие кверху, как пики. Голубые его глаза блестели. Улыбаясь, он обнажил крепкие белоснежные зубы.

Говорил он по-грузински плохо, то и дело употреблял слово «кацо», но «ц» не выговаривал, и вместо «кацо» у него получалось: «касо».

Выяснилось, что этот лезгин два дня в пути, едет из Дагестана и вчера переночевал у Абашской крепости.

Годердзи поинтересовался, не встречал ли он в пути охотников. Охотников он не встречал, но ему попались три гончих собаки.

— Какой масти? — спросил Годердзи, угощая лезгина папиросами.

Тот задымил и припомнил, что одна собака — пестрая, вторая — черная, а третья — с желтыми подпалинами.

«Собаки Лалбацы»,— подумал Годердзи.

— Значит, охотников не встречали? — повторил он.

— Говорю же тебе, касо, не встречал,— раздраженно ответил лезгин.

Он добавил лишь, что потом несколько раз слышал чей-то свист и лай собак.

— Где слышал?

Лезгин, с трудом произнося грузинские слова, ответил, что надо вдоль Дуруджи проехать до развалин старой церкви, потом свернуть вправо и подняться по тро-

[1] Чоха — верхняя мужская одежда, черкеска.
[2] Пачичи — шерстяные носки, ноговицы.

пинке до крепости на горе. Как раз там он и слышал свист и лай собак.

— А как называется эта крепость? — спросил Годердзи.

— Не знаю, касо,— ответил лезгин.

Нетерпение охватило Годердзи. Он поблагодарил лезгина, еще раз угостил его папиросой, и они расстались.

Только через час Годердзи приблизился к заросшим плющом развалинам старой церкви. Он свернул направо и двинулся вверх по каменистой тропинке. Она была настолько крутой и узкой, что он предпочел спешиться. Старый ягнятник сидел на развалинах церкви и, подняв крыло, беспечно чесался.

Охотничий азарт захватил Годердзи, и он выстрелил в хищника.

Не успел Годердзи подойти к свалившемуся ягнятнику, как из лесу выскочила черная собака и, дико лая, набросилась на раненого хищника. Тот, защищаясь, бил по земле своими мощными крыльями и так хватил ее по спине своим окровавленным клювом, что собака завыла и бросилась назад в лес.

Подобрав убитого ягнятника, Годердзи поехал с трофеем дальше. Он свистел, звал собаку, но она словно провалилась сквозь землю.

Годердзи остановился у пещеры, скрытой в скале. Он вошел в пещеру.

На возвышенности стоял высеченный из камня гроб, в котором лежал скелет рослого человека. В стену были вбиты два заржавленных железных обруча. Юноша когда-то бывал в Хевсуретии и узнал горское погребение.

Годердзи привязал коня к железному обручу, прихватил ружье и по узкой, загромождённой свалившимися сверху камнями тропинке, извивавшейся у подножия скалы, двинулся пешком, так как по ней нельзя было проехать всаднику. Дорога привела его на площадку, окруженную с трех сторон ельником. В центре высились развалины крепости, поросшие кустарником. Некогда она занимала, по-видимому, всю гору.

Его внимание привлек огромный обломок сланца. Он подошел к нему и в ужасе отпрянул. На нем, свернувшись корабельным канатом, лежала огромная змея, торжественно, словно в экстазе, подняв свою голову

размером с колено буйвола. Острые и холодные ее глаза сверкали подобно алмазам. Вокруг нее резвились змееныши.

Годердзи, как зачарованный, загляделся на это удивительное зрелище.

Тут до его слуха донесся свист из ельника и возгласы «Гоп! Гоп!» Он подскочил к сохранившейся в стене крепости бойнице и стал всматриваться в ельник. Оттуда послышался лай собак.

Только охотник может испытать и понять то волнение, которое вызывает лай гончих. Зверя еще не видно. Залает одна собака и замолчит. Замрешь и слышишь биение собственного сердца. Напряженно вглядываешься в тихий еще лес. Вот залает вторая, третья собака. И снова тихо, слышен даже хруст сухой хвои. Но тишина эта обманчива. Пройдет минута, и весь лес встрепенется, заживет, зашумит. Соберутся вместе гончие и с радостным лаем погонят зверя к притаившимся в засаде охотникам.

Так было и в тот день. Годердзи не отходил от бойницы. И вот раздался дружный лай гончих. Кольцо ельника будто сразу разорвалось. И он увидел, как прямо к развалинам крепости стремительно несется олень. По его следу мчатся разъяренные собаки. Когда олень находился шагах в двадцати от него, в ельнике сверкнуло дуло ружья и один за другим грянули два выстрела. Олень рухнул как подкошенный, ударившись мордой о землю.

Годердзи подошел к зверю. Из раздутых ноздрей оленя хлынула кровь. Глаза закатились. Уткнувшись головой в траву, он задрожал как в лихорадке, несколько раз ударил ногами о землю, как бы стараясь в последний раз оставить на ней след своего существования, и затих.

Вслед за этим раздался чей-то крик. Годердзи повернулся и увидел бежавшего к нему с ружьем в руке Канкрэ.

Канкрэ узнал его и заорал:

— Не хочешь ли ты присвоить себе и этого оленя?!

Годердзи спокойно ответил:

— Положи ружье, сядем и поговорим.

— Я и без ружья разом прикончу тебя! — бесился Канкрэ.

— Брось попусту хвастаться,— сказал Годердзи.

Канкрэ швырнул ружье на землю и изо всей силы ударил Годердзи. Годердзи выдержал удар и сам ударил Канкрэ так сильно, что тот упал на одно колено. Но он тут же вскочил и еще раз ударил Годердзи в подбородок.

— Не хочешь, значит, поумнеть,— угрожающе произнес Годердзи и ответил таким ударом, что Канкрэ дико зарычал от боли.

Он вскочил и хотел ударить Годердзи по голове. Но тот изловчился, вовремя нагнул голову и так стукнул его снизу в лицо, что у Канкрэ изо рта и носа хлынула кровь и он растянулся на земле.

Годердзи наступил ему на грудь.

— Теперь, надеюсь, ты будешь разговаривать со мной по-другому. Я тебе не Коберидзе.

— Баба я и дурак,— злился Канкрэ,— что не убил тебя в ту ночь, когда ты целовал свою потаскушку под старым дубом.

— Я не люблю бить лежачего, но вот тебе еще за то, что ты оскорбляешь эту девушку,— крикнул Годердзи и ударил Канкрэ ногой.

Канкрэ заревел от боли.

— Теперь встань, да смотри не размахивай руками, не то я еще покажу тебе, как надо стрелять,— пригрозил Годердзи.

Канкрэ поднялся, провел рукой по окровавленному лицу и вытер ее о штаны.

— Ложись,— приказал Годердзи.

Канкрэ рванулся было к придорожным камням, но Годердзи преградил ему дорогу.

— Ложись сейчас же! — строго повторил он.

В это время навстречу к ним по спуску шел рослый человек, в котором Годердзи узнал Лалбацу. Он был одет в пестрые лохмотья. На спине у него висел мешок из шкуры теленка.

— Что случилось? — спросил Лалбаца.

— Ничего особенного,— ответил Годердзи.— Я же говорил тебе, Лалбаца, чтобы ты образумил Канкрэ.

Лалбаца уставился на окровавленного Канкрэ.

— Зря я в тебя не выстрелил, как только увидел,— прорычал Канкрэ, обнадеженный приходом Лалбацы.

— Лалбаца, будь другом, подай-ка то ружье,— сказал Годердзи и указал пальцем на ружье Канкрэ.

Он открыл затвор и вынул оттуда пустые гильзы.

— Вот так всегда ошибается этот бедный Канкрэ,— сказал он улыбаясь.— Ружье-то у него пустое. И патронташ, как я вижу, пуст.

Лалбаца попытался их примирить:

— Вы оба такие хорошие парни, не понимаю — зачем вы ссоритесь.

— Нет, ты ошибаешься, Лалбаца,— заметил Годердзи.— Если бы Канкрэ был хорошим человеком, то я с ним так не поступил бы. Ты меня с юности знаешь, Лалбаца. Слыхал ли ты, чтобы я с кем-нибудь так жестоко подрался, побил бы кого-нибудь? Я не только товарища зря не обижу, но и свою собаку Мгелу никогда не ударю. А этот человек так оскорбил меня...

Канкрэ оправдывался:

— Чем я виноват перед тобой? Это ты не даешь житья ни мне, ни Лалбаце.

Но Лалбаца не поддержал его.

— Я на Годердзи не в обиде,— сказал он.— Годердзи желает нам добра.

— Канкрэ опустил голову. Он не ожидал этого от Лалбацы.

— Я не даю ему житья? — передразнил Годердзи.— А кто пристает к этой сироте Нуну? По-бандитски напал на нее. Да еще жалеет, что меня тогда не убил. Теперь охотится на оленя. А ведь охота на оленей запрещена. За одного оленя ему положено пять лет тюрьмы. А за все остальное сколько, пусть-ка сам сосчитает!

Канкрэ молчал. Говорил Лалбаца:

— Годердзи прав. Я разговаривал вчера с тобой об этом. И я решил отныне побрататься с Годердзи. Он, я вижу, хочет добра и мне и тебе, Канкрэ. Теперь я прошу тебя, Годердзи: прости Канкрэ, прости и меня, так как я хоть и не убивал оленя, но если охотники делят по-братски добычу, то и вину обязаны разделить поровну. Если ты простишь нас, то лучших братьев, чем мы, тебе не найти.

Годердзи тронули слова Лалбацы. Он подошел к Канкрэ и сказал:

— Дай слово мужчины, что ты исправишься.

Канкрэ хмуро ответил:

— Даю.

— Встань,— сказал Годердзи и протянул ему правую руку.

Лалбаца снял со спины мешок и на радостях вынул оттуда вино и закуску. Появившийся из леса Гагриа застал их уже за пиршеством.

Первый рог поднял Лалбаца.

— Воробей,— сказал он шутя,— самая простая птичка, но и она дорожит жизнью. Я, конечно, тоже дорожу своей жизнью, но припомните сказанное мной сегодня, братья: если нашей стране понадобится моя жизнь, я отдам ее.

У Лалбацы взял рог Канкрэ.

— И я не пожалею для нее жизни,— твердо произнес он и выпил.

Очередь была за Гагриа. Он поднял уже рог и произнес какие-то слова, но их неожиданно заглушил страшный рев оленя, донесшийся сюда с Лысой горы. Все поднялись и посмотрели в ту сторону.

Невдалеке под сосной стоял одинокий зверь и жалобно трубил.

— Олень, спустившийся с гор в Бермуху, искал, должно быть, свою подругу,— предположил Гагриа.— Теперь же она ищет и зовет его...

Канкрэ побледнел.

— Пусть моя мать станет моей женой,— поклялся он страшной клятвой,— если я еще раз убью оленя.

16. ЧТО УСЛЫШАЛ ДЯДЯ НИКО ПОД ИНЖИРНЫМ ДЕРЕВОМ

Цихистави оставил дом Нико Мирианашвили еще до окончания ужина: его вызвали телефонограммой в Кварели.

Тамада распорядился заново накрыть стол на балконе. Отсюда как на ладони видна была Алазани, а за нею — Кавкасиони. Небо, усеянное звездами, на севере заслоняли горы. Их гордо вознесенные пики были повязаны белыми ледниковыми башлыками. С востока по небу плыли облака того красноватого оттенка, какой

бывает обычно на спинах у кахетинских фазанов. Коринтели был очарован этим зрелищем.

— Эй ты, мечтатель, кувшинчик ждет тебя! — загремел тамада.

Коринтели ответил:

— Хватит с меня, дядя Нико!

— Пир устроен для тебя,— настаивал тамада.— Пей понемногу, я не стану, ей-богу, принуждать тебя пить до конца.

Но все обернулось совершенно по-другому. Тетя Варя оставила свое место, обошла довольно длинный стол и села рядом с Коринтели. Дядя Нико почувствовал что-то недоброе.

— Может быть, вам не понравился мой приход, mon cher gendre![1]— вызывающе обратилась она к Коринтели.

— Что вы, наоборот...

— Ах, кто знает, месье профессор, вы человек, получивший образование в Европе, и, вероятно, помните афоризм одного епископа-иезуита: «Les mots sont donnés pour cacher les pensées»[2].

— Я, к вашему сведению, воспитывался не в школе иезуитов, и мне не по душе их афоризм.

— А вы, mon cher gendre, должно быть, полагаете, что те, кто вас воспитывал, выглядят ангелами в сравнении с иезуитами?

— Мои воспитатели — почтенные, передовые ученые. Они ненавидят иезуитов и фашистов.

Пошел обмен колкостями.

— Неужели в Европе еще остались такие ученые?

— Вы, я вижу, не читаете газет.

— Я уже ничего не читаю, мой милый зять!

— Это почему же?

— Нет времени.

— Чем же вы заняты?

— Революция наказала меня: мне, прямой наследнице князей Дадиани, приходится вязать рейтузы для колхозниц.

— Ого, и это вы считаете наказанием? Я бы назвал его слишком легким наказанием!

---

[1] Мой дорогой зять! (франц.)

[2] Слова даны, чтобы скрывать мысли (франц.)

Тетя Варя дымила папиросой и говорила заплетающимся языком:

— Мой отец был видным князем... ганджииским вице-губернатором, а я вот вынуждена вязать рейтузы... И вы находите это гуманным?!

В разговор вмешался тамада:

— Если ты не испортишь нам сегодняшний прекрасный вечер, тетя Варя, то я, клянусь Бахусом, назначу тебя вице-губернатором преисподней!

— Ты знай свое дело, толстяк, а нам не мешай! — пренебрежительно бросила ему тетя Варя и подняла свой кувшинчик.

Она хотела выпить с Коринтели, но последний отказался, и тогда усатая дама промолвила иронически:

— Вы, я вижу, анемичный человек!.. Мужчина должен быть с горячей кровью, сильным и выносливым, как буйвол.

— У меня повышенное давление,— оправдывался Коринтели.

— А я сомневаюсь, есть ли вообще у вас кровь,— съязвила тетя Варя.

Коринтели нахмурился.

— У меня, конечно, не голубая, а крестьянская кровь, но я могу со многими посоревноваться в выносливости.

— Помилуйте, если вам так неприятна голубая кровь, почему же вы женились на женщине из семьи Вачнадзе? Искали бы себе какую-нибудь дородную крестьянку!.. А впрочем, прекратим спор и выпьем!

В это время подошла Медея и прошептала ей что-то на ухо.

— Не сердитесь, mon gendre,— продолжала тетя Варя.— Вот племянница сделала мне замечание — просит, чтобы я вас не обижала. Но я и не хотела этого. Я хочу лишь поговорить с вами откровенно, как с близким родственником. К чему ложь и скрытность? Я тоже не согласна с афоризмом иезуитского епископа...

Тамада распорядился, и в гостиной заиграли фокстрот. Он попросил Сускию Миидели пригласить кого-нибудь из мужчин. Она покраснела и отказалась. Тогда к ней подошел Церодена, и она в конце концов согласилась танцевать.

Тетя Варя сказала Коринтели:

— Вы многое потеряли, дорогой зятек! И вообще

вы, ученые, лишены галантности. Мужчина должен уметь и танцевать, и играть, и пить. В молодости за мной ухаживали два профессора, но я не могла полюбить этих неряшливых мужчин, у которых то не хватало пуговиц на пиджаке, то еще что-нибудь оказывалось не в порядке.

— Не знаю, к какой категории ученых вы отнесете меня,— заметил Коринтели,— но я думаю, что у настоящего ученого мало времени для щегольства.

Коринтели нахмурился. Пикировка с тетей Варей его утомляла.

— Чего грустишь, Вахтанг,— услышал он голос Зураба Арадели.— Посмотри на нашу Алазань, на наш несравненный Кавкасиони. Видишь, какая юная луна взошла над его снежными вершинами. Сколько раз мы мечтали с тобой еще хоть раз увидеть Алазань и Кавкасиони, когда бродили где-то в джунглях, у черта на куличках. Так давай же веселиться, брат мой Вахтанг!

Коринтели в ответ грустно улыбнулся. Взгляд его скользнул в сторону гостиной, где еще танцевали Церодена и Сусния. Он видел, как этот лысый толстяк с короткой шеей обхватил Сускию за талию, прижимал к себе ее красивое чуть полнеющее тело. Его лицо лоснилось, он что-то шептал ей, пронзительно хихикая, а она густо краснела и старалась отодвинуться от него.

Коринтели наблюдал за каждым ее движением. Он жалел, что не опередил Цородену и не находится сейчас на его месте. Сияние ее волос напоминало пламя.

Тетя Варя вытянула свою длинную шею и шепнула ему:

— Вы, кажется, немного ревнуете, а?

— Что вы! Кого? К кому? — спросил Коринтели.

— Вам не удастся ничего скрыть от меня,— ответила тетя Варя.— Я ведь отлично знаю все, что происходило с вами за двадцать лет вашей жизни в Телави. Я знаю и то, что до моей племянницы вам нравилась дочь пекаря Луки, и то, что Суския пыталась отравиться как раз в тот день, когда вы отправились в Париж. Ах, какие глупые были тогдашние девушки! Ведь нынешняя комсомолка не отравится из-за любви — и это правильно: из-за мужчин нужно не яд пить, а разве что воду с сиропом.

Тетя Варя громко засмеялась.

— Не бойтесь, я Медико ничего не скажу. А если и скажу, то, уверяю, она не обидится. Вы воспитывались в Париже и лучше моего, вероятно, знаете, что мужское увлечение — не грех, а доблесть; а женщина, которая верна мужу, превращается в плохо размешанное тесто.

Коринтели рассердился.

— Простите, но я не давал повода для подобных рассуждений. Сускню Миндели я действительно знаю давно, однако из этого вовсе не следует, что...

— Mon cher gendre! — воскликнула тетя Варя.— Неужели вы и трезвый такой же обидчивый? Мы же с вами не на поминках, а на пиру, и я просто шучу.

За столом становилось все скучнее. В конце стола, как вороны на церковной колокольне, сидели, нахохлившись, женщины в черном. Но чем быстрее гасло веселье, тем энергичнее действовал тамада.

— Батоно Зураб! — обратился он к Арадели.— О чем ты с таким азартом рассказываешь Гиви Дадиани? Всем нам интересно тебя послушать.

— Не такой я рассказчик, чтобы всех вас развлечь,— ответил Арадели.— Мы здесь с товарищем Гиви беседовали об американской прессе. Я убежден, дядя Нико, что если бы продажным буржуазным журналистам Европы и Америки отрубить головы, то не было бы новой войны.

— Ты несколько ошибаешься, мой Зураб,— оживился Коринтели.— Их пресса — чертова кухня, а газетчики — только повара. Чтобы не было войны, нужно прежде всего отрубить головы всем тем, кто содержит эти чертовы кухни, является их хозяевами, кого французы называют политиканами.

— Никого я так не ненавижу, как этих доморощенных политиков,— откликнулась тетя Варя.

— Тетя Варя ненавидит всех, кроме своих родственников,— прокомментировал тамада.

— Если хочешь знать, толстяк,— не смолчала тетя Варя,— то любить родственников, гордиться своей фамилией — старый обычай истинных аристократов.

Дядя Нико подумал с усмешкой: «Сколько прошло времени, а эта выжившая из ума женщина все еще держится за свой мнимый аристократизм».

Коринтели пересел к Зурабу Аradели. Медея заняла место мужа.

Дядя Нико очень любил Коринтели, хотел ему всяческого добра и потому, вероятно, принимал иногда желаемое за действительное. Так, например, семейная жизнь Вахтанга и Медеи рисовалась ему в самых радужных красках. И он, разумеется, от души этому радовался.

Он знал, что тетя Варя давно собиралась поехать в Бермуху и погостить там. И он тревожился: если этот крокодил в юбке отправится туда, то он может перевернуть там все вверх дном, может разрушить счастье Коринтели. Нужно предотвратить это. Но как? Разве запретишь Медее принять родную тетку?

Хотя Нико и выпил сейчас больше всех, но мозг его пока работал исправно. Он стал прислушиваться к тому, о чем говорила тетя Варя с Медеей.

— Что произошло с тобой, милая? — набросилась на нее тетка.— Как ты могла выйти замуж за коммуниста? Чтобы княжна Вачнадзе разыскала в Париже коммуниста — это же quelque chose ridicule[1]. Эх, не было меня рядом с тобой. Разве я позволила бы тебе сделать такую глупость?!

— Кто сказал тебе, что Вахтанг коммунист? — защищалась Медея.

— Ты сначала ответь: он и в Париже болтал такой вздор?

— Вахтанг там был таким же, как и здесь, и говорил то же, что и здесь,— сказала Медея.

— И ты наивно думаешь, что твой муж не коммунист? Не верь,— он замаскированный коммунист.

— Нет, зачем же скрывать? Он действительно не член партии.

Дядя Нико старался не пропустить ни одного слова из этого разговора. Но тут, как назло, возникла ссора между Дадиани и Цероденой. Дадиани обозвал его спекулянтом.

Арадели попытался вывести Церодену из-за стола, но тот уцепился обеими руками за свой стул, и его нельзя было сдвинуть с места. Дадиани полез в драку. Учитель Чхетиани кое-как успокоил и увел его.

[1] Нечто смехотворное (франц.).

Скандал многих напугал. Поспешили удалиться одетые в траур дамы. Стол заметно опустел.

Церодена перепил и развязно приставал к Сускин. Он всячески поносил Гиви Даднани, называл его лысым дураком, забывая при этом, что сам лыс, как тыква; лишь по бокам и на затылке у него сохранился пушок, какой обычно остается на лугу, где паслось стадо гусей.

Дядю Нико возмущало поведение инженера, но он придерживался старой народной поговорки — «гость от бога», и это сдерживало его. Когда же терпению пришел конец, тамада придумал довольно хитрый способ избавиться от неприятного гостя: он приказал принести большую вазу, наполнил ее вином, выпил до дна и протянул этот необычный сосуд Церодене.

Тот вынужден был последовать примеру тамады. Не трудно сообразить, что произошло с ним буквально через несколько минут,— он уснул, и Суския могла быть уже спокойна.

Теперь разбушевалась тетя Варя. Оставив Коринтели, она стала открыто издеваться над Зурабом Араделн, назвала его «профессором тараканов», «духовным и физическим уродом» (он слегка косил глазами). Она ругала его за то, что он осмелился дурно отозваться при ней об «американской цивилизации».

Медея, остерегаясь, как бы тетя не сказала что-нибудь еще более неподобающее, схитрила и шепнула ей:

— Ты, наверное, устала, тетушка, от этого общества. А у меня к тебе дело. Выйдем в сад.

— И мне нужно тебе кое-что сказать,— встрепенулась тетя Варя.— Я ведь потому и просила тебя приехать в Телави. Я получила письмо от твоей тетки Евфэмии.

Тамада был охвачен жаждой настоящего, большого кутежа. Но он видел, что никто из сидящих за столом не может, увы, составить ему компанию. Поэтому он и не мог закончить пир так, как ему бы хотелось. Все пошло, как говорится, по воле волн.

Когда собралась уходить Суския, дядя Нико подмигнул Коринтели: проводи, мол, ее. Старик боялся, что проснется Церодена и снова привяжется к ней. Этого, вероятно, опасалась и сама Суския. Она торопилась.

Должно быть, потому она и забыла свою сумочку. Дядя Нико обнаружил ее на пианино и, будучи уверен,

что Суския и Вахтанг не дошли еще до ворот, поспешил за ними. Но во дворе никого не было. Он заглянул в сад. И там — никого.

Тогда дядю Нико осенила мысль: «Сумочку можно будет передать Сускии и завтра, а сейчас дай-ка я сяду и малость передохну после трудов праведных». И он спокойно уселся на своей старой любимой скамеечке, расположенной среди инжировых деревьев.

Не успел он сесть, как до его слуха донеслись знакомые голоса тети Вари и Медеи.

— Да, я с нетерпением ждала твоего приезда, Медико,— говорила одна.

— Когда же ты получила письмо от тети Евфэмии? — спрашивала другая.

— На прошлой неделе.

— Почему же ты до сих пор мне его не переслала?

— Боялась, что оно может попасть в руки твоего мужа.

— О чем же тетя Евфэмия пишет?

— Люсьен, оказывается, болен, он только в апреле вернулся из Ниццы.

— Что еще? Что нового в Париже?

— О парижских новостях ты можешь узнать из газет. Ты о другом спроси, детка. Тетка Евфэмия пишет: Люсьен очень тяжело переживает разлуку с тобой. На него напала черная меланхолия, потому-то он и отправился в Ниццу. Этим летом он предполагает съездить в Италию. Из ее письма у меня создалось впечатление, что...

Медея перебила ее:

— Тише, как бы нас кто не подслушал... Так что ты говоришь?

— Ты еще дитя и находишься под влиянием тех глупостей, которые каждый мужчина вбивает в голову своей жене сразу же после женитьбы,— продолжала тетя Варя.— Ты до сих пор не разобралась в том, какой необдуманный шаг ты совершила.

Ты не даешь себе отчета в своих поступках. Знай, Медико, три четверти молодых людей сомнамбулисты. Кто только ведает, сколько глупостей вбивают в наше сознание школа и книги, газеты, друзья и приятели — все то, что обычно называют «средой», «окружением».

Мы так и ходим одурманенные до тех пор, пока виски у нас не поседеют.

Ты не думай, что я только на тебя сержусь. Я и на себя негодую — сама давно потеряла свое счастье, впав в сомнамбулическое состояние. В молодости я не была такой невзрачной, как теперь. Ты ведь знаешь — оспой я заболела уже после замужества. Я была дочерью мегрельского князя, генерала Дадиани, а это — немаловажно для невесты.

Вокруг меня увивались самые блестящие грузинские князья — офицеры Нижегородского полка: Багратиони, Амилахвари, Амиреджиби, Палавандишвили. В те времена в меня влюбился офицер этого же полка, крупный помещик, балтийский барон Мантейфель,— его из-за меня убил на дуэли князь Мухранский.

Наши бабушки, матушки, тетушки всегда твердили нам, девушкам: «Изводите каждого влюбленного! Выжимайте из него все соки! Не разрешайте целовать себя выше запястья до тех пор, пока он не склонится как тростиночка перед вами, и не один, а семь раз... И только тех удостойте чести жениться на вас, у кого хватит терпения просить вашей руки с таким упорством, с каким начетчики твердят свои молитвы».

А потом, помню, красавец корнет, влюбленный в меня,— князь Мачабели — пустил себе пулю в лоб из-за того, что я ему отказала. Отец мой испугался, как бы родственники Мачабели не отомстили нам, и увез меня к тетке в Сухуми. В Сухуми в меня влюбился грек-миллионер, некий Димитриади, владелец табачных фабрик, у которого были крупные акции в оттоманском имперском акционерном обществе «Табак-Режи» в Константинополе.

Этот грек буквально лишился ума, хотел бросить красавицу жену — итальянку Марчеллу с тремя детьми. И я ему отказала только потому, что придерживалась мнения, вычитанного из глупых романов, будто юные принцессы могут выходить замуж лишь по любви. А этот грек мне не нравился — у него, видишь ли, было солидное брюшко и фурункулы на шее. Какие пустяки! Он, этот грек, оказался очень самолюбивым человеком. Когда отец мой по моему настоянию вежливо отказал ему, он перестал посещать рауты, устраиваемые моими бабушками и тетушками.

Однажды, когда мы возвращались из офицерского клуба, он довел меня до дому, пожал руку и почти равнодушно произнес: «Мы с вами больше никогда, никогда не встретимся, но только смотрите не пожалейте об этом, мадемуазель!»

А потом, в Тбилиси, увязался за мной этот грузинский князь Джорджадзе, твой злосчастный дядя, у которого всего и было — в Кварели сорок гектаров земли да в Тбилиси невзрачный дом, заложенный и перезаложенный, и мельница на Алазани.

Внешне он вел себя как истинный князь, участвовал в выборах дворянского банка, посещал банкеты. Позже я узнала, что он не тот, кем прикидывался. Целыми днями слонялся он по редакциям грузинских газет.

Карманы у него были вечно набиты социалистическими газетами и прокламациями. Оказалось, он прятал у себя на мельнице разных социалистов и кормил их. Но этот человек так влюбился в меня, что не семь, а десять раз преклонил предо мной колени. Я послушалась советов бабушек и матушек и вышла за него замуж.

Что произошло позже, ты хорошо знаешь. Я не любила длинноволосых социалистов, каждый день имела из-за них неприятности с мужем. А потом пришли большевики, отобрали землю и мельницу. И вот я осталась на милость божью и вяжу теперь рейтузы деревенским бабам.

Советую тебе, дочка, внять голосу разума, пока ты красива и молода. Ты долго жила в Европе и знаешь: красота — капитал, приобретенный без трудов и жульничества; на проценты от него женщины живут и обеспечивают свою старость.

Твоему мужу доверяют. Уговори его, пусть попросит правительство снова направить его в командировку за границу по научным делам. Поезжай и ты с ним,— на болезнь можешь сослаться.

Как это видно из письма тети Евфэмии, месье Шаркутье тяжело переживает разлуку с тобой. Я представляю, как ты сама натерпелась в Бермухе. И чем дальше, тем больше ты будешь жалеть о счастье, которое упустила из рук.

Дядя Нико сидел ни жив ни мертв. Он стеснялся подслушивать, но он не мог не слушать,—ведь все это

кровно касалось его дорогого Вахтанга. Он ждал, что же ответит Медея.

— Что ты говоришь, тетушка, как это можно? — робко запротестовала Медея.— Правда, я уже не люблю Вахтанга, но... и изменить трудно... Да и потом, примет ли меня Люсьен?

— Примет, с удовольствием даже примет! Я завтра же напишу Евфэмии, чтобы она уточнила свои две-три иносказательные фразы. Ты ведь знаешь, что в таких случаях французы и немцы не такие дикари, как мы. Европейским мужчинам вообще свойственно больше ценить своих жен, когда они им изменяют.

Ты еще дитя и потому так боишься измены. Когда же Люсьен узнает, что ты изменила своему соплеменнику из-за любви к нему, он будет носить тебя на руках! Всё это отлично понимают жены, наставляющие рога своим мужьям.

История, моя милая, полна примеров, когда верные своему чувству люди шли на эшафот, а предатели ценой измены наживали богатства и даже троны.

Ты молода и еще не знаешь, что мужчина груб, как рогатая скотина, до тех пор, пока жена ему на самом деле не наставит рога. Когда же это случится, они становятся совсем иными. Жены-изменницы садятся тогда на них верхом и погоняют, как хотят.

Кроме того, с каждым мужчиной происходит одна и та же беда: чем больше он стареет, тем жаднее глядит на чужих жен.

Вот твой муж, например, солидный казалось бы, профессор. Сегодня он был в дурном настроении и сидел нахмурившись до тех пор, пока не появилась эта врачиха — дочь пекаря Луки. Тут он начал пить и разглагольствовать! Неужели ты этого не заметила?

Для пущей убедительности тетя Варя сослалась уже не на свой богатый житейский опыт, а на... птиц.

— Известно,— поучала она свою племянницу,— что ни самки скворца, ни самки соловья не поют, а поют только самцы. И все только для того, чтобы вскружить головы самкам...

Дядя Нико слушал все это, вытянув шею. Ему было не по себе,— надоело сидеть на скамеечке в напряженной позе, противно было слушать циничные и пошлые

нравоучения тети Вари, но он не решался встать и уйти, боясь обратить на себя их внимание.

Тетя Варя между тем продолжала:

— Родственники зовут меня в Сухуми, но я готова поехать в Бермуху, чтобы помочь тебе разобраться в твоей семейной жизни и заодно отдохнуть. Если тебя это, конечно, не очень стеснит.

Понизив голос, тетя Варя сказала:

— Предупреждаю, опасайся дяди Нико. Он, я полагаю, тоже скрытый большевик. Меня он еще кое-как терпит,— думает: чем, мол, может навредить такая старуха. А ведь ты только вернулась из-за границы, и ты — внучка самого генерала Вачнадзе. Ни с кем не откровенничай, дочь моя. Как бы беды не вышло.

И еще тетя Варя произнесла таинственно и желчно:

— Скоро, вероятно, будет война. Я верю в то, что она станет их страстной пятницей... Об этом позаботится Европа!

Дядя Нико услышал шепот Медеи:

— Кажется, кто-то идет. Не вернулся ли Вахтанг?

— Пусть теперь приходит кто угодно,— громко ответила тетя Варя.— Я тебе раскрыла свою наболевшую душу. Не забывай, что я по происхождению Дадиани, а женщины нашего рода всегда были отважными — куда более отважными, нежели их мужья. Мужья перед ними дрожали.

Покинув дом Нико Мирианашвили, Коринтели и Суския спускались по тропинке. Суския была в туфлях на высоком каблуке, и Коринтели вел ее под руку. Ему была приятна близость этой женщины.

Когда тропинку преграждали камни или рытвины, Коринтели невольно крепче сжимал ее руку, и она доверчиво опиралась на него.

Она сказала:

— Я чувствую себя как во сне, Вахтанг!

— Почему?

— Трудно поверить в то, что ты рядом со мной. Ты казался мне таким далеким и недосягаемым...

— Почему?

— Как — почему? Ты известный ученый, объехавший весь свет, а я — провинциальный врач.

— Это не столь важно,— ответил Коринтели.— Каждый, кто добросовестно делает свое дело, достоин уважения.

Нахлынули воспоминания.

— Помнишь,— сказала Суския,— лет двадцать назад, когда мы учились в Тбилиси... Ты был гимназистом... Мы возвращались в ночь под рождество из церкви. Впереди с шумом и смехом шли твои товарищи. Мы отстали.

Я боялась возвращаться домой одна и не решалась попросить тебя проводить меня. И ты, будто разгадав мои мысли, сам робко предложил проводить меня. А я застеснялась и пролепетала что-то вроде: «К чему это? Не надо!..» И ты обиделся — безусый еще тогда юноша, ты не знал, что женское «нет» иногда означает «да».

В последний раз мы встретились на именинах Русико Одишелидзе. В тот вечер ты тоже проводил меня домой, а на следующий день уехал в Париж. Какой несчастной я тогда себя чувствовала! Если бы ты знал...

Коринтели хотел утешить ее, сказать, что он чувствовал себя еще более несчастным. Но она продолжала:

— О боже, как хорош был тот тихий осенний вечер. Под нашими ногами шелестели сухие листья, летевшие с виноградников. Мы шли молча... Потом ты обещал мне писать из Парижа, как только приедешь. Но ты так ничего и не написал... Почему, Вахтанг?

Коринтели взглянул на Кавкасиони, сверкающий под лунным светом, и с тяжелым сердцем ответил:

— Да, Суския, я тебе обещал писать и ничего не написал... Жизнь, к сожалению, устроена так, что мы не всегда имеем возможность выполнить обещанное, даже когда очень хотим выполнить... Это нам только кажется, что мы всегда сами направляем свою жизнь. Часто случается так, что жизнь таскает нас по своим кривым дорогам — она оказывается куда сильнее людей.

И мы, испытывая влияние окружающей среды, различных обстоятельств, меняемся, хоть и тешим себя мыслью о том, что остаемся такими, какими были вчера и позавчера.

Единственное, что не изменилось с тех пор, это Кавкасиони. И такого же цвета были облака над ним, точно ветер с тех пор ни разу не сгонял их с насиженных мест.

Я тоже помню тот последний вечер, когда я проводил тебя домой. В тот день я был немного пьян, и мы так же, как сейчас, шли под руку по этой же тропинке, и у меня так же, как сегодня, от волнения пересыхало во рту.

Суския рассмеялась:

— Неужели ты тогда волновался, Вахтанг? А я и не замечала.

— Волновался. Я только не подавал виду.

В темноте возникли два освещенных окна. Они приближались к дому пекаря Луки.

Навстречу им выкатилась черная собачонка. Она обнюхала их и радостно завизжала.

Все казалось Коринтели знакомым в комнате Сускии. На камине по-прежнему тикал будильник. Старая тахта была по-прежнему покрыта красным ковром и украшена плюшевыми мутаками и подушками. Но раньше здесь не было электричества, не так свежо был выкрашен пол и на стене не висел портрет молодого военного.

— Кто это? — спросил Коринтели.

— Это мой брат, Автандил,— ответила Суския.

Они сели на тахту.

Коринтели обнял Сускию и поцеловал. Но тут же она решительно поднялась и твердо произнесла:

— Нет.— Она посмотрела на часы и сказала: — Вот-вот должен прийти отец...

Коринтели был счастлив оттого, что встретился с Сускией — с женщиной, к которой в прошлом он не проявил ничего, кроме невнимания.

Легко подымался он в гору, точно не было ему сорока лет и не был он болен гипертонией. Восторженно смотрел он на небо, усеянное крупными звездами, глубоко вдыхал свежий воздух, и казалось ему, что с той ночи, когда он двадцать лет назад расстался с Сускией, до этой ночи, когда они снова встретились, ничего, в сущности, и не произошло, и сегодняшняя ночь была как бы продолжением той давней ночи.

Коринтели открыл калитку в отцовский двор и взглянул на развалины дворца Ираклия. Из пустых окон дворца смотрела на него как бы запертая там ночь. Ему вспомнилось, как в детстве он и его однокашники

считали дворец прибежищем сказочных дэвов. Умерли и они — и остался дворец без хозяев...

«О печаль, выглядывающая из окон разоренного гнезда, ты чернее безлунной и беззвездной ночи»,— подумал Коринтели.

Эта отцовская усадьба, эти верхушки деревьев, вырисовывающиеся ажурной вязью на фоне неба, тянули его к прошлому, к дням юности, еще раз подтверждали, что в мире его чувств ничего не изменилось. Но сознание возвращало его к реальности: дома ждут его Медико и ее тетка. Они замучают теперь его упреками, подозрениями. Они расплатятся с ним за те счастливые минуты, которые он провел с Сускией.

И теперь Коринтели вспомнились слова отца, которые тот произнес еще тогда, когда телавские родственники в шутку называли Вахтанга «вачнадзевским женихом». Отец сказал ему: «Что тебе за дело, сынок, до князей, которые считают труд только крестьянской обязанностью? Зачем якшаться с ними?». И отец рассказал тогда басню:

«Сова пожелала породниться с орлом и выдать за него свою дочь. Согласился орел. Сыграли свадьбу. Но на свадьбе, которую справляли ночью, орел не узнал своей невесты. А днем — сова не узнала жениха».

Скоро уже два года, как он женился на Медее. Но орел и сова вряд ли когда-нибудь поймут друг друга.

Старинные часы пробили три, когда Коринтели вернулся домой.

В кресле перед пианино безмятежно спал дядя Нико. На диване, раскрыв рот, храпела тетя Варя — так сильно, будто тысяча чертей вселилась в нее. Тощее ее тело было похоже на скелет, выставленный в анатомическом музее.

Коринтели тихо открыл дверь в спальню. Медея в ожидании мужа так и уснула, оставив зажженным ночник. Она лежала лицом к двери, разметавшись по постели. Одеяло сползло, и красивое тело ее обнажилось. Коринтели равнодушно взглянул на нее.

Он разделся, потушил ночник. Но сон не шел к нему. В памяти ожил во всех своих подробностях минувший вечер. Он вспомнил ядовитые слова тети Вари и то, как равнодушно, безучастно, слушала их Медея. Как будто

не о нем шла речь! Его охватила ярость. В эту минуту он острей, чем когда-либо, понял, какой, в сущности, чужой была ему лежащая рядом с ним женщина.

Он встал, оделся и вышел на балкон.

Небо уже светлело. Где-то прокричал петух.

Коринтели спустился во двор и присел под навесом из вьющегося винограда. Его и сейчас еще горячило вино. Он расстегнул рубашку и с радостью ощутил предрассветную свежесть.

Так сидел он довольно долго — не сидел, а полулежал, устремив взгляд туда, где ползли и клубились кружева облаков, заслонявшие бледный лунный диск. Луна пыталась выйти на простор. Но облака с разных сторон обступали ночное светило, сгущались и походили временами на бесчисленные овечьи отары.

Хотелось отвлечься, ни о чем не думать. Но память настойчиво возвращала его к Сускин, Медее, тете Варе... Наконец пришла спасительная дремота и с нею — виденья, полуреальные, полуфантастические.

...Море меняло окраску, подобно саламандре, то выглядело асфальтовым, то светло-свинцовым. Корабль плыл по эластично колеблющимся волнам. Машина, работавшая в глубине корабля, грохотала, стонала и шипела, прокладывая ему путь на восток. Позванивала посуда, и поскрипывала мебель в каютах... По небу мчались серые тучи. Ветер крепчал, корабль качало все сильнее и сильнее. И вот на него низверглись тысячи бешеных Ниагар.

Разбушевавшаяся стихия превратила огромный корабль в беспомощную щепку, которая то вздымалась на гребень волны, то проваливалась в страшную темную бездну.

Водяные холмы то и дело прокатывались по палубе, налетали друг на друга, вырастали в горы и с грохотом рушились под могучими ударами ветра.

Потом, так же внезапно, море, словно израсходовав всю свою энергию, успокоилось. В бескрайней водяной пустыне жалобно выла корабельная сирена, и к свинцовому небу мирно поднимался дым.

И чудилось ему, будто он снова ест экзотический плод манго, будто шоколадного цвета руки малаек подают ему настоящие райские плоды — дурионы. Их благоуханием пропитаны джунгли... Взлетают рыбки сталь-

вого цвета, блестя яхонтовыми глазами... В небе реют шелковые занавеси...

Коринтели почувствовал прикосновение тяжелой руки к плечу и открыл глаза.

Перед ним стоял дядя Нико.

— Я ждал тебя, Вахтанг, и заснул в кресле. Пройдем-ка в дом,— сказал он.

Коринтели в полудреме встал и побрел за дядей. Взглянув на неприбранный стол, он окончательно пришел в себя.

— Вахтанг,— сказал ему дядя Нико,— ты завтра не уезжай, друг мой.

— Почему, дядя Нико?

— У меня к тебе важный разговор.

— А кто мешает нам побеседовать сейчас?

— Теперь уже поздно. Пусть завтра твой шофер отвезет Медико с теткой в Бермуху, а ты оставайся тут на денек-другой.

— Я и так хотел остаться, но чем ты так обеспокоен?

Дядя Нико сурово сдвинул брови.

— Когда ты сегодня ушел вместе с Сускией, я, почувствовав усталость, решил соснуть, но обнаружил на пианино сумочку Сускии и хотел вас догнать. Но вы были уже далеко. Я не поднялся к себе, а присел в саду на скамейке и тут услышал голоса тети Вари и Медеи. Варя о чем-то возбужденно твердила Медее. Я невольно прислушался — и, поверь, у меня голова разболелась от того, что я слышал... Как сына прошу тебя: не уговаривай рассказать тебе то, о чем болтали тетя Варя и твоя жена...— И он тихо добавил: — Но знай: я зрение твое и слух твой там, где тебя нет, Вахтанг. Когда найду нужным, сам все расскажу.

Дядя Нико так сжал ручку кресла, что она затрещала. Он умолк и сидел, низко опустив голову.

— Но все же, о чем они говорили?

Коринтели умоляюще смотрел на старика. Тот не выдержал его взгляда.

— Эта проклятая бородатая баба хочет ехать в Бермуху. Боюсь, как бы она не развалила твою семью. У нее в этом деле немалый опыт: она развела с мужьями всех своих дочерей.

— Это не страшно, дядя Нико! Чему суждено рас-

даться, пусть распадается... Ты только скажи мне, о чем они говорили.

Лоб дяди Нико покрылся испариной. Но дядя Нико остался верен себе. Он уже сожалел и о том, что успел сказать.

— Ты не хуже меня знаешь, Вахтанг, мудрую грузинскую пословицу: «Не все напитки надо пить, не все слова надо говорить». Совсем у меня разболелась голова, лихорадит как будто меня... Об одном прошу тебя: не спускай глаз с этой чертовой куклы... И за женой последи... Вот и все пока.

И он не проронил больше ни слова.

17. ДВА ГОЛОСА

После отъезда Медеи и ее тетки Коринтели попросил дядю Нико не приглашать гостей, дать ему возможность отдохнуть, насладиться одиночеством. И как ни трудно было дяде Нико, он выполнил эту просьбу.

С тяжелым сердцем наблюдал дядя Нико за помрачневшим Вахтангом, который, словно отшельник, искал тишины и одиночества.

Вставал он рано и садился за свою «Ампеллографию грузинской лозы», а затем, когда уставали глаза, он часами бродил по саду среди миражей своего детства и юности, с грустью вспоминая те дни, когда здесь слышались родные ему голоса.

Он радовался, когда под вечер куры взлетали на низкие и кривые деревья айвы, и ложился спать в одно время с ними. Протяжный лай собак возвещал ему о конце дня и дружная перекличка петухов о начале рассвета.

Из Бермухи между тем прибывало письмо за письмом. Медея беспокоилась: «Почему ты так долго задерживаешься в Телави? Не заболел ли?»

Коринтели испугался, как бы она за ним не приехала, да еще вместе с теткой, и ответил несколькими общими успокаивающими фразами: у него, мол, оказались дела, и он скоро вернется.

Дядя Нико терзался мыслью о том, что во всем этом виновен он, что его слова так огорчили Вахтанга. Глядя на него, он и сам мучился. Но он никак не мог решить-

ся поведать Коринтели все то, что слышал своими ушами из уст Вари ночью в саду.

Дядя Нико старался не попадаться на глаза Вахтангу. Он уходил из дому, не появлялся к обеду, ссылаясь на какие-то неотложные дела. Поздно вечером он, изрядно выпив с приятелями, на цыпочках прокрадывался к себе в спальню и тихо укладывался спать.

Тетушка Текле не понимала, что происходит с ее мужем и чем так опечален Коринтели.

— Может быть, ему не нравится, что мы живем в доме его отца? — спросила она однажды дядю Нико и предложила ему переехать к сестре, в Тбилиси.

Но муж дал ей понять, что Вахтанг обеспокоен не этим.

Вскоре их дом навестил заведующий учебной частью Телавского института виноградарства и виноделия. Он спросил профессора Коринтели, и тетушка Текле проводила его к Вахтангу. Гость передал приглашение быть главным консультантом их института.

С этого дня Коринтели перестал вести затворнический образ жизни. Он начал ходить в институт, возвращался поздно и обедал вместе с тетушкой Текле, которая ухаживала за ним, как за маленьким ребенком.

Она выжидающе смотрела ему в глаза, не осмеливаясь спросить о причине его плохого настроения. Ее несколько озадачивало то, что, разговаривая с ней, Вахтанг ни разу не упоминал о своей жене. Несколько раз она сама вспоминала при нем Медею, хвалила ее красоту и благородство, но всегда все заканчивалось тем, что Коринтели, выслушав ее, переводил разговор на другую тему.

Как-то ранним утром принесли телеграмму из Кварели. Цинцисхави просил Коринтели немедленно приехать.

В тот день и дядя Нико вовремя явился к обеду. Еще не садясь за стол, он предложил Вахтангу проехаться на машине в Горную Тушетию. В ответ тот показал ему телеграмму.

— Ну и что? — настаивал на своем дядя Нико.— Тремя днями раньше, тремя позже — что изменится.

Потом, опустив глаза, он как бы невзначай добавил:

— И Суския просит тебя, она едет туда в командировку.

Услышав имя Сускии, Коринтели вздрогнул. А дядя Нико как ни в чем не бывало продолжал:

— Вчера я встретил ее у аптеки. Интересовалась, как ты живешь, потом сказала, что будет очень рада, если ты согласишься поехать с ней по Тушетии. Там есть у кого остановиться. Я пригласил ее сегодня к обеду. Не возражаешь?

Коринтели не успел ответить. Открылась дверь, и вошла Циствала.

— Докторша пришла,— сказала она.

И вслед за ней действительно появилась Суския.

Все это было неожиданно.

Коринтели вскочил из-за стола, стал извиняться за то, что он в пижаме,— только что узнал о том, что она приглашена к обеду, и не успел переодеться...

— Я врач, уважаемый профессор, и часто вижу мужчин еще и не в таком одеянии,— улыбнулась Суския.

На ней было простенькое ситцевое платье желтоватого цвета с голубыми узорами, похожими на цветочки лозы. Печать усталости лежала на ее лице. И от этого, должно быть, оно показалось Коринтели еще более очаровательным.

Мельком взглянул он на часы и с грустью подумал о том, что уже пять и Цихистави ждет его.

Дядя Нико отправился в погреб за вином. Суския подсела к тете Текле и вполголоса рассказывала ей о своих домашних делах. У нее, оказывается, заболел отец, и за ним некому ухаживать, так как она день и ночь на работе. Придется привезти родственницу, которая недавно овдовела.

Коринтели слушал Сускию и думал: «Какой у нее мягкий, задушевный голос, как много в нем от нее самой, как богаты его оттенки! Человеческий голос может быть приятен тебе или неприятен, любим или ненавистен. Не отсюда ли начинается любовь?..»

Появился дядя Нико. За ним соседский мальчик Леван тащил большой кувшин.

Коринтели удивился:

— Для кого столько вина? Уж не собираешься ли ты, дядя Нико, один опустошить этот кувшин?

— Кто не раз убивал оленя с Черной горы, тот и впредь убьет его,— ответил тот поговоркой.

Дядя Нико надеялся, что приход Сускии развеселит

Вахтаига и тот в конце концов присоединится к нему. Воспрянувшая душа, наверное, захочет вина. А за этим последует путешествие в Тушетию. Разве Суския и киндзмараули могут оказаться слабее телеграммы Цихиставн?!

Однако расчет дяди Нико был неточен. Как только часы пробили шесть, Коринтели встал из-за стола.

— Бог с ней, с этой телеграммой,— отговаривал его дядя Нико.— Сообщи Цихиставн, что приедешь через несколько дней. Ничего ведь не случится.

О том же просили его и опечаленные глаза Сускии. Он видел это.

— Нет, дядя Нико,— ответил Коринтели.— Как ни приятно было бы мне съездить сейчас в Тушетию, но я вынужден отказаться от этого. Цихиставн не стал бы зря меня беспокоить. Раз он просит приехать — надо ехать. Я могу, если желаете, прислать вам из Бермухи машину.

— Не в машине дело,— взволнованно произнесла Суския.— Директор больницы Корсавели тоже едет в Тушетию, но я собиралась съездить туда с дядей Нико и с вами.

Дядя Нико пустил в ход новое оружие:

— Я не знал, что ты поедешь сегодня, и напоил Андро. Как же ехать с пьяным шофером, Вахтанг?

Но Коринтели был непреклонен:

— Ничего, если понадобится, я сам поведу машину.

Тогда дядя Нико прибегнул к последнему средству:

— Сегодня утром приехала соседка Даро из Кварели и сказала, что алазанский паром не работает.

Что было делать Коринтели? Он не решался остаться, но и уйти ему было трудно. Он смотрел, не отрываясь, на Сускию, беседующую с тетушкой Текле.

«Нет, так не годится,— подумал Вахтанг,— надо ехать».

Он встал и сказал решительно:

— Надо ехать,— и начал прощаться.

Машина быстро катилась по асфальтированному шоссе.

Коринтели был так углублен в свои мысли, что не замечал калейдоскопической смены ландшафта. Он не сдерживал молодого Андро, развивавшего все большую

и большую скорость, не обращал внимания на стрелку спидометра, упорно ползущую вверх.

С каждым километром он приближался к своему дому. Но есть ли у него дом? Что ожидает его в Бермухе? Усатая «дядя Варя»?.. Медико?., Любовь, которая двадцать лет кипела в его груди, подобно огню в ветреную ночь, погасла вдруг. Остался лишь пепел...

Когда-то он считал Медею человеком безупречной чистоты. Это она в один прекрасный день швырнула в лицо Шаркутье брильянты, наряды, отказалась от парижской роскоши и с легким сердцем уехала на родину.

Обычно, когда мы судим любимого человека, то сердце наше как бы раздваивается: одна половина обвиняет, другая — защищает, ищет смягчающие вину обстоятельства, старается хоть частично сохранить то, что теряешь. И если ты находишь, что человек, которого ты любишь, недостоин любви, то, возможно, он достоин уважения? Пусть останется хотя бы это!..

«Но ведь когда тетя Варя поносила тебя и не только тебя, а все, что для тебя свято, Медея молчала»,— говорил обвинитель.

«Да, молчала,— соглашался защитник,— но разве молчание всегда знак согласия? Когда мы встречаемся с одержимым, то мы избегаем вступать с ним в спор, так как понимаем, что это бесполезно.

Наше молчание в таком случае — отнюдь не признак согласия. К тому же, когда бушевала подвыпившая тетя Варя, Медея что-то шептала ей на ухо,— может быть, она пыталась ее унять? Не так ли? А что она еще могла сделать? Не могла же хорошо воспитанная молодая женщина грубо обрушиться на свою тетку, устроить скандал. Это было бы неприлично».

Коринтели готов был внять этому второму, успокаивающему и оправдывающему голосу своего сердца. Но тут снова раздавался будоражащий голос обвинителя:

«А ты забыл, что когда тетя Варя сравнивала тебя с приказчиком, Медея только улыбнулась? Это ее ничуть не возмутило. Она только улыбнулась!»

И он вспоминал другие оскорбительные подробности.

Да, поистине любовь и дружба подобны драгоценной хрупкой вазе. Достаточно иногда случайного толчка, чтобы она дала трещину. И разве только трещину?!

Машина мчалась, не замедляя хода. Вот и то ущелье,

которое они проезжали несколько дней назад. Медея хмурилась тогда, но это была еще та Медея, которую он так долго и пылко любил.

И в ту ночь треснуло, разбилось вдребезги то, что, казалось, никогда не разобьется...

Какая странная история: многие годы познаешь человека, любишь его, наделяешь всеми земными добродетелями,— и вдруг, в одно какое-то мгновение, он оборачивается к тебе неожиданной, совершенно другой стороной, и ты ужасаешься тому, что увидел. Это мгновение подобно страшному землетрясению, которое безжалостно разрушает все созданное твоей же фантазией.

Машина замедлила бег.

Черные тучи заволакивали взнесенные ввысь остроконечные вершины гор. Ниже, на синеющие предгорья, ложился туман. На отрогах мелькали тени.

Трудовой день был закончен. С полей и виноградников люди возвращались домой. И у каждого из них был свой дом.

По краям дороги тряслись груженные копнами сена ослики. Медленно и степенно двигались парами черные буйволы, запряженные в груженые арбы. Издалека доносилась песня.

На одной арбе сидели мужчина и женщина. Коринтели определил по их внешности, что это, должно быть, муж и жена — ведь между супругами, прожившими друг с другом долгие годы, появляется и внешнее сходство.

«Эти труженики, должно быть, счастливы,— думал он.— Каждый их день прожит недаром. Они не знают измен и подозрений. Как открыты и ясны лица вот этого крестьянина в тушинской шапочке и его жены...»

И еще он думал о том, что труд — величайший фактор не только материального благополучия, но и нравственной чистоты человека. Тот, кто ощущает труд как тягостную ношу, никогда не испытает величайшей радости в жизни.

Природа формирует человека в его юные годы. Характер Медико созрел в Париже, в семье французского буржуа де Мосперо, где труд презирали, считали «обязанностью низших классов».

Женщине, воспитанной в таком «раю», жизнь в Бермухе казалась, естественно, настоящим адом.

Но тут ход его мыслей прервал голос защитника.

«Человек может измениться,— сказал он успокаивающе.— Не следует торопиться с приговором».

«Твой приговор справедлив! — перебил первый голос.— Вспомни слова дяди Нико: «Придет время, все расскажу...» Ты знаешь, что это значит?!»

Где-то в темных оврагах выли шакалы.

Ночь, спустившаяся в ущелье, казалось, тяжело вздыхала, подобно огромному черному буйволу.

Темно было и в душе Коринтели. Теперь он сожалел о том, что заставил доброго дядю Нико произнести и те несколько, не вполне еще ясных, но жестоких слов, которые он произнес и которые уже нельзя было вычеркнуть из памяти.

Иногда невзначай брошенное слово бывает более веским и убедительным, чем иные пространные и логичные рассуждения,— оно глубоко западает в душу.

Очнувшись от своих дум, Коринтели заметил, что они едут по незнакомой дороге. Эти скалы и леса он не видел никогда. Он взглянул на шофера, тот спокойно вертел руль. С предельной скоростью он брал подъемы и спуски, слишком доверяясь тормозам.

Коринтели молчал. «Пусть едет, как хочет»,— думал он безразлично.

Дорога вилась по берегу какого-то бушующего потока. Навстречу им раскрывали свои огромные пасти ущелья, освещенные сильным светом автомобильных фар.

Вдруг Андро резко затормозил. Коринтели подбросило, он головой стукнулся о смотровое стекло.

Перед ними блеснули глаза буйвола. Животное, не подозревая опасности, стояло на краю пропасти, точно изваяние.

Андро отогнал буйвола.

— Чудом спасся,— проронил он ему вслед.

— И нам бы не легко пришлось,— сказал Коринтели, закуривая папиросу.

Мысль возвратила его почему-то к Суски Миндели. Как удивительно красива была она сегодня в своем простом ситцевом платье цвета цветущей лозы. Красота одних женщин более заметна по ночам, при электрическом свете, красота других ярче проступает в сиянье солнечного дня.

«Кто такой этот директор Корсавели?» — мучительно долго думал он и наконец вспомнил местного кутилу и ловеласа, которого прозвали «вечным студентом», потому что он обошел чуть ли не все университеты Российской империи и стал в конце концов врачом, окончив медицинский факультет в Харькове.

«Завтра они выедут в Телави,— думал Коринтели,— Корсавели будет все время с Сускией...» В нем просыпалось чувство ревности. Он пытался заглушить его и потому твердил: «Нет, Суския никогда ничего себе не позволит с этим противным Корсавели. Иначе она не звала бы с собой меня».

Машина стала преодолевать крутой подъем, и мотор заглох. Андро затормозил. Коринтели сказал шоферу:

— Уступи мне место, Андро.

Коринтели с юношеской живостью пересел за руль и плавно взял подъем.

— Запомни,— сказал он шоферу, освобождая его место,— никогда не налетай на вино, если тебе предстоит какое-нибудь дело. Вино мы все пьем, но дело и вино несовместимы.

— Я не знал, батоно, что вы сегодня предполагали выехать в Бермуху,— оправдывался Андро.

— Верно, ты не знал о Бермухе,— сказал Коринтели,— но я ведь предупредил тебя накануне, что мы можем поехать в институт.

Шофер, чувствуя свою вину, молчал.

— Но правильно ли едем мы? Не в сторону ли Тбилиси вместо Бермухи? — спросил Коринтели.

— Нет, это новая дорога... Дорога на Тбилиси осталась справа, батоно Вахтанг.

Коринтели готов был в эту ночь поехать и в Тбилиси, если бы не телеграмма Цихистави.

«Может ли человек моих лет и положения так по-юношески легко отдаваться капризам личной жизни! — осуждал он сейчас себя.— Бог с ними, с Медеей и Сускией».

Перед ним предстали жители Бермухи, и особенно ясно увидел он лицо Цихистави. Вспомнил свой микроучасток.

«Ничто не остается тайной на этом свете,— думал он.— Как можно из-за ссоры с женой проявлять пренебрежение к делу всей своей жизни? Все личное недолго-

вечно на этой земле, оно уйдет вместе с тобой. Личная жизнь — своеобразная лотерея. Нет, она скорее похожа на игру в нарды [1], на бессмысленный стук костяшек... Некоторые с упорством и старанием катают костяшки и вместо душаши [2] получают дуяки [3], но не унывают и продолжают игру».

Столько энергии было им истрачено в минувшие годы, что уже не хватало сил заново устраивать свое личное счастье. Остаток жизни нужно отдать большому делу.

Но, думая так, он не мог все же отрешиться от Суськии. Она снова встала сейчас перед его взором. Ей тоже не повезло в личной жизни... Как она побледнела, когда узнала о телеграмме Цихистави и отъезде Кориптели. И почему он не остался, не поехал с ней в Тушетию. Сказал бы Цихистави, что телеграмма прибыла с опозданием. Ничего бы и не случилось!

Но проходила минута — и он уже стыдился этой своей мысли.

Да, его семейная жизнь началась слишком поздно и кончилась слишком рано. Ничего не поделаешь, с этим следует примириться. Он многое упустил и в работе. Нужно поторопиться, наверстать упущенное. Ведь не за горами старость — предвестница смерти. И он успокаивал себя:

«Ну, и что же! И не такие, как ты, старели и умирали. Всему приходит конец. Только дело человека бессмертно. Любовь к родине пустая фикция, если она не воспламеняет человека для дела».

18. АБРИА-ЗЛОЯЗЫЧНЫЙ И ЧЕРНЫЙ БАРАН

До Алазани оставалось около трех километров, но дальше нельзя было ехать — дорогу забили машины, ожидающие своей очереди на паром. Паром, оказывается, сломался, и когда его починят — неизвестно. Образовалась пробка.

---

[1] Нарды — настольная игра, распространенная на Востоке.

[2] Душаши — дважды по шесть, выигрышное сочетание при игре в нарды.

[3] Дуяки — дважды по одному, проигрышное состояние.

Что было делать Коринтели? Возвращаться в Телави или остаться здесь, заночевать в машине? Он решил съехать с шоссе на опушку леса и заночевать в машине.

На рассвете его разбудили гудки автомашин. Недалеко от причала он увидел машину кизилового цвета. Она застряла посредине шоссе: лопнул скат, и шофер возился с домкратом. Рядом стояли вышедшие из машины пассажиры.

Коринтели узнал Цихистави, Ахалкаци и агронома Мелитаури. Они разговаривали с лысым человеком, который оказался тоже знакомым — тем самым Цероденой, которого он встретил у дяди Нико.

У Цихистави просияло лицо. Он подошел к Коринтели и крепко пожал ему руку.

— Получили мою телеграмму?

Цихистави дружески взял его под руку и, оставив своих спутников у машины, пошел с ним к парому.

— Я так к вам привык, товарищ Вахтанг,— сказал он сердечно,— что мне просто не хватало вас в эти дни.

Коринтели несколько удивился такому неожиданному признанию: он знал, что Цихистави скуп на выражение чувств, сдержан до сухости, редко чему удивляется, верит только фактам и цифрам.

«Такие люди могут многое сделать в жизни,— думал не раз Коринтели.— Они не шумят, не бахвалятся, а упорно и неуклонно тянут тяжелую лямку и заражают своей волей и энергией других. Они ни на что не жалуются и не играют в героев, будучи сами истинными героями».

Потому-то и удивился Коринтели, когда Цихистави так непосредственно выразил свою радость от встречи с ним.

— Здесь прошел слух,— сказал Цихистави,— будто вас, профессор, вызвали в Тбилиси и снова посылают за границу. По правде сказать, меня это огорчило. Я осуждал себя и за то, что не проявил к вам должного внимания.

Он произнес это просто, искренне, и слова его тронули Коринтели.

— Посылают за границу? Нет, что вы, меня назначили главным консультантом Телавского института. Вот и все. Я остаюсь в Бермухе и буду лишь наезжать в Телави,— ответил он.

— Очень приятно, товарищ Вахтанг,— обрадовался Цихистави.— Нам крайне нужен такой человек, как вы.

Район наш, как известно, маленький, а дел, как везде, много. Вы многим нам помогли и еще, конечно, поможете.

И я, как секретарь райкома, не раз чувствовал вашу поддержку. От нас, секретарей райкомов, жизнь требует множества разных знаний: почвоведения, биологии, агротехники, ботаники... Мы обязаны вникать и в другие дела: инженерные, финансовые, административные... А знаний порой не хватает. Правильна, конечно, поговорка: «Велика сила любви, она заставляет человека делать невозможное возможным». Но и она не отменяет необходимости знаний. Сегодняшнее наше село — не старая крестьянская община с ее отсталым, некультурным хозяйством. Наше село — это вроде как миниатюрное государство. Им нужно уметь управлять.

Цихистави посмотрел на Алазань.

— Недавно,— вспомнил он,— разлилась наша Алазань. Свинопас Попола переправлял свиней. Нескольких понесла вода. Но он сумел их спасти. Вы помните этого человека? Если не ошибаюсь, он вам понравился в тот раз на митинге...

Коринтели улыбнулся:

— Голубоглазый? Высокий?

— Да, точно — он.

Они подошли к реке. Полноводная весенняя Алазань гремела и пенилась, ударяясь об отлогие берега. У причала парома сгрудились изнуренные жарой овцы. Пастухи, сидя на бревнах, завтракали.

Их бригадир Абриа Уджираули, сняв папаху, поздоровался с Цихистави и Коринтели и пригласил их перекусить.

— Вы большие люди, но, может быть, не побрезгуете — отведаете нашу хлеб-соль.

— С удовольствием,— согласился Цихистави.— А насчет «больших людей» ты зря. Мы такие же простые труженики, как ты и твои друзья.

Абриа наполнил вином два стакана и протянул гостям. Те поблагодарили и пожелали пастухам здоровья.

Посидев немного с пастухами, Цихистави и Коринтели устроились под небольшим навесом.

Цихистави сказал:

— Да, чуть было не забыл, товарищ Вахтанг: из Тбилиси вам прислали финский домик.

— Хорошо,— ответил Коринтели и тут же спросил о другом: — В каком состоянии мой микроучасток?

— Трудно ему пришлось,— ответил Цихистави.— Вдруг началась страшная жара. У вновь посаженных лоз кое-где пожелтели листья. Годердзи на ослах подвозил воду. Потом колхоз выделил одну машину. Как только построим ГЭС, мы соорудим и оросительный канал. Тогда воды у нас будет вволю, и мы досыта напоим все плоскогорье Девяти дубов.

Цихистави взглянул на часы.

— Вероятно, люди уже ждут нас в Бермухе.

— Почему? — спросил Коринтели.

Позавчера было общее колхозное собрание по поводу строительства ГЭС. К нам присоединилось пять заалазанских колхозов. Руководителем рабочих бригад выбрали Годердзи. Вас также просили помочь. Товарищи ждут вас.

К берегу в это время подъехала машина Цихистави с тремя мужчинами.

— А что делает там этот третий? —спросил Коринтели, имея в виду Церодену.

— Главный инженер «Сельэлектро» Цероденашвили, уроженец Бермухи,— ответил Цихистави.— По-видимому, своевольный и заносчивый человек. Говорят, у меня нервы, как у буйвола, но, кажется, он и меня выведет из терпения.

Вот уже третий месяц, как я воюю с ним. У людей с низкой душонкой удивительная способность — изматывать нервы другим. Ни за что не хотел он ехать к нам из города. Какие только причины ни приводил, чтобы только не ехать: то турбину нельзя достать, то труб нет. Достали и то и другое. Тогда он начал жаловаться, что у нас нет цемента. Достали и цемент! Теперь он заладил, что цемента не хватит.

Вы ведь знаете, как я занят. Разве есть у меня время ездить в Тбилиси, бегать по учреждениям? А вот приходится.

На прошлой неделе этот инженер заявил, что у него померла теща и потому он вынужден отложить поездку в Бермуху. В день похорон напился до чертиков.

Тогда я не выдержал и сказал, чтобы он перестал изворачиваться, все равно придется отправиться в Бермуху.

Скользкий он человек. Но, как говорят, не поймаи — не вор. Иначе он давно бы у меня заплакал.

Коринтели взглянул иа Алазань и сказал:

— Трудно, конечно, сказать что-нибудь определенное без достаточных оснований, ио с этим человеком нужно вести себя осторожнее, внимательней к нему присматриваться. Я не могу терпеть три типа людей: пьяниц, алчных до денег и трусов. На таких нельзя положиться. Пьяница легко продаст тебя за вино, стяжатель — за деньги, а трус — чтобы продлить свое жалкое существование.

Цихистави задымил папиросой.

— Если бы этот чертов осел не мешал, ГЭС была бы уже построена и наши виноградники не нуждались бы в воде.

Всего этого не слышал, конечно, Churодена. Он сидел неподалеку, рядышком с Абриа, медленно смакуя, пил вино, принесенное пастухом, и закусывал тушинским сыром.

Кудрявый молодой пастух затянул песню:

Так выпьем же, выпьем, друзья,
Покуда мы видим друг друга.
Грустить мы успеем в земле,
Под черной могильной плитой...

Абриа жаловался Церодене:

— Из-за этих проклятых виноградников наши овцы подохнут с голоду. Шраки перепахали тракторами, а ведь эти луга всегда были пастбищами.

Церодена посочувствовал ему и приложил палец к губам: говори, мол, потише, могут услышать.

Но Цихистави и Коринтели были увлечены другим. Обозревая гвелетские окрестности слева от Бермухи, Цихистави разыскал вдали гору и, указав на нее, сказал:

— Под той горой мы и построим ГЭС. Видите развалины крепости?

— Место отличное, но достаточен ли дебит воды? — спросил Коринтели.

— Там два небольших озера и три родника. Мы их соединим...

— А куда поведете оросительный канал?

— Вода пойдет прямо на плоскогорье Девяти дубов и оросит виноградники.

— Подземным каналом?

Тогда Цихистави, обращаясь к Ахалкаци, нарочито громко сказал:

— Главный инженер «Сельэлектро» доказывает, что для такой небольшой ГЭС не требуется отводного канала. Профессор Коринтели хоть и агроном, но я знаю, что он изучал и гидрогеологию. Интересно знать его мнение.

Церодена, как и следовало ожидать, был задет за живое и почти закричал:

— Я главный инженер «Сельэлектро», работаю двадцать лет и не хуже других знаю свое дело. Кроме того, проект уже утвержден!

— Это не страшно! Проект можно изменить, если это необходимо,— спокойно заметил Цихистави.

Коринтели сделал вид, что не расслышал хвастовства Церодены.

— Я это место знаю,— сказал Вахтанг.— Но было бы неплохо еще раз осмотреть его и решить вопрос об отводном канале.

Цихистави снова посмотрел на часы. Он нервничал.

— Когда же наконец починят паром?

Подошел Абриа.

— Извините, что я со своим коротким умом вмешиваюсь в ваш разговор,— обратился он к Цихистави.— Но правда ли, что вы собираетесь провести в наши места электричество?

— Да, мы будем строить здесь электростанцию.

— Ваше дело, вы лучше меня знаете,— сказал Абриа,— но боюсь, как бы вы не разгневали святого Георгия Квакаца.

— Не разгневаем! — засмеялся Цихистави. — Вот переправимся на тот берег, и вы сами увидите, какая плодородная там земля. А все потому, что там есть вода.

— С этим местом связана одна легенда, которую я слышал еще в детстве от здешних старожилов,— заметил Церодена.— Хотите расскажу, пока нет парома?

— Конечно,— ответил за всех Цихистави.

— На той горе, вон там, где виднеются развалины крепости, когда-то был целый город. Принадлежал он эриставу[1] Мамуке. Не помню вот, сколько было у него сыновей — шесть или семь.

[1] **Эристав** — военачальник, феодал, владеющий вотчиной.

— Семь,— подсказал Абриа, раскуривая трубку.

— Так вот, старший, самый любимый сын Мамуки, умер от проказы. И тогда, в час похорон сына, вынес разъяренный Мамука из церкви икону святого Георгия, украшенную драгоценностями, и при всем народе, собравшемся из трех эриставств, гневно швырнул ее на землю и растоптал ногами. Потом приказал прогнать по ней стадо свиней.

О богохульстве Мамуки тотчас сообщили кахетинскому корикозу[1]. Тот собрал войско и двинулся против Мамуки. И вот здесь, на плоскогорье Девяти дубов, разгорелся жаркий бой. Мамука и шесть его сыновей потерпели жестокое поражение. Тогда они укрепились на горе, в Гвелетской крепости.

После долгого кровопролитного боя корикоз захватил крепость. Сыновья Мамуки бежали, а сам он погиб. Труп его привязали к хвосту коня и долго волочили по земле. Икону святого Георгия обновили и водрузили на место. Ее провозгласили стражем и хранителем разгромленного города. Вы знаете, что у Георгия столько прозвищ в Грузии, сколько дней в году. Этого Георгия назвали Квакаца — Каменный человек...

Цихистави посматривал на часы. Застрявший на той стороне реки паром еще не двигался.

— Вы видите, в каком я положении? — развел он руками.— В Бермухе нас ждет народ. За Алазани мне нужно посмотреть отремонтированные комбайны, в Кварели узнать, отправлены ли овцы на Северный Кавказ, и проверить, заготовлено ли сено. А мы сидим здесь и развлекаемся легендами.

Церодена заметил:

— Пока мы не избавимся от парома и не построим мост, нам часто придется развлекаться легендами, товарищ секретарь.

Мелитаури попросил досказать легенду:

— Она ведь имеет такую же ценность, как старинная монета или другая реликвия древности, которая помогает нам понять далекое прошлое и своим контрастным светом как бы озаряет настоящее,— сказал Мелитаури.

— Во время нашествия арабов,— продолжал Церодена,— монахи укрывали эту икону в горах Верхней

---

[1] Корикоз — архиепископ.

Тушетии. Тушинцы хранили ее в часовне, которую построили над Оленьим источником. Икону цепями приковали к стене. Потом корикоз вернул ее в Кахетию.

Вся Верхняя Тушетия приходила поклоняться этой иконе, украшенной рогами оленей и туров. Паломничество не прекращалось и после революции. Я видел своими глазами, как сюда приходили и тушинцы и кахетинцы — слепые, немые, глухие, тихо и буйно помешанные, больные сибирской язвой,— просили у Квакаца излечения, увеличения поголовья скота, благополучного разрешения от беременности... Если человек сам не мог прийти, то приносили его одежду и стелили перед иконой.

Да, я увлекся и забыл главное. Сыновья Мамуки попросили войско у своего дяди — панкисского эристава — и шесть раз атаковали крепость. Но, как утверждает легенда, все их атаки кончались поражением. В народе говорили: «Квакаца обращает их в бегство!»

Потом явился корикоз и страшным проклятием проклял всех, кто ударит лопатой в землю Мамуки или соорудит там какое-либо строение и поселится в нем навсегда или временно. Где-то в старых хрониках я читал эти страшные проклятия корикоза.

Сколько раз феодалы этих мест пытались поселить своих крестьян в окрестностях Мамукской крепости. Но, как гласит предание, Квакаца изгонял всех — то болезнями, то другими бедствиями. Незадолго до революции генерал Вачнадзе поселил здесь лезгин. Они узнали про Квакаца и убежали в горы. Даже наши чабаны до сих пор боятся ночевать там.

— Правильно,— подтвердил Абриа.— Я и сейчас боюсь Квакаца, да будь он благословен во веки веков!

Все рассмеялись.

Цихистави заметил:

— Когда мы направили на плоскогорье Девяти дубов тракторы и экскаваторы, то родители наших трактористов-комсомольцев дрожали от страха, боясь гнева Квакаца. Но, как видите, мы его не испугались и с честью завершили свое дело. Скоро мы подступим к самой Мамукской крепости.

— Если вы можете прислушаться к голосу такого неразумного, как я,— робко произнес Абриа,— то я одно могу посоветовать вам, сынок: не делайте этого! Ох, как еще может разгневаться Квакаца.

— Меня беспокоит другое,— сказал Ахалкаци.— Как поднять машины на такую высокую гору?

— Это отсюда такие крутые склоны, а с северо-востока туда можно найти подход,— заметил Цихиставн.— Плато — часть большого плоскогорья, которое называют Гвелети. Оно занимает не одну тысячу гектаров целины, которая принадлежит бермухскому колхозу. Эту землю нам предстоит освоить под виноградники.

Цихиставн увлекся было рассказом о плане предстоящих работ, но с той стороны реки тронулся паром.

На берегу сразу стало оживленней. Пастухи сгоняли овец. Абриа, присев на корточки, ласкал изнуренного жарой черного барана, освежал его водой. К причалу спешили крестьяне с лопатами, кирками, топорами.

— Заалазанцы идут строить ГЭС! — радостно воскликнул Цихиставн.

Церодена кинулся к причалившему парому, чтобы занять местечко поудобнее, но Цихиставн вежливо остановил его:

— Пусть сначала переправят скот, жаль животных.

Рослый козел возглавлял стадо. За ним двинулись овцы. Пастухи направляли их, тащили за уши, несли на руках, как детей.

Цихиставн крикнул Абриа:

— Не лучше ли переправить овец в два приема?

Абриа заупрямился:

— Нет, перевезем всех сразу. За нами идет трехтысячное стадо. Так мы до вечера провозимся.

Паром достиг уже середины реки, когда один из козлов, поскользнувшись, сорвался в воду. За ним прыгнуло несколько овец.

Три чабана быстро разделись и кинулись спасать животных. С парома свалился и тот самый черный баран, за которым так нежно ухаживал на берегу Абриа.

Проворно сбросил с себя одежду и Абриа. Заросший весь волосами, он был похож на лешего. Цихиставн и Коринтели с удивлением смотрели на этого великана, который с юношеской ловкостью бросился в бушующую Алазань.

Чабаны вытащили из воды барана и овец. Оставалось спасти последнего черного барана, которого течением отнесло далеко в сторону. За ним отважно плыл Абриа.

— Какой удивительный старик. Сколько ему лет? — спросил Ахалкаци у Цихиставн.

И пока тот ответил, Коринтели как бы про себя произнес:

— То ли было... Вспомните, с каким юношеским пылом носился на коне по полю Крцанисской битвы восьмидесятилетний Ираклий, как лихо рубил головы врагов.

— Здесь дело в другом,— заметил Церодена.— Абриа спасает колхозное добро. Вот что важно!

Стоящий за спиной Цихистави молодой чабан усмехнулся и сказал:

— Дело в том, что этот черный баран собственность Абриа, а то вряд ли бы он так старался его спасти...

19. ПИСЬМО ОТ ТЕТКИ ЕВФЭМИИ

Коринтели весь отдавался работе. С утра он отправлялся на микроучасток, на колхозные виноградники, а вечером допоздна трудился над своей книгой. Он полностью выключился из домашней обстановки и за день перебрасывался лишь несколькими словами то с Майей, то с Андро.

Засуха угрожала виноградникам.

Как-то утром шел Коринтели, понурив голову, между рядами лоз, срывал засохшие листы, осматривал тощие стволы. Что делать? Природа, казалось, решила одним ударом уничтожить плоды большого труда множества людей.

Огорченным вышел он из виноградника и, прикрыв за собой калитку, пошел по тропинке, что вела к сараю для саженцев.

— Батоно Вахтанг,— сказал ему одноглазый Гайоз.— Вчера целый день вас разыскивал какой-то старик из Телави. Он раза три приходил сюда. Я посоветовал ему заглянуть к вам в гостиницу, но он отказался. Обещал сегодня снова сюда наведаться.

Коринтели забеспокоился. Кто бы это мог быть? Он расспросил Гайоза о внешности того человека. По всему выходило, что это был не кто иной, как дядя Нико. Но что привело его сюда? Ведь они недавно виделись. И почему он избегает встречи в доме? Коринтели недоуменно

повел плечами. Вероятно, случилось что-то весьма важное. Но что именно?

Ему недолго пришлось ждать ответа на эти вопросы. Навстречу ему шел дядя Нико.

— Я уже второй день ищу тебя, Вахтанг! — сказал он волнуясь.

— Что случилось, дядя Нико?

Тот медлил с ответом.

— В гостиницу ты ко мне не заглядывал? Почему? — спросил Коринтели.

— У меня не было желания встречаться там с тетей Варей и Медико. Здесь, в конце села, живет мой кум, у него я и остановился. Я искал тебя всюду, но никто не знал, где ты. Какая-то молодая женщина сказала, что ты на строительстве ГЭС в Гвелети, и я уже собирался идти туда.

Коринтели едва держался на ногах от волнения.

— Давай-ка присядем, дядя Нико. Рассказывай, что случилось.

— Ничего особенного. Но я принес тебе довольно неприятную весть, Вахтанг.

— Какую?

Дядя Нико глубоко вздохнул.

— Позавчера ночью я встретил заведующего артелью, где служит эта чертова тетя Варя. Он спросил меня: «Не встречаете ли вы Варю, вдову Джорджадзе?» — «Встречаю», — ответил я. Потом он сообщил, что ей пришло письмо из Парижа, почтальон уже третий день ее разыскивает, и передал мне пакет. Взял я его и, знаешь, не смог удержаться — вскрыл! Я поступил, конечно, недостойно, и не будь это письмо из Парижа, адресованное тете Варе, я никогда бы этого не сделал. Но помнишь, Вахтанг, я говорил тебе в Телави: там, где тебя нет, я — твои глаза и твои уши. Поэтому-то я и позволил себе вскрыть чужое письмо. Вот оно.

И дядя Нико вытащил из бокового кармана пиджака большой конверт.

В нем Коринтели обнаружил письмо Евфэмии и множество фотографий Люсьена Шаркутье.

«...Люсьен, как я уже тебе писала, страдает меланхолией,— читал Коринтели.— Позавчера он возвратился в Париж после длительного путешествия. По его поруче-

нию шлю тебе для Медико эти фотографии. Он передает ей пламенные поцелуи и умоляет вернуться к нему».

Коринтели аккуратно вложил фотографии и письмо в конверт.

— Теперь мне все ясно, дядя Нико,— сказал он.— Конверт передай по назначению...

Медея, уступив настойчивым просьбам тетки, решила проветрить свой гардероб.

Она заставила шофера и Майю вытащить во двор огромные кофры[1] и кожаные чемоданы.

— Это лишь часть моих парижских туалетов,— сказала печально Медея.— Я собиралась все вернуть Люсьену, но тетя Евфэмия запретила... Я виновата перед ним, —продолжала она задумчиво.— Теперь мне ясно, что я поспешила... и тогда, когда выходила за него замуж, и тогда, когда оставила его...

Она вынула из чемоданов платья — изделия первоклассных парижских мастериц. Здесь же лежали пальто, шубы. У тети Вари горели от зависти глаза.

Ее отвлек Андро — в руках у него было адресованное ей письмо.

— Где ты взял его?

— Один телавский шофер передал для вас,— ответил Андро.

Тетя Варя вскочила и, что-то шепнув Медее по-французски, вскрыла конверт.

— Очки! — крикнула она.

Медея подала ей очки.

— Письмо от Евфэмии! — радостно воскликнула тетя Варя и принялась читать.

Дочитав письмо до конца, она сказала:

— А я ведь и впрямь ясновидящая. Ты сомневалась, примет ли он тебя? Человек из-за тебя заболел меланхолией, понятно? Да он будет целовать след твоих ног!

Заметив вблизи Майю, тетя Варя умолкла. Потом она принялась разглядывать фотографии.

— Вот Люсьен блаженствует в Монте-Карло, вот играет в винт со своими друзьями,— показывала она снимки своей племяннице.— Вот отдыхает в Ницце на веранде гостиницы «Мажестик». Вокруг него множество

[1] Кофр — дорожный сундук с несколькими отделениями.

китайских ваз, украшенных белыми цветами. Начинается его путешествие по Италии! — произнесла она в таком восторге, словно сама была участницей этого путешествия...

Долго рассматривали тетя Варя и Медея фотографии, на которых была зафиксирована поездка банкира Шаркутье в Италию; потом, сложив все карточки и тяжело вздохнув, тетя Варя заключила:

— На этих фотографиях не хватает только одного... Тебя, моя дорогая!

Она хотела сказать еще что-то, но вблизи послышались шаги. Тетя Варя быстро спрятала фотографии и письмо. Подошел Коринтели.

Медея, взглянув на усталое, раскрасневшееся от жары лицо мужа, сказала:

— Все это плохо кончится, Вахтанг.

— Что именно? — иронически спросил Коринтели.

— Посмотри в зеркало, на кого ты похож. Разве можно с твоим здоровьем работать в такую жару?

— А я думал, ты говоришь совсем о другом.

Медея сделала вид, будто не расслышала. Тетя Варя сразу же перешла на менторский тон:

— Вы должны беречь свое здоровье!

— Приготовь хозяину завтрак,— крикнула Медея появившейся Майе.

Но Коринтели отказался от завтрака, переоделся и попросил Майю позвать Андро. Жене он заявил, что едет в Кварели на совещание.

Тетя Варя, посмотрев на нетронутый завтрак, испуганно сказала Медее:

— А вдруг Андро показал ему это письмо?

— Вахтанг никогда не позволит себе вскрыть чужое письмо,— ответила Медея.

20. ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ — ДВУХ ЗАЙЦЕВ

Абриа Уджираули вернулся домой одуревшим от вина. Еще не войдя во двор, он начал звать жену:

— Мао! Мао-о!

Мао пекла хлеб в тонэ и не сразу ответила мужу:

— Мао! Мао-о! — продолжал орать Абриа.

Со двора выглянула Тетро — его внучка. Она была в разводе с мужем, и Абриа недолюбливал ее.

Увидев Тетро, Абриа рявкнул на нее, как на ненавистную собаку.

Тетро убежала и позвала бабушку.

— Куда ты к черту девалась! — орал Абриа.

— Хлеб пекла,— дрожа, отвечала вымазанная в муке и обливающаяся потом Мао.

— На кой черт тебе хлеб, старуха, когда все горит от жары. Дай мне воды!

— Воды нет. Я пекла хлеб, Тетро шила, остальные ушли на собрание,— оправдывалась Мао.— Некого было послать за водой.

Абриа не унимался:

— Все кругом горит от жары, высохли пастбища, погибают овцы, а мои дети и внуки ходят по собраниям, шьют себе платья, чешут языки!

Мао покорно скрестила на груди руки. Ее молчание только подлило масла в огонь.

— Разгневали Квакаца! Построили сарай на участке Мамуки, посадили лозы, по костям святых проехались на тракторах. Квакаца всех за это накажет,— пророчествовал Абриа.

— У меня хлеб подгорит,— робко произнесла Мао, намереваясь вернуться к тонэ.

— Мао-о! — заорал снова Абриа.— Воды!

— Где я тебе сейчас возьму воду? Я сама умираю от жажды у раскаленного тонэ.

— Воды, говорят тебе, живо!

Тогда Мао принесла кружку пахты.

Абриа пригубил кружку, поморщился, сплюнул и со злостью швырнул ее в Мао. Та успела увернуться.

— Эту прокисшую пахту вылей на могилы своих предков! — кричал Абриа.

— Клянусь святым Георгием-Квакаца, это сегодняшняя пахта,— успокаивала его жена.

— Пусть покарает тебя Квакаца!

Мао молчала. Она снова попыталась возвратиться к тонэ.

— Хлеб у меня подгорит,— умоляюще сказала она.

Абриа не отпускал ее.

— Какого дьявола ждете?! — орал он на нее и на всех домашних.

— А что мы должны делать, батоно?

— Почему не идете на дидеба?[1] Почему не нарядите гугай?[2] Или бросьте в воду кости покойников и этим умиротворите Квакаца. Не забывайте, что мы, тушинцы,— его рабы.

— Я ведь одна,— успокаивала пьяного мужа Мао.— Куда мне идти одной?

— Как это — одной! У тебя семь невесток да около двадцати племянников и их жен.

— Что ты говоришь? Ведь они комсомольцы. Кто разрешит им идти на дидеба или наряжать гугай и бросать в реку кости покойников.

— Сегодня же собери женщин,— настаивал на своем Абриа,— и идите к Квакаца. И Тетро возьмите с собой.

— Мы-то, старухи, пойдем,— соглашалась Мао.— А Тетро — комсомолка, она в церковь не пойдет.

— Знать ничего не хочу! —не успокаивался Абриа.— Пусть идет с вами. А если откажется, чтоб ее ноги больше здесь не было.

Еще с весны из Бермухи в райком партии стали поступать сигналы о том, что на овцеводческой ферме не все благополучно. Случилось, по-видимому, то, что обычно бывает, когда, занявшись одним — в данном случае виноградниками и строительством ГЭС,— забыли о другом. Внимание к животноводству ослабло, и этим кое-кто воспользовался.

Правление колхоза создало комиссию во главе с Попола.

Обнаружилось, что на телавском базаре какие-то неизвестные лица продавали ягнят, привезенных из Бермухи. На ферме увеличился падеж скота. Зоотехник говорил, что его вызывают в райком, на самом же деле он отправлялся в Кварели к своим дружкам и пьянствовал с ними.

---

[1] Дидеба — старинный обряд, согласно которому женщины во время засухи обходили босиком деревню, собирали по горсточке пшеницу и приносили ее в дар иконе.

[2] Гугай — подобие деревянной куклы, которую, по обычаю горцев-тушин, в засушливую пору как девушку обряжали в подвенечное платье, окунали в реку и при этом пели: «Боже, ниспошли нам дождь, не хотим засухи».

Комиссия не могла пройти и мимо того, что овечья отара, за которой присматривал Абриа Уджираули, осталась как-то ночью без присмотра, на нее напал медведь и задрал несколько овец. А потом, спустя месяц, пропало еще десяток. Затягивалась стрижка овец, их перегон на летние пастбища.

Абриа ссылался на то, что была засуха и выгорело пастбище на горе Сперозия, а также на горах Скаория, Дидо и поэтому, мол, незачем гнать туда овец. Когда же председатель колхоза Тедо Таралашвили не согласился с ним и настоял на том, чтобы гнать отару в горы, Абриа задержал почему-то часть овец в Бермухе и сам, прикинувшись больным, остался дома.

Когда комиссия потребовала у Абриа объяснений, он вовсю разорался:

— Вы сами виноваты во всем случившемся. Развели виноградники. На земле Девяти дубов не осталось и травинки. Теперь взялись за гвелетскую землю. Разгневали святого Георгия-Квакаца, вот он и послал на нас засуху. Как было не отощать овцам.

Выходило у него так, если кто и повинен в случившемся, то только те, кто разводили виноградники у Девяти дубов.

Кончилось тем, что колхозное собрание сняло Абриа Уджираули с должности бригадира и заодно освободило Тедо Таралашвили за либеральное отношение к лодырям и расхитителям колхозного добра. Ему, вероятно, досталось бы еще больше, но учли его прошлые боевые заслуги.

Председателем колхоза единодушно избрали Годердзи Эланидзе. А вместо Абриа — Швелу Габедаидзе.

Абриа негодовал. После собрания он пошел к своему брату Луо, чтобы с ним отвести, как говорится, душу. Они изрядно выпили, Абриа всячески поносил колхозного парторга Габо Цискарашвили и Годердзи.

— Пока я жив,— шумел Абриа,— Годердзи не дождется того, чтобы жениться на Нуну. Я силой заставлю ее выйти за этого Коберидзе.

Он вспомнил Канкрэ и принялся ругать его:

— Изменил нам Канкрэ, на задних лапках стоит он перед Годердзи после того, как тот набил ему морду... Баба он, слюнтяй, а не мужчина.

Запасы чачи[1] у Луо истощились, и тогда Абриа схватил свою палку и побрел домой.

Здесь его обуял новый приступ ярости. Хозяйский его глаз, пусть и пьяный, сразу же обнаружил уйму непорядков. Во-первых, была открыта калитка. «Это, вероятно, Тетро забыла ее запереть»,— зло подумал Абриа. Во дворе разгуливала свинья Лалбацы. Если бы сейчас ему попался ее хозяин, Абриа, не задумываясь, раскроил бы ему череп своей палкой.

— Мао-о! Мао-о! — вопил Абриа, забыв, что его старухи нет дома, что она вместе с другими женщинами из рода Уджираули пошла, как он сам требовал недавно, в церковь святого Георгия.

На его крик откликнулись только гуси, разгуливавшие по двору.

Абриа начал звать внучку:

— Тетро! А, Тетро-о-о-о!

Но и ее не оказалось дома.

Взмахнув палкой, Абриа кинулся преследовать свинью. Та, взвизгнув, скрылась в густых зарослях кукурузы.

Тогда Абриа повернулся к дому соседа Лалбацы.

— Лалбаца, ау, Лалбаца-а! — крикнул он.— Будь ты проклят, сукин сын.

Не довольствуясь этим, он спустил с цепи овчарку Бролу и с ее помощью повел наступление на укрывшуюся в зарослях кукурузы свинью Лалбацы. Долго гоняли они ее, пока, наконец, не загнали в угол двора. Тогда пьяный Абриа выхватил кинжал и пырнул им затравленное животное в спину. Свинья испустила дух, и он, взвалив ее на плечи, оттащил в крапиву, росшую во дворе другого его соседа — Швелы Габедаидзе, которого сегодня назначили бригадиром вместо Абриа.

Как ни был Абриа пьян, но он не потерял рассудка и рассчитывал одним выстрелом убить двух зайцев: оставить Лалбацу без свиньи и вызвать у него подозрение, что Швела ее заколол,— тогда оба его врага сцепятся друг с другом.

Утомленный Абриа вошел в дом. На столе стояли миска со сваренной фасолью, заправленной луком и киндзой, и миска с каурмой. Он достал из стенного шкаф-

[1] Чача — виноградная водка.

чика кувшин можжевеловой водки и с аппетитом принялся ужинать, продолжая проклинать своих детей, зятьев и невесток.

Опорожнив кувшин, Абриа прилег на тахту, положил под голову папаху и сразу же уснул.

...Над вершинами седоголовых гор парят орлы, на склонах Сперозии пасутся овечьи отары. Абриа стоит у калитки загона и, ударяя пастушьим посохом по спинам выбегающих оттуда овец, считает их... Пять тысяч белых тушинских овец. Пять тысяч своих, собственных! Тяжелым сном оказалось и миновало все, что до сих пор происходило в мире. Абриа снова хозяин пяти тысяч овец!

Но вот беда. Солнце поднялось над ледниковыми шлемами гор, и стало нестерпимо жарко. Белые овцы Абриа вдруг почернели, словно уголь. Истомленные зноем, они жалобно блеют. Вдруг они обрели дар человеческой речи и умоляют хозяина дать им воды...

И дальше Абриа видит нечто еще более необычное: дьякон принес икону святого Квакаца и водрузил ее на постаменте, сложенном из камней и украшенном турьими и оленьими рогами. Дьякон тряхнул хоругвью, увешанной бубенчиками, и стал громко молиться:

«Слава тебе, всевышний! Пусть сегодняшний день принесет нам счастье, пусть каждой овце прибавится ягненок, пусть каждой корове прибавится теленок, пусть к каждому ребенку прибавится ребенок. Пусть овцы снова обретут свой цвет».

Потом Абриа вывел из отары черного барана, опалил ему шерсть на лбу и заколол. Черный баран, принесенный в жертву, стал белым. И тотчас же стали снова белыми все овцы.

Но они не перестают жалобно блеять. Все нет дождя. «Разгневали Квакаца,— думает Абриа,— не помогла молитва...»

В это время до его слуха донесся яростный лай Бролы. И он проснулся весь в поту.

Абриа поднялся и вышел на задний двор. Собака продолжала лаять. Он стал прислушиваться. В винограднике мелькнул кто-то в белом. Рядом вырисовывался чей-то силуэт. Абриа крадучись пробрался в виноградник. И тогда он расслышал шепот:

— Ты знаешь, Тетро, у меня нет ничего, кроме своих

рук. Единственную мою свинью кто-то заколол и бросил во двор Швелы.

«Это, конечно, Лалбаца»,— с ненавистью подумал Абриа.

Затем послышался тихий голос Тетро:

— Мне ничего, дорогой, не надо, кроме твоей любви. Я давно люблю тебя, но дед все твердил, что мужем моим должен быть обязательно тушин, и насильно выдал меня замуж. Из-за любви к тебе я бросила своего мужа. Не бойся. Мы будем вместе трудиться и жить, не зная нужды, мой дорогой...

Лалбаца отвечал:

— Всю свою молодость я пьянствовал. Я вел себя так потому, что жил без тебя. В вине пытался я утопить свою печаль. Страдая о тебе, я так рано и поседел. А теперь увидишь, как я буду трудиться!

И тут Абриа не столько разглядел, сколько догадался, что они обнялись и стали целоваться.

Тогда он сорвался со своего места, набросился на них и стал хлестать найденным тут же ивовым прутом.

Лалбаца было схватился с неожиданно напавшим на них человеком, но, узнав в нем Абриа, вырвал у него прут и вместе с Тетро скрылся в темноте.

21. НА ШТУРМ МАМУКИ

— Микроучастку кое-как помогли, но виноградники гибнут. Где взять воду, чтобы их оросить? — спрашивал Годердзи у Цихистави.

Годердзи не первый год знал секретаря райкома партии и не раз убеждался в его находчивости. Цихистави всегда трезво взвешивал «за» и «против», плюсы и минусы и обычно находил выход из затруднений. Он никогда не опускал рук перед трудностями, и это очень нравилось Годердзи.

Но теперь Годердзи думал: «А что может сделать Цихистави? Откуда возьмет он воду?»

Молодой председатель колхоза видел, что серьезно встревожен и Коринтели. И он ищет и не находит выхода из беды, которая угрожает их виноградникам.

Это был не старый, много лет росший виноградник, у которого корневая система сидит глубоко в земле, а

юные посадки, весьма чувствительные к малейшим изменениям влажности почвы. Гибель лозы на плоскогорье Девяти дубов подорвала бы авторитет профессора Коринтели. Ему оказали доверие, а он его не оправдал. Ссылку на волокиту и саботаж со стороны главного инженера «Сельэлектро» вряд ли кто принял бы во внимание.

Коринтели представлял себе, как возрадуются все противники закладки виноградников в Бермухе. Против этого выступал кое-кто и в Наркомземе Грузии,— например, начальник одного из отделов — агроном Биланишвили. Он утверждал, что дело это безнадежное.

Коринтели знал, конечно, что плоскогорье Девяти дубов каменистое, оторванное от окружающего земельного массива. После того как землю эту очистят от диких зарослей и оголят ее верхние слои, солнце и ветры высушат ее еще глубже. А виноградники нуждаются в орошении. «Без воды не цвести лозе». И он, как и Цихистави, который уверовал в него и горячо поддерживал, возлагал большую надежду на ГЭС. Если бы не проклятый Церодена, из-за которого потеряли три драгоценных месяца, вода уже была бы! А теперь?.:

Возникшая опасность еще больше сблизила ученого и секретаря райкома.

Годердзи и семь бригадиров встретили Цихистави, Коринтели, инструктора ЦК Ахалкаци и главного инженера «Сельэлектро» возле Мамукской крепости.

Церодена доказывал, что строить отводной канал для такой маленькой ГЭС — значит разбазаривать государственные средства. Цихистави и Коринтели возражали ему. Их поддержал Ахалкаци.

Церодена вынужден был сдаться. Он сказал:

— Пусть будет по-вашему. Ваш меч, моя шея!

В окрестностях Мамуки царила тишина. Над разрушенными башнями и бойницами разрослись деревья инжира. Кроме того, все вокруг заросло диким кустарником. Из ежевичных зарослей выползали осоловевшие от жары змеи.

По всему, что открывалось человеческому глазу, можно было судить о том, как жестоко свирепствовали здесь насилие и разрушение. В главном зале дворца богохуль-

ного эристава выросли огромные дубы и осины. Коринтели внимательно осмотрел их и заключил: каждому дереву не менее тысячи лет.

Жалко разевали свои пасти древние камины. Сохранились гигантские каменные сацнахели — давильни, квеври, приспособления для выжимки масел, обломки орнаментов, изуродованных железных дверей и окон.

— В эту махину запрягали рабов, вертели ее и таким образом добывали масло,— пояснил Церодена, взявший на себя роль гида.

Он рассказывал так, будто был когда-то управляющим эристава Мамуки.

— Это главный зал, там спальные комнаты, а здесь веранда. Алазанская долина с этой веранды как на ладони. А это церковь, в которой хранится икона всесильного Квакаца. Купол церкви подобен сванской шапке. Построена она не позже десятого века. Должен сказать, что это единственный храм во всей Грузии, кроме Некреса, где в виде приношений брали только свинью. Надо полагать, что местные монахи любили свинину.

Сюда не только приходили молиться, но и пригоняли скот для освящения, приводили девушек на выданье. Горцы искали здесь своих кровных врагов. Бились они на саблях, конечно, за церковной оградой. В борьбу вступала вся семья, затем весь род.

Они подошли к железным, изъеденным ржавчиной дверям старой церкви. Эриставы, епископы и святые, изображенные на полустертых фресках, походили на ободранных нищих.

Коринтели всмотрелся в черты человека с длинными усами. Правую руку он положил на эфес сабли, а в левой держал щит величиной с колесо арбы. Это и был сам эристав Мамука.

На противоположной стене сохранилось изображение его лютого врага — корикоза. На лице корикоза цвета яичного желтка выделялась черная борода. Туловище его было написано так примитивно, что он больше походил на детскую куклу, чем на человека. Низкорослый архиепископ зло буравил грозными глазами представительного феодала.

В Бермухе под старым дубом Цихистави, Коринтели и их спутников ждали сотни людей. Они собрались, что-

бы двинуться на штурм Мамуки. Стихийно возник митинг. Говорили коротко и ясно.

— Наша героическая партия ведет народ вперед, и потому не страшны нам ни враги, ни стихийные силы природы,— заключил свою речь Цихистави.

После этого тронулись в путь.

Впереди двигалась техника: тракторы, бетономешалки. За ними шли люди с лопатами, топорами, кирками. Молодежь затянула песню.

Позади всех тряслась потрепанная трехтонка, груженная мешками, корзинами, бочонками с вином. На мешках восседали мельник Ниортава и его «ангелы-хранители» — Канкрэ, Лалбаца и Гагриа.

— Везем приношение святому Георгию, ребята,— гримасничал Ниортава, обгрызая початок вареной кукурузы.

— Эй ты, толстопузый, не поминай лихом Квакаца, не то он как дунет, сразу в штаны наложишь,— смеялся Лалбаца.

— Ты, длинный шест, лучше о себе побеспокойся,— отвечал Ниортава.— Или ты надеешься, что Квакаца с тобой ничего не сможет сделать?

— Это почему? — крикнул Канкрэ.

— Квакаца всесилен, но свести с ума сумасшедшего не может даже он,— сказал Ниортава и, обглодав початок, швырнул им в Канкрэ.

— Что ты делаешь, чертово отродье?! — озлился Канкрэ.

Тогда Ниортава принял серьезный вид и как бы посочувствовал ему:

— Тебе не следовало бы сегодня ехать с нами, мой дорогой Канкрэ. Ведь у тебя там могут заболеть зубы, или, чего доброго, начнутся колики в животе.

Канкрэ не понимал шуток.

— Что ты мелешь, старый брехун! Если я еду, то буду работать за троих. Чтоб отсохла твоя пустая болтливая тыква!

Ниортава не лез за словом в карман.

— Ты ведь, кроме ловли рыбы да кражи арбузов, ничем днем не занимаешься, а по ночам заглядываешь в курятники к вдовам.

— В курятниках-то видели не меня, а тебя,— отби-

вался Канкрэ.— Ты — тень бутылки! Любой петух выше тебя, и какая баба... Хе... хе... хе...

Кто знает, как долго острословили бы они, если бы машина не подошла уже к Мамукской крепости.

Канкрэ сразу же принялся сгружать мешки. Раскинув свои длинные руки, он вместе с мешком прихватил и Ниортаву. Мельник не растерялся. Он поправил сползающие штаны и спокойно сказал:

— Дай бог тебе здоровья, Канкрэ. Я давно уже не сидел на ишаке.

Только в престольные праздники бывало в этих местах столько народу. Новая жизнь могуче ворвалась и в это мертвое городище.

Мамука ожила.

Над всем Гвелетским плоскогорьем гремела сейчас величественная симфония труда. Голоса людей слились с ударами лопат, топоров, кирок, молотков, с гудением тракторов, бетономешалок, с визжанием пил...

Люди не знали усталости. Они были объяты единым порывом. Нельзя было терять ни дня, ни минуты. Виноградные лозы торопили их. Нужно было наверстать упущенное. Никого не приходилось подстегивать. Каждый был увлечен работой и старался внести свой вклад в общее дело.

Сюда пришли Цискаришвили, Торгванадзе, Эланидзе, Набандзе, Хецодзе — потомки тех тушин, которые сражались в войсках царя Ираклия в те годы, когда он, оставив окруженную лезгинами и турками Кварельскую крепость, пошел на Дегестан и тем самым вынудил лезгин снять осаду.

Здесь отважно трудились потомки и тех мужественных воинов, которые под знаменем Ираклия участвовали в Крцанисской и Аспиндзской битвах — Аладашвили, Махарашвили, Пейкришвили, Квирикашвили, Махнашвили, Мазнашвили, Наврозашвили, Сипрошвили...

Новое время потребовало от них трудового героизма, и они его проявляли.

Пять братьев Деметрашвили — известные заалазанские плотники — мастерили опалубку для заливки бетоном. Три брата Джохадзе тесали камни для здания ГЭС.

Бермухские друзья — Вано Хелашвили, Ника Уджираули и Коля Соколов — образовали бригаду трактористов.

На стройке работали пятнадцать внуков-комсомольцев Абриа и Луо Уджираули.

Кориители, держа рулетку и ватерпас, проверял подготовку траншей. Пренебрегая запретом врача, он находился на стройке целыми днями.

Как доменщики возле раскаленного металла, обливаясь пóтом, работали в невыносимую жару Канкрэ, Лалбаца и Гагриа. Бермухцы были удивлены: что́ произошло с этими лентяями, которые многие годы занимались только браконьерством и пьянством?

Когда двенадцать сильных мужчин снимали с пятитонной машины часть турбины, Канкрэ, занятый своим делом, заметил, что им трудно, и подставил свое плечо.

Где требовалась помощь, там немедленно появлялись Лалбаца, Гагриа, Канкрэ,— и работа закипала.

Шутками и смехом подбадривали они товарищей и сами были рады тому, что постигли в конце концов непреложную истину: если человек берется с любовью за дело, то он превращается в творца и бремя труда теряет свою тяжесть.

Когда приступили к установке турбины и агрегатов, с электромехаником Годабрелидзе случился солнечный удар. Заменить его было некем. Канкрэ разыскал Цихистави и сказал ему:

— Разрешите мне стать на место Годабрелидзе.

Цихистави много дурного слышал о Канкрэ и недоверчиво отнесся к его предложению.

— А что ты, парень, понимаешь в этом? — сказал он.

— Что понимаю, покажет дело,— ответил Канкрэ.

Выяснилось, что Канкрэ несколько лет работал электромехаником в Тбилиси. И он успешно заменил выбывшего из строя Годабрелидзе.

Не узнать было и Лалбацу. Раньше он так неловко орудовал мотыгой и киркой, что у них то и дело ломались рукоятки. Ниортава шутил: «Лалбаца больше времени тратит на починку рукояток, чем на работу». А теперь он трудился рядом с другими и не хуже других.

На Гвелетском плато, в окрестностях Мамукской крепости, стоял нестерпимый зной. Дул восточный ветер, не приносивший прохлады и поднимавший столбы пыли. Женщины и дети не успевали подносить воду землекопам, бетонщикам, арматурщикам. «Воды»,— просили всюду.

Больше всего она была нужна электросварщикам, у которых на лицах были надеты металлические маски наподобие тех, что носили древние рыцари. Они сваривали арматуру и трубы.

Фронт работ растянулся на несколько километров. Не всюду могли проходить машины. На некоторые участки приходилось доставлять цемент, известь, арматуру и щебень на осликах или, того хуже, на собственных плечах. Применили традиционный способ постройки крепостей — до пятисот человек выстраивались в ряд и из рук в руки, как по конвейеру, передавали все необходимое из одного конца в другой.

А зной, как назло, усиливался. В тени и то было сорок пять градусов. Ветерок замер. Деревья протянули ввысь ветви, словно молили небо ниспослать живительную влагу. Листья стали похожи на жестяные.

К озерам и родникам устремились звери, птицы и пресмыкающиеся.

Коринтели то и дело прикладывал к вискам мокрый носовой платок. Цихистави говорил ему:

— Приходите только в утренние часы. В такую жару вам здесь не место. Поберегите свое здоровье.

Но Коринтели по-прежнему проводил в Мамуке целый день — с утра до вечера.

Тяжелей жары был для него страх за виноградники. Здесь, среди людей, он чувствовал себя лучше. Видя, с каким энтузиазмом они работают, Коринтели верил, что недалек тот день и час, когда будет отвоевана вода и бермухские лозы будут спасены.

Цихистави и Коринтели поднялись на утес и с него взглянули на плато городища, врезавшегося треугольником в окружающие его леса. Со всех сторон его обступали огромные валуны — как будто дэвы играли здесь с мячами и побросали их тут.

— На этом плато много народа разместится,— сказал Цихистави.— Видите, Вахтанг, на том холме мы поставим памятник Ленину и вокруг него разобьем цветники, а правее и левее от памятника вырастут жилые дома, школа, клуб, больница, разные колхозные постройки. Скоро появятся переселенцы. В первом квартале будущего года нам должны отпустить для них сотню готовых домов. От Бермухи сюда продолжат асфальтированное шоссе.

Они спустились на плато. Внимание Кориптели привлекли кусты шиповника. Рубиновые его плоды ярко рдели на фоне пожелтевших от жары листьев.

Цихиставп отвлек его.

— Нас ждут большие дела, дорогой товарищ! На этом плато будет прекрасно расти лоза. Не так ли?

— Позавчера я обошел плато и почти везде видел индикаторы[1],— ответил Корпители.— Под виноградники можно освоить до тысячи гектаров. А вон там, на склоне оврага,— сказал он улыбаясь,— я поставлю свой домик.

Корпители указал рукой, чтобы уточнить место своего будущего жилища, и неожиданно для себя и Цихиставп обнаружил в этом направлении группу людей. Они шли к церкви святого Георгия. Среди них было несколько женщин в черных одеждах со свечами в руках и трое мужчин, которые тащили что-то в мешке.

— Сегодня атенгеноба[2],— вспомнил Цихистави.— Будут, вероятно, жертвоприношения.

Так оно и было. Тремя мужчинами оказались Абриа, Луо и пастух Поцхвери. Они тащили свинью.

У врат древней церкви перекрестились. Абриа подтащил свинью к ближайшему дереву, зажег свечку и опалил свинье морду. Та яростно визжала, стараясь вырваться на свободу, но ее крепко прижали к земле. Минуты ее были сочтены. Абриа пробормотал молитву, и свинью закололи.

Поцхвери остался у туши, остальные вошли в церковь, и под ее древними сводами зазвучало заклинание:

— Дале, ламре, циборе летле вай рджул сакристионуин, вай да чуиши, вай бецчуиши цкалобеб, аминь[3].

— Аминь! — повторили коленопреклоненные люди. Они молили всесильного Квакаца ниспослать дождь на их страждущую от безводья землю.

— Это последние слуги Квакаца,— сказал о них Цихистави.

[1] Под индикатором в данном случае подразумевается растение, которое свидетельствует, что в этих местах может расти виноградная лоза.

[2] Атенгеноба — праздник святого Георгия.

[3] «Боже, ангелы гор и долин, помогите нам, христианам...» и т. д. (на тушинском диалекте).

На следующий день серые облака покрыли небо и на рассвете окропили землю.

Старики превозносили Квакаца, который якобы внял их молитве. Но вскоре снова воссияло солнце и продолжало свое триумфальное шествие по побелевшему, словно лопотский мрамор, небу. К полудню подул сухой восточный ветер.

Квакаца оказался глухим и отнюдь не всесильным.

Не небо ниспослало спасение алчущей земле,— его добились люди.

Бермухская ГЭС была в конце концов пущена.

Вода устремилась по каналу, пересекла склон и весело растеклась по оросительной сети.

Босоногие ребятишки бежали ей вслед и, пританцовывая, безудержно хлопали в ладоши. Женщины протягивали к ней руки и старались дотронуться. Старики суеверно крестились.

Счастливые бермухцы встречали воду, как встречают долгожданного дорогого гостя.

Когда-то греки, измученные долгим переходом по выжженным зноем степям, завидев Черное море, радостно закричали: «Талатта! Талатта!»[1]

Так же восторженно бермухцы восклицали сейчас:

— Вода! Вода!

22. ВСТРЕЧА В ПУТИ

На Алазань пришла кахетинская осень, такая щедрая на плоды и краски. Но плодов на этот раз было мало — горячие, сухие ветры пронеслись над садами и виноградниками.

Абриа, Луо, Поцхвери и Ути Уджираули жили не в самой Бермухе, а неподалеку от нее, на склоне горы, отделенной от Бермухи глубокими оврагами. «Черным хутором» прозвали это место. Дурная была у него слава. Если случалось в Бермухе какое-нибудь несчастье — подозревали чернохуторян: это они-де сглазили, беду накликали. Само слово «чернохуторянин» стало бран-

[1] Талатта — море (греч.).

ным. И молодежь из семей Уджираули, проживавшая здесь, желая забыть прошлое, стереть его из памяти, назвала свой хутор Красным.

Изменилось название хутора, но не изменилось место, на котором он стоял. Чтобы провести туда через овраги воду, нужно было строить дорогостоящие акведуки. А средств на это не было. Хутор оставался без воды.

Уджираули пытались потихоньку договориться с Цероденой, но из этого ничего не вышло: тот заломил баснословную сумму.

После того как Коринтели увидел, что его детище — виноградники на плоскогорье Девяти дубов — спасены, он решил заняться своими личными делами.

Трудно было работать в единственной комнате бермухской гостиницы. Особенно тяжело стало после приезда тети Вари: ее ежедневно навещали многочисленные родственницы, у которых не оставалось на земле уже никаких других занятий, кроме хождения друг к другу в гости и на панихиды.

На том самом холме в Гвелети, который давно облюбовал Коринтели, поставили пятикомнатный финский домик. Хозяин его вставал чуть свет и работал вместе со столярами и каменщиками. Им на помощь приходили Годердзи и Лалбаца. Возле дома разбили цветник. Сюда же пересадили многолетние фруктовые деревья, и сразу тут вырос большой сад.

Все удивлялись тому, с какой быстротой все это свершилось. Ведь еще совсем недавно, с месяц назад, здесь были заросли колючего кустарника, боярышника и дикого кизила.

Тут же на Гвелетском плато двумя шеренгами, вдоль улицы, вытянулись двести стандартных домов для переселенцев. Начали строить клуб, амбулаторию, сельмаг, аптеку...

Медея, как мы помним, не раз жаловалась прежде на неудобства гостиницы. Но она не была в восторге и от нового дома, он не радовал ни ее, ни тетю Варю. Сюда непрерывно доносился грохот тракторов, стук топоров и молотков. Все на свете, говорят, относительно, все познается в сравнении. Жизнь в гостинице была для них куда покойнее и удобнее, чем здесь.

Старая Майя не могла ежедневно подниматься в Гве-

дети и приходила на уборку лишь два раза в неделю. Медее и тете Варе пришлось самим заниматься хозяйством: готовить пищу, убирать комнаты, мыть посуду...

Повесят они днем сушить белье и, понадеявшись друг на друга, забудут к ночи внести его в дом. Ночью вспомнят — и как ошпаренные срываются с постелей. А на дворе ветер, гроза.

Чего проще, казалось бы, отварить картофель или пожарить мясо. Но картофель у них оказывался сырым, а мясо пережаренным.

А как трудно было им мыть и чистить посуду!

Кроме этих неудобств, в новой жизни возникли и другие.

Бермуху часто навещали гости — родственницы из княжеских семей Вачнадзе, Джорджадзе, Русишвили. Приятно было вспомнить с ними былое. Сюда же приходить им стало труднее, и они появлялись реже. Только для Церодены Гвелети не было помехой: он, как и раньше, продолжал навещать тетю Варю.

Сельская жизнь, пусть и осложненная некоторыми заботами, благоприятно сказалась на здоровье тети Вари. Она заметно пополнела. Морщинистое лицо ее округлилось, а крепдешиновое платье и лакированные туфли племянницы совсем преобразили ее.

Коринтели чувствовал себя здесь хуже. Новый дом не принес ему покоя. Всюду его преследовал неприятный, визгливый голос тети Вари. И не только голос. Он испытывал ненависть к этому жалкому осколку разбитого прошлого. Она раздражала и возмущала его. И такое отношение к ней все больше и больше переносилось и на Медею.

— Можешь уже сжечь эти свои парижские наряды! — не сдержался Коринтели, когда увидел, как любовно — в который уже раз! — она с тетей Варей перекладывала свой гардероб.— Тебе не придется больше щеголять в них на балах.

Тетя Варя вызывающе ответила:

— Как знать, кому что и когда понадобится...

Как-то воскресным утром Коринтели был разбужен звуками горнов и грохотом барабанов. Он надел пижаму и подошел к окну.

Стройным маршем поднимались на Гвелетское плато пионеры.

С радостью смотрел он на возбужденных ребятишек с красными галстуками. Сердце его пело:

«Воспрянь, народ мой, и весельем своим потряси молчание развалин крепостей, храмов, домов!

Воспрянь, народ мой, и утверди жизнь там, где она была уничтожена!»

Но в этот момент он услышал за своей спиной брюзжащий голос тети Вари:

— Только их и не хватало в этом аду!

Коринтели негодующе хлопнул дверью и спустился в сад.

До его слуха донесся отдаленный шум машины. Защищаясь от солнца, он поднес к глазам руку и увидел, как по изогнутой петлями дороге поднималась машина кизилового цвета. Порой она пропадала в красно-желтых кустах можжевельника и в еще густой листве деревьев, потом вновь появлялась, все более приближаясь и ярче сверкая своими никелированными частями.

Коринтели направился было к воротам, чтобы встретить секретаря райкома, но когда машина повернула направо, он решил: Цихистави, очевидно, приехал посмотреть, как устроились новоселы. Коринтели вернулся в сад, сел на большой серый камень и принялся рассматривать горы.

Внизу, вдоль всей кахетинской части Главного Кавказского хребта, протянулся длинный облачный шлейф. Он как бы отделял горы от земли, и казалось, что малахитовые горы подвешены между небом и землей.

Не прошло и двадцати минут, как у ворот раздался автомобильный гудок и из машины вышел бодрый и сильно загоревший Цихистави.

Коринтели поспешил ему навстречу.

«Как обманчиво бывает первое впечатление,— думал он.— Сначала кажется, что от человека веет холодом, а приблизишься к нему — и тебя обдаст приятным теплом».

— Вы, кажется, грустите, товарищ Вахтанг,— сказал Цихистави, открывая маленькую калитку.— Что ж, и погрустить иногда не грешно.

Глаза его заискрились. Он понимающе, по-доброму улыбнулся и окинул взглядом сад.

— А это что, Вахтанг?

— Это приусадебный участок первого поселенца Гвелети,— с гордостью произнес Коринтели.— За какие-нибудь десять дней посадил. Узнаете, что это за дерево?

— Унаби.

— Да, унаби,— подтвердил Коринтели.— Как удивительно корявы и кривы его ветви. Плоды его вначале походят на яхонты, а когда созревают — на рубины. И по своему удивительному вкусу они ни с чем не сравнимы.

— А что вы посадите на этих грядках?

— Здесь посажу до сотни лоз. Возможно, я и преувеличиваю, но я люблю виноград и считаю его царем плодов. Он лучше любых фруктов. Что может сравниться с ним по красоте и вкусу?! Какой другой плод?! И не случайно, конечно, я всю свою жизнь посвятил изучению виноградной лозы. Наш народ ее любит...

Цихистави утвердительно кивнул головой. Он взглянул на часы и заторопился:

— Вот-вот приедут товарищи из здравотдела и переселенческой комиссии. Мне нужно идти, товарищ Вахтанг. Скоро начнется совещание. Завтра-послезавтра откроем медпункт. Да, вы знаете, кого назначили туда заведующей?

Коринтели подумал о Сускии и смутился.

Цихистави заметил это.

— Эх, забыл я фамилию этого врача со странным именем,— сказал он.— Я встретился с ней летом у Нико Мирианашвили. Вы как-то говорили, что учились с ней в Телави.

Значит, это была действительно Суския! Чтобы скрыть волнение, Вахтанг закурил.

— Миндели? Не она ли? — робко произнес он.

— Да, Миндели. А как ее зовут? Кажется, Суския? Такого имени я нигде не слыхал. Она, говорят, хороший врач.

Коринтели с трудом сдерживал свое волнение. Ему хотелось, чтобы Цихистави вновь и вновь говорил о ней, но Цихистави замолчал.

— Когда прибудут переселенцы? — спросил Коринтели.

— Часть, вероятно, сегодня, а остальные завтра. Тут и рачинцы, и пшавы, и хевсуры...

Коринтели хотел пригласить секретаря райкома на обед, но тут же вспомнил о тете Варе и запнулся. Мало ли какую глупость может сболтнуть эта вздорная женщина! Да и обед-то, который она приготовляла, не рассчитан на гостей.

Огорченно простился он с Цихистави. Возможно, что еще что-нибудь рассказал бы Цихистави ему о Сускии. Предстоящая встреча с ней взволновала Коринтели.

Читая книги, мы поражаемся иногда тому, как неожиданно и умело создает писатель сложные коллизии и, смело используя капризы случая, переносит героя в такое место, где его совершенно не ожидаешь встретить. Но ведь так часто бывает и в самой жизни, которая ежедневно и ежечасно творит свои непревзойденные неписаные романы.

Мысль о Сускии не оставляла Коринтели. Он и раньше не раз порывался ехать в Телави, но ему удавалось побеждать это свое желание, сдерживать свое чувство. Он надеялся, что время сделает свое дело и чувство в конце концов остынет, от былого огня останется только пепел.

Изредка приходили письма от дяди Нико, который скучал и звал его в гости. Коринтели благодарил за приглашение и обещал приехать. И он, вероятно, давно бы уже снова съездил в Телави, если бы не Суския. Он сам избегал встречи с ней.

«Все мои оставшиеся силы должны быть посвящены делу!»— твердил он себе.

Медея и тетя Варя собирались в Цхалтубо, а потом — в Абхазию. Коринтели как праздника ждал их отъезда. Тогда он сможет спокойно работать.

Он уже решил перевезти сюда Майю, построить камин... Коринтели долго шагал по своему саду, предаваясь думам. В нем все больше и больше росла уверенность, что в его личной жизни произойдет нечто весьма важное, что она изменит свое течение.

Коринтели быстро вошел в спальню. За ним последовала Медея. Она тревожилась, не привез ли какую-нибудь неприятную весть Цихистави. Коринтели успокоил ее и стал переодеваться.

— Обедать не буду,— бросил он на ходу.

В зеркале мелькнуло его небритое лицо. Он маши-

нально провел рукой по щеке и подбородку. Разве можно было в таком виде появиться перед Сускией?! Он не брился три дня, а постарел, пожалуй, года на три — все лицо в седоватой щетине.

Коринтели вытащил свой несессер, проверил на ногте бритвы. Две оказались тупыми, а одна — с зазубринами. Тетя Варя, должно быть, что-то порола.

Он позвал Майю и спросил, не приехал ли Андро. Парикмахерская находилась в Кварели.

На счастье, машина стояла у дома.

Навстречу им двигались десятки грузовиков с людьми и домашним скарбом. Везли скот: коров, овец, коней. Мужчины, одетые в пестрые хевсурские чохи, и женщины в национальных нарядах пели песни.

— Добро пожаловать! — крикнул им Коринтели и дружески помахал рукой.

Недалеко от Кварели он увидел тяжело груженную санитарную машину, почему-то остановившуюся под придорожными тополями. В кабине, нагнув голову, сидела женщина в зеленом берете. Коринтели не разглядел ее лица, но сердцем почувствовал, что это Суския, и приказал Андро остановиться. Да, это была она.

— Пойди и узнай, что там у них случилось и чем мы можем им помочь,— сказал он Андро.— Только не говори, что я здесь.

Андро вскоре вернулся.

— Плохи их дела, батоно Вахтанг,— сообщил он.— Полетел карданный вал. Мы ничем помочь не можем. Им нужен буксир.

Коринтели предложил было Андро немедленно развернуться. Но потом, вспомнив о цели своей поездки в Кварели, решил все же сначала побриться — не мог же он в таком виде предстать перед Сускией.

Машины миновали тополевую аллею. Коринтели с тревогой увидел тяжело плывущие к совершенно посиневшему хребту тучи. Подул ветер, из-за гор прогремел гром.

«Как бы не хлынул дождь и не простудилась Суския»,— встревожился Коринтели.

— Скорее,— торопил он Андро.

В Кварели, как назло, две парикмахерские оказались закрытыми: одну ремонтировали, а в другой был выходной день.

Андро успокоил:

— Я знаю третью, на окраине.

Перед кривыми зеркалами работали два парикмахера в грязных халатах. У одного из них, низкорослого, толстого, была перевязана челюсть. Всюду лежала пыль.

Коринтели когда-то давно получил экзему, побрившись в такой цирюльне, и его буквально охватила дрожь.

Первым освободился парикмахер с перевязанной челюстью. Пришлось сесть к нему.

— Хоть бы зеркало вытерли,— заметил Коринтели.

Толстяк вытащил носовой платок, энергично поплевал в него и принялся тереть зеркало. Оно оказалось выпуклым, резко увеличивающим отражение.

От парикмахера несло запахом хаши[1] и водкой.

— Дайте-ка я лучше сам побреюсь,— сказал Коринтели.

Но толстяк не согласился.

— Где же это видано! Разве я вам позволю?..— засуетился он и принялся скрести Коринтели своей тупой бритвой.

— Не назовете ли вы мне свою фамилию,— спросил парикмахер.

— Зачем вам знать ее? — сухо ответил Коринтели.

— Мне кажется, что я знал вас когда-то, батоно, поэтому и посмел...— робко произнес парикмахер.

Коринтели назвал себя. Толстяк обмер от изумления.

— Что вы говорите, батоно? Неужели вы изволите быть сыном Ростома Коринтели? Я вас помню еще совсем маленьким мальчиком. Ведь я два года работал у вашего покойного отца. Он заставлял меня таскать за собой землемерные приборы. Ах, каким красивым мальчиком вы были! Куда же девались ваши пышные волосы? Рано вы постарели, батоно. Может быть, сидели в тюрьме? А?

Коринтели молчал. Толстяк подумал, что тот обижен, и принялся смягчать сказанное.

— Ну, вот, мы побрились и помолодели лет на пять. Честное слово, батоно, у вас совсем бравый вид! Вот только на голове много седых волос. Если разрешите,

[1] Хаши — суп из потрохов, приправленный чесноком; студень в горячем виде.

я вам и голову побрею, и вы станете тогда совсем молодым.

Коринтели молчал, а парикмахер не унимался.

— Вчера я привез замечательную краску из Тбилиси,— и он подтвердил это поднятым вверх большим пальцем.— Ее уже испробовали наш прокурор, директор школы и заведующий аптекой. Я вам хотя бы виски подкрашу, батоно!

Коринтели надоела эта болтовня.

— Знаете, что я вам скажу, любезный. Я не стыжусь своей седины, она у меня не от разврата и пьянства. Кроме того, я не совсем понимаю, для чего седые красят свои волосы. Кого они обманывают?

Парикмахеру редко приходилось слышать такое. Он расчувствовался.

— Эх, мой батоно! Иной думает, что он обманывает других, а на самом деле только себя самого обманывает.

Но в конце концов парикмахер настоял на том, чтобы клиент наголо остриг голову.

Коринтели выбрался из злополучной парикмахерской утомленным, но и помолодевшим.

Нужно было торопиться к Сускии.

— Быстрей! — сказал он шоферу.

Но Андро виновато посмотрел на него и ответил, что в баке нет бензина.

Коринтели опешил.

— И ты это только сейчас обнаружил?

— Вы очень спешили,— оправдывался Андро.— А в Гвелети все равно негде было заправиться.

— У меня дома две полных канистры, садовая голова,— распекал его Коринтели.— А где здесь найдешь бензин? Сегодня ведь воскресенье, бензосклад закрыт.

— Пойду раздобуду у шоферов,— ответил Андро.

Пока он добывал бензин, Коринтели бродил по безлюдной улице и с тревогой наблюдал, как горы все больше кутались в черные бурки облаков.

Они покинули Кварели, когда стало совсем темно и хлынул дождь.

Коринтели утешал себя мыслью, что санитарная машина уже давно в Гвелети и Сускии не придется быть в дороге в эту непогоду. Но желаемое не соответствовало действительности — санитарная машина стояла на прежнем месте.

Коринтели, несмотря на дождь, подбежал к машине. Она была заперта, и казалось, что там никого нет. Он вынул карманный фонарик и осветил заднее сиденье. На нем съежившись лежала Суския, прикрытая пледом. Шофера не было.

Коринтели постучал в окно. Суския не просыпалась. Коринтели встревожился:

— Как ты думаешь, что случилось, Андро?

— Шофер, должно быть, куда-то ушел.

— Но куда?

— Вероятно, в ближайшую деревню за буксиром.

Коринтели постучал сильнее. Суския не двигалась. Какая-то невыразимая тревога охватила его. Казалось, еще секунда, и выскочит сердце,— так оно билось. У него перехватило дыхание, потемнело в глазах, он не мог тронуться с места...

Это волнение невольно передалось и Андро. Он принялся колотить в дверцу.

— Кто там? — раздался наконец испуганный голос женщины.

— Не бойся, это я! — радостно крикнул Коринтели.

— Кто вы?

— Это я, Вахтанг, не бойся!

Женщина открыла дверцу. Да, это был Вахтанг. Она не верила своим глазам.

— Какая судьба забросила тебя сюда?

Тем временем подошел насквозь промокший шофер санитарной машины. Он держал в руке цепь. Андро помог ему закрепить буксир.

Коринтели пересадил Сускию в свою машину. Она доверчиво прислонилась к нему. И он, как и тогда в Телави, почувствовал себя счастливым, но не сказал ей об этом. Коринтели вообще не любил открывать свои чувства, он считал, что, обнажая их, тем самым оскорбляет их чистоту. Не все тайное должно становиться явным. Молчание бывает порой красноречивее любых слов.

Коринтели молчал. Молчала и Суския. Они, покачиваясь в машине, внимали грозе, которая бушевала за окнами да и в ее собственной душе.

— Ну, разве не судьба, что мы встретились? — первой заговорила Суския.— Я должна была выехать вчера. Но в полночь меня вызвали в Руиспири. Заболела девочка. У нее оказался дифтерит. Нужно было немед-

ленно ввести сыворотку. Я пробыла там до утра, пока ребенку не стало лучше. И вот сегодня — встреча с тобой...

— Ты, оказывается, героиня, моя Суския! — сказал Коринтели.

— Я выполнила лишь свой долг,— ответила она.

Внезапно какая-то птица ударилась о стекло машины. Коринтели и Суския вздрогнули. Андро остановил машину, поднял и принес дикого голубя. Птица была только контужена. Суския приласкала ее, и она ожила.

Коринтели позавидовал голубю, которого нежно гладили руки Суския...

За окнами машины бушевала гроза. Придорожные деревья сгибались подобно тростникам. Молния раскалывала небо. А Коринтели чувствовал, что именно в эту ненастную грозовую ночь в его жизни начинается весна.

23. ВИДЕНИЯ

Ветер хлестал крыльями по телеграфным проводам, и их гудение не стихало ни на минуту.

На столбах, протянувшихся вдоль дороги, замигали электрические лампочки. Стали появляться силуэты домов. Это была уже Гвелети.

Суския поцеловала голубя и уложила его в свою продуктовую сумку, оставив снаружи только его головку.

Коринтели взял ее за руку.

— Ты, должно быть, очень устала, Суския?

— Да, немножко ломит тело и болит голова.

— Простудилась, когда застряла с машиной?

— Нет, я простудилась, как видно, еще вчера ночью, и вот одна простуда прибавилась к другой.

Коринтели корил себя: «На кой черт я поехал в Кварели! Нужно было сразу же забрать ее». Он ругал мысленно и Андро,— они потеряли час из-за этого проклятого бензина.

Потом в нем заговорило благоразумие: «Днем, пожалуй, не стоило ехать вместе с Суския. Это могло бы вызвать нехорошие толки».

Послышались крики пастухов: «Прту, прту!» Впереди машины двигалась отара овец.

— В детстве мне казалось,— сказала Суския,— что

самая легкая, беззаботная жизнь у пастухов. Я думала: сидит себе пастух на лужайке, покрытой муравой, и играет на свирели, а вокруг ходят сторожевые собаки и охраняют раскинувшуюся на склоне горы отару. А на самом деле — тяжелый у них труд. В этом году я целый месяц пробыла на пастбищах и все видела своими глазами. С утра до вечера они перегоняют овец с места на место, доят, купают, лечат, стригут. А сколько труда стоит уберечь стадо от волков и орлов. Сорока и та нападает на ягнят и выклевывает у них глаза. Значит, и за этим следи. А случись непогода — у пастухов нет крыши над головой...

— И все-таки, если любишь свое дело, то отдаешься ему, несмотря на все трудности,— вставил Коринтели.— Любовь делает трудности менее ощутимыми, человек становится сильнее, выносливее.

Овцы, словно фосфоресцирующие волны, набегали на крылья машины. Андро непрерывно сигналил, осторожно прокладывая дорогу.

Суския обратила внимание на ягнят. Они шевелили своими мягкими ушами и жалобно блеяли. Все в них было мило, от копытцев до мордочки.

— Как они хороши! — произнесла она.— Природа украшает своей первозданной красотой каждое появляющееся на свет живое существо. Какие прекрасные птенцы даже у совы и вороны!

В прошлом году я гостила в Горной Тушетии. У моего хозяина были волчата. До чего они забавны и игривы! С ними дружили и взрослые и дети. У них были такие смышленые, озорные глазки, такие смешные и чудесные мордочки, что и волчат хотелось поцеловать.

Я люблю маленьких. Это, вероятно, тоже заложено в человеческой природе. Беззащитное существо вызывает у нас чувство жалости, стремление помочь ему. Потому-то я и стала педиатром. Если бы у меня была не одна, а три жизни, то я все три посвятила бы борьбе за здоровье детей. Самая высокая для меня награда — спасенные мною ребята. Я помню каждого из них.

Коринтели с радостью находил в мыслях Суски много общего со своими мыслями.

Из-за мутных туч выглянула луна.

Слева от Гвелети работали тракторы, они расчищали землю от осин и вязов.

— Здесь будет большой совхоз,— сказал Коринтели.— Уже отпустили на это дело три миллиона.

Андро остановил машину у телеграфного столба, по которому спускался монтер, чтобы узнать, как проехать к медпункту.

— Поезжай, братец, прямо, до площади, на ней увидишь дом без крыши, там и спросишь. Только смотри не сворачивай вправо, к болоту Оленьего озера, а то и две упряжки буйволов вас не вытащат.

И вот они подъехали к этому недостроенному дому, в котором было холодно и неуютно.

Коринтели терзался: «Если бы Медея и тетя Варя находились сейчас в Цхалтубо, я оставил бы больную Сускию у себя дома хоть на одну ночь. Она могла бы расположиться в той комнате, в которой спала Майя...»

У входа в медпункт им повстречался высокий белобородый старик в тулупе. Он посветил фонарем и, узнав, что прибыл врач, засуетился.

Вокруг стоял запах олифы, извести. Полы были еще завалены свежей стружкой. Они прошли по коридору. Сторож открыл крайнюю дверь.

— Заведующий здравотделом ждал вас до конца дня, доктор,— обратился к Сускии старик.— Он распорядился поместить вас в этой комнате, отсюда только сегодня ушли плотники и маляры.

Включили свет.

В комнате стояли кровать-раскладушка, два табурета, столик. Андро и шофер санитарной машины внесли вещи.

Суския присела. Ее знобило.

Коринтели открыл дверцу печки и сказал сторожу:

— Может быть, найдешь, приятель, немного дров или хворосту?

— За дровами дело не станет,— ответил старик,— но у дома нет еще крыши, и пожарная охрана не разрешает топить.

Потом он взглянул на женщину и добавил:

— Могу принести мангал[1] из моей комнаты.

---

[1] Мангал — небольшая железная печь для приготовления шашлыка на углях, жаровня.

— Не беспокойтесь,— тихо произнесла Суския.— Эту ночь я как-нибудь перетерплю, а завтра все устроится.

Что оставалось делать Коринтели? Ему хотелось утешить и ободрить ее, сказать ей что-то нежное, но рядом стояли незнакомый сторож, Андро и водитель санитарной машины. Слова теснились у него в горле. Но он молчал.

— Спокойной ночи, товарищ доктор!

Суския поняла его и ответила ему в тон:

— Большое спасибо, профессор.

Но когда все они вышли на улицу, Коринтели сказал Андро, что забыл в комнате какую-то свою вещь, и вернулся.

Суския не удивилась этому.

Коринтели прильнул губами к ее мягкой руке и обнаружил, что у нее сильный жар.

— Не волнуйся, Суския,— утешал он.— Утром я повидаюсь с заведующей райздравотделом и обо всем похлопочу.

Женщина благодарно посмотрела на него.

— Только не говори ему, Вахтанг, что я больна. Неловко как-то получается — только приехала и сразу же заболела! Мне приходилось болеть, но никогда и никто об этом не знал.

Она тяжело вздохнула.

— Ты не очень обо мне беспокойся, я ведь привыкла к трудностям. Семь лет работала в отдаленных, глухих селах, где и такой комнаты не было. Ты знаешь поговорку: «Рыбак не должен бояться промочить ноги». Я приму сейчас лекарство — и все будет в порядке.

Суския поймала себя на мысли, что ей не хочется остаться одной. Как было бы хорошо, если бы Вахтанг сел у ее изголовья, взял ее горячую руку в свою сильную мужскую руку, пробыл бы с нею эту ночь, только эту...

Когда Коринтели уходил, Суския боялась, чтобы он не оглянулся и не заметил навернувшиеся на ее глаза слезы.

Как только Коринтели ушел, Суския почувствовала себя хуже. Не раздеваясь, она прилегла на узенькую кровать. Хорошо бы забыться, уснуть! Но откуда-то доносился тревожный крик филина. Она укрылась своим

пуховым одеялом. Оно показалось ей сейчас свинцовым. Все тело ломило, в висках стучало, зуб на зуб не попадал.

Суския приняла лекарство.

Потом над ней начали витать какие-то призраки.

К ней пришел Вахтанг. Он в гимназической форме. На его ученическом поясе сверкает пряжка. Вахтанг стоит в дверях, скрестив на груди руки, и не решается войти.

«Принеси воды»,— просит она его. Но Вахтанг словно не слышит...

Она поднимается затем по крутой тропинке. Знойно. Санитарная сумка наполнена медикаментами. Ей тяжело тащить. Она хочет освободиться от сумки, сбросить груз в ущелье. Но больные дети гвелетских новоселов ждут лекарства...

Ее мучит жажда. Где-то льется вода. Она снова просит Вахтанга: «Воды!» Но он опять не слышит.

...Задребезжали оконные стекла. Что это? В комнату ворвалась летучая мышь. Она носится в ней и не находит выхода.

А вот появился голубь. Он вылетел из сумки и тоже кружит под потолком. На него метнулась летучая мышь. Суския пытается отогнать ее. Но летучая мышь вдруг вцепилась Сускии в горло и душит ее. «Вахтанг!» — кричит она в отчаянии. И он наконец услышал.

...Вахтанг взял тяжелую сумку с медикаментами, принес ей воду, спас голубя, выгнал летучую мышь.

Вместе поднимаются они на Гвелетское плато. Самцы-фазаны стоят по краям дороги. У них красные, как плоды граната, перья...

На плоскогорье высится могучий дуб. Под ним сидят дети и поют песни. Суския знает их всех по именам. Ведь это те самые дети, которых она вырвала из когтей смерти.

А на дереве воркуют голуби. Они летят к Сускии и обдают ее теплом своих крыльев. Потом они летят к окну ее комнаты и настойчиво стучат клювами в стекло...

Видения исчезли. Суския открыла глаза. Была еще ночь. На окне сидел голубь и бился клювом и крыльями о стекло... Она поднялась, водворила голубя в сумку, разделась и еще раз, мысленно попрощавшись с Вахтан-

гом и пожелав ему спокойной ночн, улеглась в постель.

Чувствовала она себя гораздо лучше.

24. ЗМЕЕЕД

Коринтели не хотелось сейчас видеть нн ненавистную ему тетю Варю, нн Медею. Он готов был немедленно уехать в Телави, к дяде Нико, поужннать с ннм, отвестн душу. Но здесь, в Гвелети, находнлась больная Сускня. Разве мог он оставить ее одну, без помощи?!

Недалеко от своего дома он попрощался с Андро:

— Иди отдохни, а я доберусь пешком.

Он открыл уже калнтку, когда услышал какой-то шум, звон разбиваемой посуды н неистовый женский крнк. Вслед за этим он увидел, как из его дома выкатнлся какой-то человек, преследуемый тетей Варей. Она энергнчно колотила его метлой и орала:

— Вот тебе, дурной глаз! Вот тебе, пожнратель змей!

Человек, схватнвшнсь за голову, бежал на него. «Уж не вор ли?» — подумал Коринтели. Онн столкнулнсь в калнтке.

— Лучше бы у меня, несчастного, нога сломалась, прежде чем я зашел в этот дом! — воскликнул, запинаясь, человек.

Коринтелн оторопел: перед ним стоял Ниортава.

— Что случилось? — спросил он мельника.

Но тот был до того расстроен, что только махнул рукой. Коринтели дружески положил ему на плечо руку н успокоил. Онн уселись на пне. И только тогда Ниортава обрел дар речн.

Начал он нздалека:

— Вы, наверное, слыхалн, что моим прадедом был народный герой тушин Шете Гулухандзе. Он участвовал в войнах на Кавказе н всегда возвращался с победой.

Но у меня другая судьба. Не победитель я, а побежденный...

И не моя в том вина, батоно. Послушайте.

Когда генерал Вачнадзе взял аул Дарго, там нашли моего пленного деда — одного нз сыновей Шете Гулухандзе. Его женнлн на служанке Вачнадзе. Вскоре они оба умерлн от оспы. Грудным младенцем остался сирота мальчнк, мой отец.

И так же рано, как он потерял своих родителей, потерял их и я: мой отец погиб под Перемышлем в войне с немцами, а моя несчастная мать в том же году умерла с горя.

Я рос в Телави. Сено и солома были моей постелью. Я пас вачнадзевских коров, свиней, ослов.

У хозяина была горбатая сестра. Напрасно говорят, что физический урод непременно должен быть и духовным уродом. Это не так. Она целыми днями молилась и читала. Она знала на память всего «Витязя в тигровой шкуре». Мне эта женщина стала настоящей матерью. Она научила меня читать. И где бы я ни был: в поле, на конюшне, в овчарне, в хлеву,— я не расставался с книгами.

Но вот беда, в детстве меня все били: когда прислуга разбивала посуду, виновен оказывался я — «дурной глаз»; недопекли хлеб в тонэ, опять я виновен — «дурной глаз»; у пьяного дворянина пал конь, а плетка доставалась мне; на овец нападала сибирская язва, колотили меня — опять «дурной глаз». Глупость, подобно чуме, переходит от человека к человеку. И вот по сей день многие верят, что у меня в самом деле дурной глаз.

Природа человека такова, что он всегда старается свалить свою вину на другого. Абриа, Луо и другие чернохуторяне до сих пор избегают встречаться со мной ранним утром. А встретятся — пройдут немного, обернутся и сплюнут.

Семья Вачнадзе исчезла из наших мест, и все понемногу забыли, что у меня «дурной глаз». Но Абриа-злоязычный снова напомнил сейчас об этом. Женщина, с которой я встретился в вашем доме, до того испугалась, что, увидев меня, выронила из рук посуду. Она и в самом деле верит тому, что у меня «дурной глаз».

— А почему она кричала «пожиратель змей»?

Ниортава промолчал, а Коринтели не повторил вопроса.

Из-за покрасневшего края облака выглянула луна, и горы окрасились голубоватым цветом.

— Забудем то, что случилось,— сказал Коринтели.— Мне привезли из Телави прекрасное вино, пойдем попробуем.

Мельник отказался.

— Пока в вашем доме эта женщина, я в нем не

гость. А выпить, конечно, можно. И я позволю себе просить вас, батоно, оказать мне честь — пойти ко мне. У меня вас ждет тоже неплохое вино.

Коринтели чувствовал себя виноватым. Он бранил тетю Варю, называл ее «темным призраком прошлого», уверял Ниортаву, что впредь не допустит, чтобы она оскорбляла его гостей.

— Она и без тебя перебила много посуды в моем доме,— утешал он Ниортаву.— Я с ней расквитаюсь!

— Не нужно, батоно,— ответил Ниортава.— Старая Майя мне говорила, что эта змееголовая и без того вносит раздор в вашу семью.

Мельник настойчиво тянул Коринтели к себе:

— До мельницы коротким путем недалеко. Я разожгу в очаге огонь. Вы ведь это любите, батоно. Нам никто не помешает. В моем сердце до сих пор сохранилось тепло от нашей прошлой ночной беседы. И я буду рад ее продолжить.

Ночную тишину прорезал рев оленя.

Ниортава насторожился:

— Чу, олень, кажется, пришел.

— Какой олень? — спросил Коринтели.

— А тот, который ходит на Оленье озеро. Вы не знаете? Их было двое — самец и самка. Одного недавно убили.

— Какой же негодяй нарушил закон? — возмутился Коринтели.

Но мельник не назвал Канкрэ.

— Хотите, я провожу вас к озеру и покажу оленя,— сказал он.— Это недалеко от врачебного пункта. Озера уже давно нет, осталось болото, заросшее тростником. Но там сохранились соленые источники, туда и ходит олень.

Волнение, которым охвачен был Ниортава, передалось его собеседнику. В нем еще жила страсть к природе, тяга к ее таинственному миру. Коринтели называл себя «пантеистом» и радовался тому, что не утратил этой страсти к природе на асфальтированных улицах шумных городов и в пыли книг.

Взор Коринтели устремился к тому дому в лесах, где остановилась Суския. Как дорог ему был этот дом!

Раньше чем они приблизились к Оленьему озеру, до

ник донесся легкий стук копыт. За зарослями что-то прошумело.

— Ушел,— вздохнул Ниортава.

Он оглядел болото.

— Правда, что здесь скоро все высушат? — спросил он.

— Да,— подтвердил Коринтели.—Виноградники займут все плато, до той остроконечной горы. И этот лес выкорчуют.

— Пропала охота! — угрюмо произнес мельник.— А ведь здесь водятся не только кабаны и лани. Здесь живет и тот, кого и назвать-то ночью боязно.

— Разбойник какой-нибудь?— улыбнулся Коринтели.

— Хуже.

— Кто же?

— Вот придем на мельницу, разожжем огонь, изжарим шашлык, выпьем доброго вина, тогда расскажу.

— Но как же мы отсюда попадем на твою мельницу? — сказал Коринтели, уже готовый принять план Ниортавы.— Нам ведь и до рассвета туда не добраться.

— Смотря по тому, какой дорогой идти,— ответил Ниортава.— Не пройдет и двадцати минут, как мы будем там.

Среди скал вилась узенькая тропинка. Мельник увидел ее, раздвинув кусты, и уверенно начал по ней спускаться. Коринтели осторожно следовал за ним.

«Как несправедлива бывает судьба,— думал он.— Я столько учился и трудился, исколесил весь мир, познал столько мудростей, но остался таким же несчастным и одиноким, как и этот горемыка-мельник Соломон Гулухаидзе».

Над их головами с кряканьем пронеслись к Алазани утки. Перебежал дорогу заяц.

И вот наконец над кустами кизила обрисовалась черная крыша мельницы. Вокруг нее стояли гигантские осины, похожие на корабельные мачты, увитые снастями.

Псы, привязанные у двери мельницы, подняли лай. Ниортава успокоил их. Он долго возился с заржавевшим замком, прежде чем открыть дверь.

В нос ударил устоявшийся запах муки и мышей.

Только теперь Коринтели почувствовал, как он устал и проголодался.

Хозяин достал ребрышки молодого барашка и кувшин вина. Он развел огонь. Коринтели насаживал мясо на вертел и потом, удобно устроившись верхом на бревне, жарил его.

О, это тоже искусство — хорошо изжарить шашлык. Коринтели постиг его в совершенстве. Он со знанием дела ворочал вертел, не давая мясу подгореть, и рассказывал мельнику о прославленных еще древнегреческим поэтом Гомером шипящих шашлыках из ягнят и козлят.

Ниортава несколько ревниво отнесся к этой древнегреческой шашлычной славе,— он был уверен, что шашлыки изобрели грузины.

Коринтели вспомнил обстоятельства сегодняшней встречи с мельником и снова спросил его:

— Почему все-таки она назвала тебя змееедом?

Лицо Ниортавы покрылось красными пятнами.

— Если это так уж вас интересует, батоно, я расскажу, все расскажу,— смутился он.— Не знаю только, удобно ли... Такая неприятная история, что боюсь, как бы у вас не пропал аппетит.

— Об этом не тревожься. Я так проголодался, что ничто не помешает мне есть и пить.

— Ну, тогда я спокоен,—улыбнулся мельник и начал.— В прошлом году меня неожиданно вызвали в райисполком и сказали, что к нам из-за границы приехал видный ученый и не кто иной, как именно я, должен его сопровождать. Я про себя посмеялся: видано ли, чтобы Ниортаву приставляли к каким-то ученым?! В Бермуху часто приезжали знатные гости. Их интересовали наши древние крепости, монастыри, наша природа. Сопровождали их редактор газеты, или директор школы, или доктор. А тут — я. «Не вздумали ли надо мной подшутить?» — подумал я. А секретарь райисполкома спрашивает:

«Ты ведь знаешь, что такое зоопарк?»

«Как же не знаю, знаю!» — отвечаю я.

«Этот наш гость,— говорит секретарь,— знаменитый змеелов. Он собирает иранских и кавказских змей для зоопарка. Ты, товарищ Соломон, как старый охотник, должен помочь ему в этом деле. Кто лучше тебя сумеет это сделать?!»

Я растерялся. «Я никогда не ловил гадов».

«А тебя никто и не заставляет их ловить,— объясняет мне секретарь.— Ты, как охотник, должен только знать, где они водятся».

И тут же он представил мне высокого, тощего, лысого англичанина, с узенькими и бегающими за стеклышками очков глазами, которому я и должен был помогать... Тьфу, тьфу! — сплюнул Ниортава.— К чему это мы ночью говорим о проклятых гадах?! Наверное, чертова эта Варя поминает нас злом.

— Эх, мой Соломон,— успокоил его Коринтели.— Все это христианское суеверие. А для науки и роза, и терновник, и лоза, и крапива, и олень, и змея суть лишь предметы наблюдения и изучения. Яд многих змей смертелен, но из него же приготовляются и лекарства. Существует, например, змея, кроталус мутус. Она ценится на вес золота, так как ее яд излечивает от многих тяжелых болезней. Американские и английские дельцы на этом здорово наживаются. Там существуют заводы, на которых изготовляют специальные змеиные консервы. Да что змеи! Ты ведь знаешь, что за деньги они готовы и душу черту продать.

Ниортава в подтверждение кивал головой.

— Вы бы только видели,— продолжал он,— какие арканы, удочки, сети и палки были у этого ловца змей. Мы облазили с ним все приалазанские болота и плавни. В руках у меня была длинная палка с развилком на конце. Я прищемлял гадов к земле у головы, оглушал, потом быстренько хватал за шею и бросал в брезентовый мешок. Так мы набрали немало разных рогатых и майских змей. «Very well! Very well»[1],— произносил каждый раз наш гость, но я чувствовал, что еще не насытил его сердца.

Меня, сознаюсь, увлекла эта охота, связанная и с опасностью и с риском. А я падок на эти вещи. Англичанин не знал грузинского языка и очень слабо владел русским. Мы часто объяснялись с ним, как немые. Но в конце концов научились понимать друг друга.

Он радовался каждой пойманной нами змее и предлагал мне деньги, от которых я, конечно, решительно отказывался.

Однажды он пришел и разложил передо мной карту.

---

[1] Очень хорошо! (англ.)

Англичанин ткнул пальцем в Иран и Азербайджан и с трудом объяснил, что у нас должны быть редкие породы перекочевавших оттуда змей, которых необходимо поймать.

Я давно уже слышал, что в Гвелети обитает какая-то огромная гюрза. Пастухи передавали, что она будто бы ужалила даже мальчика. Отец отсосал яд, и в тот же день оба они, отец и мальчик, все же погибли.

Я не рассказал этого англичанину, так как не хотел связываться со страшным гадом.

Гость жил в Кварели, в гостинице. Но потом он вдруг оставил гостиницу и со всем своим барахлом и змеями в железных ящиках заявился ко мне на мельницу. У него, оказалось, вышел скандал с директором. Англичанин принес с собой в гостиницу змей. А директор рассердился и бросился на него чуть ли не с кулаками.

Потом прибегал секретарь райисполкома, извинялся: мол, мы объявили директору гостиницы выговор, просил гостя вернуться, но англичанин заупрямился. Он сказал, что мельница его больше устраивает.

Я старый охотник. На медведей ходил, на рысь, на волков. Не раз смотрел в глаза смерти, не боялся. А тут ночами не спал. Все чудилось, что гады вылезут из своих железных тюрем и нападут на меня спящего.

И что главное — меня больше всего пугала тишина, то, как они притаились, замерли в своих клетках и коробках. Ночью, когда я останавливал мельницу, малейший шорох нагонял на меня страх. Я думал, что это ползут ко мне испачканные в мельничной пыли пресмыкающиеся, и, дрожа, закутывался с головой в одеяло.

Как-то вечером англичанин попросил у меня сковородку. Я ответил, что у меня ее нет. Тогда он схватил валявшийся у очага вертел, вытащил из чемодана змею, отрезал ей голову и так насадил ее на вертел, как это делаем мы с кусками мяса.

Зажарив ее, он принес коньяк и предложил мне отведать. Я наотрез отказался и, да простит господь меня, хотел трахнуть гостя поленом по голове.

Чтобы избавиться от него, я пустил слух, будто бы англичанин готов заплатить золотом тому, кто поможет ему поймать страшную змею. Дошел этот слух до Абриазлоязычного, которого хоть и можно часто застать в

церкви святого Георгия-Квакаца, но он и Христа продаст за деньги.

Вот и явился ко мне Абриа. А англичанин в то время как раз готовил себе завтрак: он жарил на вертеле свою любимую пищу. Абриа сначала было плюнул, потом засмеялся и сказал мне: «И ты, вероятно, не брезгуешь этим?» Я поклялся, что и не прикасаюсь к ней. Но этот человек с собачьей душой не поверил мне и прозвал меня змееедом.

Англичанин поил Абриа коньяком. И тот на радостях сболтнул, что несколько дней назад видел гадину длиной в три руки и толщиной с буйволиную ногу.

Гость прекратил еду и сделал знак немедленно собираться на охоту.

Охоту мы начали в окрестностях Оленьего озера. Абриа старался изо всех сил. Он говорил: «Три вещи пугают змею: огонь, свинья и овца!»

Сначала мы зажгли большой костер под дуплистым ясенем. Потом мы заставили ребят гнать свиней из-за плавней, а сам Абриа пригнал буйволов, и, таким образом, мы окружили болото свиньями и овцами.

Подобно дикому кабану носился Абриа и визгом своим пугал гадину.

Дела в колхозе у него шли плохо, и он рассчитывал, конечно, заработать на этой необычной охоте.

До полудня мы зря бродили по болотам и потеряли уже надежду на успех. Но тут у меня развязались тесемки каламани[1]. Я нагнулся, чтобы завязать их. И как только я нагнулся, то сразу услыхал тревожный шорох, а потом увидел огромную змею. Она ползла сквозь камыши, поднявшись в человеческий рост и высунув раздвоенный язык. На ее голове, что была величиной с колено буйвола, я увидел черные пятна, и вся она омерзительно лоснилась.

Абриа метнул на нее аркан и промахнулся. Англичанин неистово орал: «Гюрза! Гюрза!» Он выхватил из-за пояса свой пистолет и стал стрелять. Но пули не задели змею.

Она ползла прямо на меня.

Будет хвастовством, если скажу, что я не испугался. Палка выпала у меня из рук, я крикнул во все горло:

[1] **Каламани** — лапти из сыромятной кожи.

«Хау!» — и еле успел выхватить кинжал из ножен. Страшное чудовище разверзло свою огромную, во всю ширь головы пасть и готово было меня проглотить. Что спасло меня, я и теперь не знаю: то ли блеск моего кинжала, то ли грозное «хау!», только змея внезапно извернулась всем телом и, словно спущенная пружина, метнулась в сторону и исчезла в болоте...

Абриа вернулся тогда в Бермуху и распространил слух, будто я околдовал гадину. Кое-кто поверил.

После этого англичанин не раз просил меня снова испытать судьбу. Уговаривал меня и Абриа. Но я не согласился. Тогда гость собрал свою добычу и уехал в Иран.

Я никогда не думал, чтобы такая змея могла жить у нас в Кахетии. А вот своими глазами ее увидел. Может быть, она, проклятая, приползла к нам из Ирана и живет где-то здесь до сих пор?

— Это вполне возможно,— подтвердил Коринтели.— Вселенная находится в постоянном движении. И земля наша и ее обитатели... Перемещаются звери, птицы, насекомые, растения, пресмыкающиеся.

Несколько лет назад наши крестьяне в Дигоми убили тигра. А ведь тигры не водятся в этих местах. Он забрел, должно быть, издалека.

Известно, что испуганные землетрясением змеи целыми колониями покидают Индию и Иран и направляются в наши Ширакские степи. Кто знает, из каких далеких мест приползла та самая гюрза, которую вы обнаружили в районе Оленьего озера.

Коринтели не пожалел, что пришел на мельницу. Здесь он чувствовал себя куда лучше, чем дома. Незаметно проходила ночь. Гостеприимный мельник угощал его не только шашлыками и вином, но и занимательными рассказами.

— Отъезд англичанина меня и обрадовал и огорчил,— сказал Ниортава.— Охота на змей внесла оживление в мою жизнь. Теперешняя моя работа такая нудная и легкая, что любой дурак с нею справится. У кого не хватит ума открывать и закрывать заслонки желобов, наполнять и опорожнять ящики для муки! У меня не было жилья, и я случайно остался при этом деле. А я ведь потомок Шете Гулухаидзе и не о такой жизни, разумеет-

ся, мечтал. Я мечтал о жизни, полной тревог и опасности. Хотел стать военным. Да вот доктора нашли у меня плоскостопие и отказались взять в солдаты. Только и радости, что охочусь. Семьи-то у меня ведь нет, не обзавелся.

А охота испортилась. Леса вырубают, болота осушают. Кругом машины. Вот и находит тоска.

Вы, батоно, будете смеяться, когда узнаете, что я от этой самой тоски взялся за перо: начал бумагу марать. Целыми ночами писал.

Недавно приезжали сюда охотиться люди из Тбилиси. Назвались они писателями. Пришли ко мне на мельницу переночевать. Расселись у очага, изжарили шашлыки и меня пригласили к ужину.

Я был подобен барсуку, прокравшемуся в огород. Затаив дыхание слушал их разговор. А сам прикинулся неграмотным — так было удобнее, ведь писатели, артисты и женщины очень обидчивы и любят, чтобы их хвалили. Я хотел только слушать. Но, поверите ли, батоно, слушать было нечего!

Старшего из них, с сединой на висках, который успел уже убить козулю, избрали тамадой. Он пил как бык и все расхваливал своих товарищей, называя их то высокоодаренными, то талантливыми, то гениями. Пили они до рассвета. Я по очереди выводил каждого подышать свежим воздухом, потом постелил бурки, тулупы и уложил их спать.

За столом остался только один ненасытный тамада. Он все кричал: «Хочу пить!» Пристал ко мне: «Ты что притих, приятель? А ну-ка, с рогом в руках встретим рассвет на Алазани».

Он положил руку на мое плечо и сказал: «Я чуть ли не всю Грузию обошел, охотясь, но ни одного неграмотного мельника, пастуха или погонщика буйволов не видел. Ты тушинец, не так ли? Как же это ты остался неграмотным?»

Тогда я, отступая, робко признался, что я не совсем неграмотный, а только малограмотный.

«А мои стихи читал?» — в упор спросил гость.

Я отрицательно мотнул головой.

«Но, быть может, тебе попадались произведения этих охотников?»

«Нет»,— ответил я.

«Ты, брат, не много потерял,— сказал он тогда.— Вообще же я советую тебе поменьше читать, не то обязательно одуреешь. От чтения люди глупеют. Будь это в моей власти,— продолжал он,— я распорядился бы пересмотреть библиотеки и списать в макулатуру весь мусор, который производят вот такие писатели»,— указал он на спящих.

Я почувствовал себя как-то неловко от этих его слов и, чтобы изменить разговор, спросил, извинившись за любопытство:

«На кого охотятся эти молодцы?»

Тамада брезгливо скривил рот.

«Они такие же охотники, как и писатели!»

И дальше он мне стал говорить о каждом в отдельности.

«Этот, что у края лежит, лысый, действительно способный, но за чечевичную похлебку черту душу продаст. Он способен так расцветить Иуду Искариота, что тот сможет свое сияние одолжить и Христу. Циник! Убежден, что лесть — это то удобрение, которое в одинаковой мере нужно и розе и вонючей траве.

Он любит льстить и любит, когда ему льстят. «Если я не буду часто слышать славословий, говорит он, то у меня обязательно начнутся рези в животе. Поэтому я не столько энергии трачу на то, чтобы писать, сколько на то, чтобы организовать эти славословия».

«Что это значит?» — спросил я его.

«Эх, если бы я раскрыл этот секрет перед всеми, то прощай моя слава,— ответил он мне.— Тебе же скажу, если человек жаждет славы, то он должен прежде всего славить тех людей, от которых сам зависит, славить их, пока глотка не пересохнет. Никого люди так не любят, как тех, кто говорит им приятное. Люди, как лошади в дрожках, любят мчаться по укатанным дорогам. Важно, чтобы их ухо привыкло к твоему доброму имени, к тому, что ты заслуживаешь похвалы. И будь спокоен, они ее тебе воздадут. Ложь, угодничество, притворство и лесть — вот четыре безотказных ключа, которые всегда открывают крепко запертые двери. Это основы того моста, по которому шествовали обычно с триумфом императоры, министры и,— добавил он,— некоторые писатели. Мир полон тупиц, которые всерьез верят в то, что за содеянное ими они заслуживают пышных юбилеев.

Вот доживешь до моего юбилея и увидишь, как я рассядусь в оперном театре, и мои славословы, будто маленькие птички, которые питаются крохами пищи, оставшимися в зубах крокодила, будут угодливо смотреть мне в рот...»

Дав, таким образом, исчерпывающую характеристику одному своему приятелю, тамада перешел к другому.

«Этот второй, с брюшком, что лежит рядом, проложил себе дорогу ложными доносами на своих товарищей. Мысли и слова он черпает из чужих книг. Он постоянно тем только и озабочен, чтобы вознести себя и ниспровергнуть своих недругов. Порой его выводят на чистую воду и заставляют каяться. Он к этому уже привык. Покается и начнет все сызнова в том же духе».

«А третий кто?» — спросил я.

«А третий, носатый, в очках, тот, что немилосердно храпит сейчас, большой пройдоха,—сказал тамада.—Он не только не умеет писать и охотиться, но и вино-то пить как следует не научился и потому опьянел раньше всех. Зато он мастер обделывать свои делишки. Подобно китайскому фокуснику, жонглирует он двумя крохотными рассказиками и несколькими стишками. А своего он добился хвалебными тостами, писанием анонимок и, наконец, вином, которым поит своих рецензентов.

Четвертый — еще изворотливее этого. Он сочиняет пьесы, которые из года в год с треском проваливаются на сцене. Но его это не смущает, как, впрочем, и его рецензентов. После каждого провала они бодро утверждают, что драматург — растущий талант и если он не будет новоявленным Шекспиром, то до Мольера ему уже рукой подать. Во время одного кутежа он признался: «Денег у меня столько, что их куры не клюют, а что касается бессмертия, то оставим его для бабушек наших критиков».

А пятый,— тамада засмеялся,— пятый — счастливейший человек! Он написал было рассказ, потом переделал его в драму, потом в оперное либретто. У некоторых же зрителей руки будто бы только для того и существуют, чтобы ими хлопать, то есть аплодировать. Вот и ввели в заблуждение несчастного. Он же всерьез уверовал в то, что «много работают только бездарные люди»...

Спящий за ним, чернявый и длинноволосый,— это театральный рецензент. У него семь пятниц на одной

неделе. Перед сильными — лебезит. На слабых — рычит. Встретился я как-то с ним на спектакле. Весь вечер он плевался и ругал постановку. А в газете вознес ее до небес. Когда я упрекнул его за это, он спокойно ответил: «Что делать, пьеса нравится начальству!» И добавил: «Не хочу стать тем петухом, которому отрезали голову за то, что прокукарекал в неурочный час».

Я заметил, что не вижу смысла в его писании. А он нагловато ухмыльнулся: «Удивляюсь тебе. Мысль иногда беспокоит человека, как вошь. Ты пои меня вином,— ведь скоро не будет на свете ни нас, ни наших мыслей...»

Уже рассвело, а тамада все еще бодрствовал. Он заставил меня выпить с ним еще рог и с грустью сказал:

«Простое и ясное начертание грузинских букв многих вводит в заблуждение, поэтому так необдуманно и берутся люди за перо. Ты, должно быть, слышал басню про лису, которая помочилась в море и затем стала хвастать, что море от этого стало многоводнее. От них,— он презрительно взглянул на полати,— такая же польза нашему литературному морю, как от той лисы».

«Неужели же у нас нет хороших писателей?» — спросил я тамаду.

Он ответил:

«Эх, мой дорогой. Ты, как старый охотник, должен знать, что когда входишь в богатое дичью место, то встревоженные сороки, дятлы, удоды сразу же подымаются в воздух. И плохой охотник думает, что это и есть вся дичь, не ведая того, что куропатки, фазаны и турачи притаились и обнаружить их куда труднее, чем сороку и удода... Хорошие писатели у нас, конечно, есть. И если бы они пришли сюда, то в мельнице твоей им стало бы тесно. Но они не стараются быть всегда на виду, как эта мелкота».— Он хитро подмигнул мне.

Потом он пристально посмотрел на меня.

«А ты сам не пробовал писать?»

Я стыдливо опустил голову и сознался, что понемногу пробую.

«Ого! Может, покажешь?»

«Я рву написанное и бросаю в мельничный проток».

«Прекрасно! Прекрасно!— смеялся гость.— Ты научи этому и наших горе-охотников!..»

После этого ночного разговора я не написал больше

ни строчки. Быть настоящим писателем,— не таким, разумеется, как мои гости и их тамада,— решил я, куда труднее, чем охотиться на змей.

В последний год я много читал. И это еще больше укрепило меня в мысли, что не всякому дано быть писателем.

Ниортава задумался.

— Да,—сказал он,— а ведь я хотел поговорить с вами совсем о другом, о том, из-за чего к вам сегодня и пошел. Утром привезли вот эту газету.—Мельник вытащил из-за пазухи измятую газету.— Читал я ее, читал и подумал, что фашисты что-то распоясались, как бы не затеяли войну. А если это случится, мой батоно, меня не удержит плоскостопие, я все равно пойду добровольцем. Я еще покажу, на что способен змееед!

Только тот, кому приходилось хоть раз ночевать на мельнице на берегу Алазани, знает, как прекрасен рассвет в этой долине.

С болот и зарослей медленно поднимаются клочья тумана. Стаи уток черными точками прорезают бледно-желтое небо. Солнце стремительно раскидывает золотой шатер над горами... Все это входит в твое сердце и наполняет душу необыкновенной силой и бодростью.

Коринтели провел ночь без сна, но он не чувствовал усталости. Он возвращался домой, дыша свежестью утра.

Только одна мысль терзала его: «Что с Сускией? Как провела она эту ночь?»

25. У ЛЖИ КОРОТКИЕ НОГИ

В жизни хорошее часто перемешано с плохим, приятное — с неприятным.

В тот день, когда Годердзи Эланидзе избрали председателем колхоза, звеньевую Нуну Уджираули назначили бригадиром. Девушка упрашивала правление не делать этого: она молода, неопытна. Но ее не послушались: все знали, какая она работница.

Бермухский колхоз одержал победу в социалистическом соревновании с соседями и собрал богатый урожай. Нуну выработала более трехсот трудодней, и ее дважды

премировали. Тогда-то она и решила заняться отцовским домом, привести его в порядок.

Дело в том, что отец Нуну — покойный Гоброн Уджираули, поддавшись уговорам своей второй жены, известной нам Кетуа, давно уже хотел продать свой дом и переселиться в город. За хозяйством никто по-настоящему не следил, и оно, естественно, пришло в упадок. В доме прогнили балки, местами провалилась крыша. А хлев напоминал гуся со сломанным крылом — он еле-еле выдерживал натиск ветра.

И вот дом привели в порядок и построили новый хлев. Это разрушало планы Кетуа и, с другой стороны, укрепляло положение Нуну в семье. Кетуа встревожилась. Нужно было что-то предпринимать. Не ровен час, того и гляди Нуну приведет в дом мужа. Ведь ни для кого уже не секрет, что она отказала Коберидзе только потому, что неравнодушна к Годердзи. У Годердзи душевнобольная тетка, и он не может взять Нуну к себе. Ну, а что ей помешает привести Годердзи в родительский дом? Малхаз? Вряд ли. Она не обращает на него никакого внимания. А ведь не она, а Малхаз — единственный законный наследник Гоброна.

Кетуа поддержали старейшины рода Уджираули и прежде всего Абриа, обозленный на Годердзи, а значит, и на Нуну за то, что материалы о непорядках на овцеводческой ферме передали в прокуратуру,— новый председатель решил бороться с расхитителями социалистической собственности.

И тут-то ополчились на него клеветники. А клеветники всех времен знают, что ничто так тяжело не ранит человека, как незаслуженное обвинение его как раз в том, против чего он сам борется. Чем чудовищнее обвинение, тем больше уверенности, что от него останется след. Они знают и то, что, если надо очернить хорошего человека, следует всячески превозносить недостойного.

Пока Тедо Таралашвили был председателем колхоза, Абриа и другие старики чернохуторяне хором его ругали, называли бездельником, пустышкой, головотяпом. Но как только его сменили, они тотчас же повернули вспять и стали приписывать ему множество достоинств.

Теперь они единодушно сходились на том, что Тедо был отличным хозяином, рачительным, дальновидным, бескорыстным, и тут же упорно распространяли слушок,

что будто Годердзи приписал Нуну двести лишних трудодней, чтобы она могла отремонтировать свой дом и построить новый хлев.

Натия Таралашвили, объятая безнадежной любовью к Годердзи, сочиняла такие фантастические истории о его тайных встречах с Нуну, которые трудно было бы выдумать даже многоопытному романисту.

А тут еще произошли такие события.

В конце ноября Годердзи поехал в Кварели на совещание животноводов. И в то же время в Телави, на совещание виноградарей, вызвали секретаря колхозной парторганизации Цискарашвили и двух бригадиров — Швелу Габедадзе и Нуну Уджираули.

По Бермухе немедленно пополз слушок, будто председатель колхоза и Нуну отправились в Тбилиси, чтобы сделать крупные закупки для своей будущей семьи.

Что ни говори, а в жизни человека огромную роль играет иногда случай. Именно так и произошло на этот раз. Случилось так, что в тот день, когда Нуну должна была вернуться из Телави в Бермуху, она выиграла по облигации займа десять тысяч рублей.

Девушка была, как говорится, на седьмом небе. И она действительно вернулась домой с целой машиной добра.

Кетуа в это время доила во дворе корову. У нее перехватило дыхание, когда она увидела тяжело нагруженную машину и сияющую Нуну.

Она вошла в дом, когда девушка выкладывала подарки Малхазу: зимнее пальто, рубашку, штаны, ботинки, калоши и коня на палочке. Мальчик немедленно влез босыми ногами в новые сверкающие калоши и, схватив своего деревянного коня, шмыгнул на улицу.

Кетуа не верила своим глазам: кровать, шкаф, стол, стулья... Откуда взялись у нее такие деньги?! Спросить бы у самой Нуну. Но они были в ссоре и не разговаривали с тех пор, как Нуну потребовала от своей мачехи вернуть Коберидзе все его подарки, а Кетуа, обманув Нуну, оставила их себе — мол, того захотел сам Коберидзе.

Что же оставалось Кетуа, как не поверить в ложь, которую она сама же выдумала и распространяла, — будто Годердзи и в самом деле приписал своей возлюбленной двести колхозных трудодней.

Она поспешила к Маруа, чтобы поделиться с ней ошеломляющей новостью. Но соседки не оказалось дома. Тогда она направилась к Натии. И тут ей не повезло: у Натии сидела ее подруга Элико; они только что вернулись из кино, лакомились каштанами и обсуждали картину.

Натия предложила гостье каштаны прямо с железной печурки, но раздосадованная Кетуа и не прикоснулась к ним.

— Что случилось? Почему у тебя глаза блестят? — спросила девушка.

— Чего-то нездоровится,— слукавила Кетуа.

Она зло смотрела на Элико и молча проклинала ее: «Когда же уберется отсюда эта чертова кукла?» А та беззаботно щебетала о том, как красива была героиня фильма, какое необыкновенное на ней платье, какие модные туфли.

И тут Кетуа не выдержала. Она могла бы буквально лопнуть, если б не открыла рот и не выбросила столь мучительно теснившиеся в нем слова:

— Именно такое платье и такие туфли привезла только что одна госпожа!

— Какая? — сразу же полюбопытствовала Натия.

— Потом скажу! — ответила Кетуа.

Тогда Элико поняла, что Кетуа хочет сообщить Натии что-то весьма важное и при ней ни за что не скажет. Девушка попрощалась и ушла.

На железной печурке звонко лопнул каштан.

— Горе мне! — крикнула Кетуа и чуть не свалилась со стула.

— Что случилось, что тебя так напугало? — спросила Натия.

— Думала, что из ружья выстрелили! Совсем я извелась, ну, ничто не греет сердце,— сокрушалась Кетуа,— одни только неприятности.

Уста ее разверзлись, и уже ничто не могло остановить хлынувший оттуда поток слов.

— Ведь права я была: привезла Нуну целую машину всякого добра... Подарки Коберидзе — ничто в сравнении с этим сказочным богатством,— трещала она.— А бедному Малхазу досталась всего-навсего паршивая деревянная лошадка.

Натия была потрясена и слушала затаив дыхание,

— Видишь, во что нам обходятся ласки председателя колхоза,— визжала Кетуа.— Этот Годердзи, что ему заблагорассудится, то и делает! Захотел и подарил своей любовнице наши трудодни. Разве ты работаешь меньше ее? А где, где оно, твое богатство? Эх, проморгала ты его! А теперь проводи время то с Элико, то с Тиной. Счастье-то было у тебя на пороге. А теперь завладела им Нуну.

Бог знает, как долго еще продолжались бы причитания Кетуа, если бы к Натии не заглянула дальняя родственница Годердзи Тина. Кетуа испугалась: Тина может выдать ее, донести.

— Куда же ты торопишься? — огорченно спросила Натия, ее тоже не обрадовало появление новой гостьи.

— У меня срочное дело к Абриа,— бросила на ходу Кетуа.

— Хорошо... И я постараюсь заглянуть туда попозже,— крикнула Натия, закрывая за ней дверь.

У злословия, как и славословия, нет меры. Побывав у Натии, Кетуа еще не облегчила своего сердца и потому спешила, почти бежала к Абриа.

Во дворе Абриа ее встретил лай овчарок. Самую крупную из них Кетуа ласково позвала: «Брола, Брола». Собака замолкла, подобострастно завиляла хвостом, а за ней успокоились и остальные.

В доме, у разведенного посреди комнаты огня, сидели Абриа и его братья. На крюке висела только что освежеванная свинья. Хозяйка суетилась у котла, из которого шел приятный, возбуждающий аппетит запах. Потом она вынула из котла и подала на низенький столик дымящиеся свиные потроха.

Кетуа изрядно проголодалась, и ее не нужно было уговаривать поесть. Ей не терпелось, конечно, поделиться новостью, но рот ее был пока что занят. Но и то, что она услышала здесь, было весьма любопытно.

Абриа буквально рычал:

— Как посмела Тетро бежать из дому и расписаться с Лалбацей?

Оказалось, что его внучка Тетро была уже беременна.

Поцхвери старался смягчить гнев Абриа:

— Лалбаца не такой уж нестоящий человек. Он бросил пьянствовать, и теперь у него хорошо пошли дела в

колхозе. Двести пятьдесят трудодней заработал. Скоро он станет бригадиром.

Абриа разодрал руками свиное сердце и принялся жевать его своими крепкими зубами.

— Что ты мелешь! — набросился он на брата.—Женщина не должна без спросу выходить замуж. Кто без спросу выйдет замуж, тот и от мужа удерет. Вот увидите, как Тетро удерет от этого ротозея Лалбацы! А самое страшное то, что она на сносях. Вот уж, верно, обвязывала себя тряпками, чтобы скрыть это от людей!

Тут Кетуа склонила голову и вставила свое слово:

— А я так скажу, дедушка Абриа. Женщине не положено долго оставаться в отцовской или дедовской семье. Отец мой был умным человеком, и я не раз слышала от него: «Женщина, не выданная замуж,— проклятие для семьи...»

— Попридержи язык! — оборвал ее Абриа.— Если бы твой отец был действительно таким, как ты говоришь, он не выдал бы свою дочь за Гоброна. Да что там говорить... я-то ведь знаю, что у тебя на уме. Ты сама не прочь снова выскочить замуж, а несчастного Малхаза бросить на мою шею.

Кетуа прикусила язык. В душе она была довольна, что Абриа именно так думает о будущем Малхаза, и когда придет время, он вряд ли станет противиться тому, чтобы она оставила ему своего больного сына, в конце концов он примирится с этим.

Кетуа, с жадностью проглотив свиную селезенку, которую так любила, обратилась к Абриа:

— Скажи-ка мне, а разве хорошо, что наша Нуну до сих пор не вышла замуж и шляется с этим самым Годердзи по разным амбарам? Она ведь срамит нас, без ножа режет на глазах у всей деревни.

Но разговор обернулся не так, как она рассчитывала.

— Я сам всегда считал: «Не выданная замуж женщина — все равно что непохороненный покойник»,— ответил Абриа.— Почему же ты упустила Коберидзе? Если бы ты не позвала к себе в дом сумасшедшего Канкрэ и он не побил бы Коберидзе, то Нуну стала бы его женой. Во всем ты сама виновата.

Тут еще ее поддел Ути.

— Мне кажется,— съязвил он,— что Кетуа облюбовала Коберидзе для себя, а не для Нуну.

Разве можно было пережить такое? Кетуа растерялась. Она хлопала себя по щекам, призывала в свидетели всех святых и клялась своим единственным сыном Малхазом, что и в мыслях никогда не держала того, в чем подозревает ее Ути, что она хлопотала только о Нуну, только для нее приглашала Коберидзе.

Тут ее ошарашил Луо:

— Нет, ты уж признайся, Кетуа, кому достались подарки Коберидзе? Нуну или тебе?

Кетуа защищалась:

— Нуну их не приняла, а Коберидзе тоже не брал. Что же мне оставалось, выбросить их на улицу?

Отбив, таким образом, атаку, Кетуа начала быстро рассказывать о том, что привело ее сюда и что служило оправданием их общей выдумке о двухстах трудоднях, незаконно приписанных Нуну. Пришла Натия. Ее появление еще больше подогрело Кетуа.

Рассказ произвел впечатление. Старики всполошились.

— Не надо было холостяка выбирать председателем,— сказал Поцхверн.— Холостяк не может жить без любовницы, а любовницу нужно содержать. Не так ли?

Абриа был настроен менее рассудительно. Он до хрипоты ругал Годердзи и Нуну. Не молчала и Натия.

— Словами делу не помочь,— произнесла она решительно.— Нужно пожаловаться в Тбилиси. Тогда и Годердзи и Нуну запоют по-другому.

Это предложение понравилось Абриа.

— Написать? — переспросил он.— Правильно, но кто же это сделает? Я своих овец и то не могу сосчитать. Надрезы на палке делаю. Читать читаю, а писать не могу. Ты, дочка, грамотная. Вот и написала бы.

— И напишу, ей-богу, напишу, дедушка Абриа. Только вы не отступайте, когда приедет комиссия из Тбилиси. Откуда Годердзи взял те двести трудодней, которые подарил Нуну? Украл их у всех нас. За это по головке не погладят.

— Правду говорит Натия! — поддержал Луо.— Пусть об этом узнает правительство.

Поцхверн колебался:

— Нуну действительно опозорила всех Уджираули, но она все же наша плоть и кровь.

— Хороша плоть и кровь! — гневно воскликнул Абриа.— Я бы себе пиявок посадил на затылок, чтобы они отсосали такую кровь.

Слова Абриа решили все.

— Напиши, Натия. Пусть и Годердзи почувствует, как сладко месить грязь у дверей прокурора. А мы уж не попятимся вспять. Ты только напиши, Натия!

Недолго пришлось пробыть в Бермухе комиссии Наркомата государственного контроля, прибывшей вскоре из Тбилиси. Нуну сообщила номер своей выигравшей облигации, члены комиссии связались с Телави, проверили — и все им стало ясно.

26. ТАЙНА НОЧИ

Долго в тот год держалась зима. Жестокие метели не раз срывались с Кавкасиони и совершали свои буйные набеги на Алазанскую долину. Морозы сковали родники Дуруджского ущелья, и с утесов свисали причудливые хрустальные люстры.

Весна запоздала. Густой туман так часто окутывал Бермуху и Гвелети, что казалось, будто свет и вовсе пропал, будто нигде и ничего не существует, кроме вот этого бескрайнего тумана.

В конце марта начались дожди и ураганы.

Местные жители надолго запомнили тот день, когда гроза, как бы вырвавшись из-за Лекской горы, с громом прошлась по Дуруджскому ущелью и выгнала оттуда притаившихся в расщелинах скал орлов.

Она разметала отары овец, валила с откосов столетние ольхи, срывала с домов и сараев крыши и у знакомого уже нам старого дуба-богатыря сломала еще одну большую и тяжелую ветвь.

Буря пересекла путь журавлям, летевшим к Алазани, и заглушила их жалобные крики. Она развеяла несколько тонн соломы.

Ночью выпал крупный град. С гор хлынули потоки. Они переполнили впадину Оленьего озера, размыли в нескольких местах магистральный канал и повредили плотину электростанции.

Что было делать с этой разбушевавшейся стихией? Разве можно было ее унять?!

Никто в ту ночь не уснул ни в Бермухе, ни в Гвелети. Не спалось и дедушке Микеле. Он разжег огонь в комнате и долго грел свои озябшие руки.

— Если в этом году будет плохой урожай, трудно нам придется, внучка,— сказал он Баблии.

Годердзи слышал этот разговор. Он был встревожен не меньше старика. Но чтобы успокоить его, спросил как обычно:

— Почему так рано поднялся, дедушка? До утра-то еще далеко.

Внешнее спокойствие Годердзи не обмануло Микелу. Он знал, что внук его думает сейчас о том же.

Вчера Абриа-злоязычный, стоя у кооператива, ехидничал: «Посмотрим, что будет теперь с нашими виноградниками».

И в самом деле, выдержат ли они?

Но теперь, подойдя к кровати Годердзи, Микела уже утешал его:

— Не печалься, внучек! Бог милостив. Оттепель, я думаю, только в предгорьях. Эх, где ты, свет глаз моих! Если б мне хоть разок глянуть на Кавкасиони, я бы сразу сказал тебе, будет или не будет наводнение в этом году. Сколько бурь пронеслось над нашей страной, но народ справлялся с бедой. Справится и теперь!

И действительно, как ни тяжелы были потери, вызванные бедствием, колхозники скоро восстановили все разрушения и по-боевому, за две недели, закончили полевые работы. Но самое неожиданное было то, что виноградники почти не пострадали.

Нуну и Годердзи по-прежнему избегали встречаться открыто. В конце субботнего дня они назначили свидание у известного уже нам старого дуба.

Годердзи направился было туда, но недалеко от дома колхозного правления встретил Тедо Таралашвили, с которым не виделся больше месяца, с того самого времени, как Тедо уехал в Тбилиси. Они очень обрадовались друг другу.

— Что с тобой, парень? Почему ты так похудел? — бросился к нему Тедо.

— Устал я, дядя Тедо! — смутился Годердзи.

— Не говори так, юноша! Печаль и усталость чужды настоящему мужчине. Дали бы мне твою силу и ловкость, я перепрыгнул бы и гору Сперозию, ей-богу.

— Нет, дядя Тедо! Слишком большой груз взвалили на меня. Боюсь — опозорюсь. И снимут меня, как пешку, да в партийное личное дело еще что-нибудь запишут. За мной ведь не числится никаких особых заслуг, которые могли бы принять во внимание...

— Не унывай, сынок! Хорошо, что тебя как следует нагрузили. Из нас, стариков, уже песок сыплется, и то мы не сдаемся. А вам, молодежи, ни у кого силы не занимать. Со всем справитесь! Виноградарь, как ты знаешь, оставляет для размножения молодые побеги, а не старый сучок. Попомни мои слова: от человека всегда требуется мужество — и тогда, когда его выдвигают на новую работу, и тогда, когда его снимают. На моих ошибках, сынок, ты можешь многому научиться. Я сломал шею из-за Абриа-злоязычного. Передоверил ему. А ведь один бывалый человек предупреждал меня: свою собственность можешь доверять кому хочешь; если кто тебя и обманет, то только ты один понесешь убытки. Но если ты опрометчиво поступишь с общественной собственностью, доверишь ее не тому, кому следует, ты причинишь вред и обществу и лично себе — опозоришь свое имя. А что может быть хуже такого позора.

Я знал, конечно, что это так, но не сумел воспользоваться умным советом, применить его на практике. Если бы мы всегда разумно поступали, то нам не требовалось бы тогда ни лекций о бдительности, ни собраний со спорами о том, как бороться с расхитителями общественной собственности.

Меня, как ты знаешь, обманули. Хорошо, что партия поверила в мою честность, иначе разве мог бы я жить?!

Он взял Годердзи под руку, ласково посмотрел ему в глаза и тише обычного сказал:

— Знаешь, мне приятно было услышать вчера вечером, что ты организовал субботник и помог бедному Лалбаце восстановить его жилище, разрушенное бурей. Он и Тетро провели несколько ночей в хлеву.

— Моя заслуга тут небольшая,— поправил его Годердзи.— Нас было человек сорок. Одни таскали кирпичи, другие чинили двери и окна, третьи — стеклили...

— Будь благословенно ваше доброе сердце,— сказал

Тедо.— Раньше у Лалбацы плечи были всегда измазаны мелом и известью, так как он пьяный терся о чужие стены. Не было покоя от его ругани. Теперь же его не узнать. А все потому, что ты нашел ключ к его душе, увидел в нем человека, поддержал его в трудную минуту, направил.

Годердзи рад был встрече с Тедо, но он все же спешил к Нуну и потому нервничал. Тедо не мог этого не заметить. Но он не мог не сказать Годердзи того, о чем так много думал и в чем юноша так нуждался.

— Я давно уже хотел тебя видеть,— торопливо продолжал он.— Мешала болезнь. И чего стоило бы этому богу сотворить человека без желудка,— улыбнулся он.— А то мой желудок стал моим врагом... Отца у тебя нет, а дедушка слеп — не видит ни добра, ни зла. Некому тебя вовремя предостеречь, научить...

Годердзи насторожился.

— О чем это ты, дядя Тедо? От чего предостеречь?

Они присели на большой пень бука, старик поднял щепку с земли и принялся медленно строгать ее карманным ножом.

— От кого предостеречь? Да от наших общих «приятелей», от твоих разоблачителей, промышляющих анонимными письмами,— сказал Тедо.

— Чего они от меня хотят? — вспылил юноша.

— А ты разве не знаешь? — удивился Тедо.— Существует не только классовая борьба, но и борьба между лодырем и трудолюбивым, тупицей и умницей, бессовестным и честным... Успех приносит человеку не только друзей, но и недругов. Ты, вероятно, слышал грузинскую поговорку: «Плох человек без врагов, но и плох окруженный врагами». И еще говорят: «Тот, кто изобрел пандури, приобрел себе и первого врага». Вот как!

— Все же, чего они хотят от меня, дядя Тедо? — недоумевал Годердзи.— Я ведь не просил, чтобы меня выдвигали в председатели колхоза. Выбрали,— я и работаю, как могу. У меня есть руки, и я всегда прокормлю себя, дедушку, тетку и сестренку Баблию. Я знаю столярное дело, могу сесть и на трактор. А если потребуется, то и на самолет — бортмехаником. Не зря же я учился в авиационной школе. Я не держусь за председательское место. Могу его уступить хоть сегодня!

— Не горячись, сынок,—остановил его Тедо.—Абриа

и его собутыльники только и мечтают о том, чтобы ты освободил для них это место. Им тогда легче будет устраивать свои делишки. Хочешь помочь им — уходи. Но обратил ли ты внимание на то, что они связывают все с Нуну? Сельские сплетники болтают, что ты встречаешься с нею. Надо было бы этому положить конец. А то и тебя это чернит и ее.

Годердзи не возражал.

— Что же делать, дядя Тедо?

— Жениться на ней, только и всего.

— Жениться,— грустно повторил Годердзи.— А где же нам жить? Я лучше буду спать на улице, чем поселюсь в одном доме с Кетуа. А ко мне ее привести тоже нельзя: тетка больная.

Тедо пристально посмотрел на Годердзи и твердо сказал:

— Ты не должен бояться жизни, сынок. Жизнь иногда бывает похожа на злую собаку: струсишь — вцепится она в тебя и поволочит.

— Это верно. Но верно и то, что как только я сооружу себе самую что ни иа есть маленькую землянку, как все мои недруги закричат, что я воздвиг себе царский дворец. Стоило Нуну выиграть по займу, и чего только они не сочинили.

— Так, по-твоему, выходит,— улыбнулся Тедо,— что никто из неженатых председателей не имеет права построить себе дом и жениться.

— Про других, дядя Тедо, не знаю, а мне — нельзя.

Разговор мог бы на этом и закончиться. Но Тедо вспомнил о том, как помогли Лалбаце, и сказал:

— Я сам возьмусь за это. Организуем субботник и пристроим к дому твоего деда комнату. Согласен?

— Где же мы достанем столько материала?

— Гм, материала?.. Микела ведь давно, еще до того, как ослеп, собирался построить новый дом. У марани под навесом столько материала лежит, что хватит и на две комнаты. Придется привезти только тысячу черепиц. Я старый плотник. Могу и рубанком поработать.

Годердзи чувствовал себя неловко.

— Да, но не хочется мне ни вас, ии людей беспокоить.

Он хотел еще что-то сказать, но Тедо поднялся и протянул ему на прощанье руку.

— Не беспокойся, сынок,— сказал он участливо.— Ты заслужил свое счастье.

Годердзи не шел, а бежал,— не бежал, а летел к старому дубу. Он не видел того, что клочья серых облаков заволакивают небо, и не обращал внимания на красоту молодых лоз, вставших на его пути. А они были сейчас поистине прекрасны. Их листья отливали лазурью, пропитанной золотом. На каждой веточке торчали, подобно рогам, усики. Колеблемые ветерком, они нежно обнимались друг с другом. Он не замечал пышного цветения садов — персика, черешни, туты.

У старого дуба ждала его Нуну. Он летел сейчас к ней и только ее видел перед собой.

Его воображение живо рисовало уже ту комнатку, в которой он скоро с ней поселится.

Окно будет выходить в ту сторону, где сейчас растет миндальное дерево.

В одном из углов сложат камин, который он так любит. У камина, правда, есть недостаток. Он опасен для детей. В Телави недавно случилось несчастье: двое детей, оставшиеся без присмотра, играя, попали прямо в огонь и сильно обожглись. Но Годердзи поставит чугунную решетку.

Он думал сейчас и о том, что у него и у Нуну будет обязательно ребенок. Если сын, то они назовут его, конечно, в честь дедушки Микелой.

Мальчишки любят скакать верхом на палочках-лошадках. Они колотят их плетками и так грозно кричат, будто ведут в наступление кавалерийский эскадрон. И маленький Микела будет скакать на своем коне. Годердзи слышится уже восторженный крик сына...

Напрасно иные думают, что можно приходить в восторг только от чего-то реально существующего. Человеку свойственно мечтать, фантазировать. Он не довольствуется настоящим. Его воображение создает картины будущего, картины возможного.

Годердзи находился уже недалеко от старого дуба, когда он неожиданно взглянул на небо и увидел низко нависшие тучи. Вслед за этим он ощутил на лице несколько крупных дождевых капель. Не могло быть сомнений — начинается дождь.

«Где же нам с Нуну укрыться? — думал Годердзи.— В Бермухе — нельзя. Это значило бы дать новую пищу для сплетен. В Черном хуторе — тем более...»

Яркое солнце быстро скользнуло в облаках цвета яичного желтка, а потом вдруг вырвалось наружу и озарило все вокруг. За прибрежными ивами, как алюминиевая лента, блеснула Алазани. Над вершиной пирамидообразной горы протянулись, удаляясь, густые шелковые нити дождевых струй. Дождь проходил стороною.

Читатель, я надеюсь, помнит, как впервые встретились под старым дубом Годердзи и Нуну. И сейчас они также присели на тот самый корень, который бермухцы окрестили «верблюжьим горбом».

Юноша извинился за опоздание и рассказал Нуну о встрече с Тедо. Но Нуну и не думала на него обижаться.

— Трудно бывает влюбленным,— улыбаясь, сказал Годердзи.— Только здесь мы и можем уединиться. Но влюбленным ведь и положено мучиться, бороться с трудностями. В книгах, которые я читал, любовь всегда осложнена. До счастья, кажется, уж рукой подать, но тут, словно чертик, между двумя возникает третий, или, еще хуже, по воле писателя девушка заболевает чахоткой, или с юношей случается какая-нибудь беда.

— Я тоже об этом думала,— откликнулась Нуну.— Недавно я прочла книгу, в которой писатель заставил влюбленных разойтись из-за наговоров злых людей. У меня прямо сердце заболело... Возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что наша Натия тоже строит козни и рада была бы нас разлучить.

Годердзи вспыхнул:

— Никто никогда этого не добьется!

Он крепко обнял Нуну.

— Ничто не должно нас пугать, моя дорогая, любимая. У нас ведь все навечно...

Нуну зарделась. Скрывая свое смущение, она похлопала рукой по изогнутому корню дерева:

— Он и в самом деле похож на горб верблюда.

— Помнится, в какой-то книге писатель посадил влюбленных на верблюда и отправил их в пустыню... Вот и мы с тобой сидим сейчас на горбу верблюда,— шутил Годердзи,— и нам предстоит долгий путь. Дядя

Тедо сказал, что жизнь походит порой на злую собаку и горе тому, кто ее испугается, вздумает бежать. Он, пожалуй, прав. Как ты думаешь?

Девушка не успела ответить — с реки послышались чьи-то голоса. Нуну насторожилась.

— Уйдем отсюда, Годердзи. Нас могут увидеть.

Годердзи улыбнулся:

— Не боишься ли ты новой встречи с Канкрэ?

— Канкрэ бежит теперь от меня,— в тон ему ответила Нуну.— Но вместо него может появиться кто-нибудь другой.

Только успела она это сказать, как послышался шорох сухих листьев. Прямо к ним шел Ниортава. Он держал двух мертвых ласточек.

— Я нашел их сейчас на обочине дороги,— сказал Ниортава.— Несчастные, не успели свить себе гнездышка и, наверно, вчера, когда похолодало, погибли.— Он ласково посмотрел на Годердзи и Нуну.— А как вы поживаете, мои ласточки? Скоро ли построите свое гнездышко? Торопитесь!

С полей доносилась песня. Все прислушались.

— Слышите, как весел рабочий человек,— сказал Ниортава,— как душевно поет он? Я, увы, поздно понял, что на этом свете только труд приносит радость. Этой радостью и дышат песни людей труда — пастухов, каменщиков, погонщиков быков, столяров.

Недавно я был в Тбилиси. Сколько там праздношатающихся людей с унылыми от безделья лицами! Направить бы их сюда, к нам, занять бы их полезным делом, ну, пусть бы хоть осушали болота Оленьего озера или посадили тысяч пять саженцев. Они, я уверен, почувствовали бы себя здесь куда лучше, здоровее. И тогда запели бы веселые песни.

Знаешь, Годердзи, я не люблю людей, которые привыкли жаловаться, стонать, лить слезы. Они не понимают, что жизнь похожа на коня: надо уметь вскочить на него, объездить, а не то сам угодишь под него, и тогда он растопчет тебя. Меня не раз сбрасывал с себя этот конь. Но недаром меня прозвали Нацаркекия[1]. Я свалюсь и тут же вскочу, ей-богу. И со своей мельницы я

---

[1] Нацаркекия — хитроумный герой грузинских сказок, победитель грозных дэвов.

угрожаю всем стоглавым дэвам. Плохо, когда человек, подобно свинье, уткнулся рылом в землю и, кроме нее, ничего не видит. Уж лучше, как петух, задрать головушку и крикнуть небу: ку-ка-ре-ку!.. Развеселитесь, мои ласточки, и поскорее свейте себе гнездышко. Да не забудьте меня пригласить на свадьбу.

Ниортава засмеялся и скрылся в зарослях кизила.

— Не выпил ли он? — спросила Нуну Годердзи.

— Нет, у него всегда чуть помутневшие глаза, потому он и кажется выпившим. Золотой человек Ниортава!

После встречи с мельником Годердзи подумал, что Нуну была права, когда хотела уйти отсюда. Мало ли кто еще может заглянуть сюда после Ниортавы. А так хотелось побыть с ней наедине!

Он поднялся и потянул за собой Нуну:

— Пошли к парому!

— А что нам делать там? Еще наши увидят.

Годердзи взобрался на поваленную осину и посмотрел в сторону парома.

— Паром идет пустым. Мы переберемся на тот берег, и я поведу тебя вон туда, где виднеются кипарисы и развалины храма, видишь, за совхозом.

Они спустились к реке.

Высокий и согнутый, словно журавль, паромщик нагло оглядел Нуну, но, узнав Годердзи, отвел от нее взгляд.

— Куда путь держишь, Годердзи? — глухо спросил он и ухватился за весло.

— На ту сторону. Нужно взять у совхозных ребят сортовые прививки,— не растерялся Годердзи.

Паром отчалил.

— Должно быть, твоя сестренка? — кивнул паромщик в сторону Нуну, которая стояла у противоположного края парома и наблюдала за течением.

Годердзи молча подтвердил.

— Вы как две капли воды похожи друг на друга, ей-богу!

Паромщик смотрел на Нуну, и это задело Годердзи.

— А ты почему ее так разглядываешь?

Паромщик обнажил свои желтые зубы, похожие на кукурузные зерна, и заулыбался.

— Пах, пах... Эта девушка запала мне в сердце еще в прошлом году. До чего хороша! Даже воду после ее

купанья и то будет вкусно пить. Породниться бы мне с тобой!

— Нет, брат, уважь,—отрезал Годердзи,—моя сестра еще не собирается замуж.

Паромщик не унимался:

— Может быть, брезгаешь мною, думаешь, паромщик тебе не ровня?

— Брось дурить,—примиряюще произнес Годердзи.

Паромщик приободрился:

— Ты не смотри на меня свысока. У меня в конце села дом из пяти комнат, приусадебный участок с гектар, упряжка буйволов, шестьдесят овец...

Тут только Годердзи заметил, что паромщик был под хмельком.

— Ты бы поменьше выпивал,—сказал Годердзи,— а то, знаешь, пьяницы не очень-то нравятся девушкам.

Паромщик покраснел.

— Я, правда, немного заложил. Вчера сестренку выдавал замуж. А сегодня вышел на работу только потому, что у сменщика мать умерла.

Паром пристал к берегу. Годердзи и Нуну собрались уже было сойти, но паромщик загородил им дорогу. Он принялся упрашивать Годердзи выпить и закусить с ним под навесом. Годердзи отодвинул его локтем.

Паромщик снова уставился на Нуну и промычал:

— Лучше бы вам подождать под навесом. Скоро дождь. Вы не успеете дойти до совхоза.

— Откуда ты знаешь? — Годердзи пренебрежительно махнул рукой.

— Откуда? Да я же столько лет торчу на этом пароме.

Годердзи тревожно посмотрел на небо. Солнечную колесницу снова заволакивала серая пелена, из-под которой слабо просвечивались медно-красные лучи...

Молодой человек и девушка торопливо шли между цветущими вишневыми деревьями, рассаженными вдоль дороги, ведущей к совхозу. За оградой из колючей проволоки цвели персики. Лепестки, усеявшие землю, напоминали только что выпавшие снежинки.

— Далеко еще до разрушенной церкви? — спросила Нуну.

В этот миг раздались первые раскаты грома. Годердзи посмотрел в сторону горы Лекимта: лохматые серые тучи грудой навалились на Кавкасиони.

Гром приближался. Годердзи почувствовал на своем лбу дождевую каплю.

— Накаркал этот чертов паромщик! — сказал он. — Нам не добраться до церкви. Сверием-ка в совхоз и там переждем грозу.

Нуну не соглашалась: там ее могли узнать. В прошлом году она, оказывается, была в совхозе,—ее посылал Тедо за американским сортом лозы.

Они шли до тех пор, пока небо не стало свинцовым и не разразился ливень. Если бы они сейчас и побежали к совхозу, то все равно промокли бы до нитки. Годердзи нашел другой выход.

Недалеко от того места, где они находились, за забором, высилась плетенная из прутьев сторожка. Там никого не было, сторожа появлялись тут только во время сбора урожая. Пробраться же к этой будке можно было сквозь отверстие в заборе.

Годердзи схватил Нуну за руку:

— Бежим к сторожевой будке!

Дождь припустил. На песчаной дороге взбухли и лопались водяные пузыри. Казалось, что бесчисленное множество воробьев копошится в песке.

Годердзи снял с себя куртку и накинул Нуну на плечи. Запыхавшись, достигли они, наконец, укрытия и по узенькой деревянной лесенке осторожно поднялись в трехстенную будку, которая так скрипела и шаталась, что, казалось, вот-вот развалится.

Тут стоял стол, на нем кувшин с отбитым горлышком и закопченный фонарь. В углу охапка сена и рваная мутака[1].

Ливень усилился. Но Годердзи и Нуну были уже в безопасности. Годердзи снял куртку с плеч Нуну и, расстелив ее на сене изнанкой вверх, усадил Нуну. Сверкнула молния. Девушка поднялась и выглянула из будки.

На несколько километров протянулись виноградники. Каждый участок окружали персиковые и вишневые деревья. Косые бичи дождя хлестали по лозам. Они дрожали и гнулись.

— Взгляни-ка, Годердзи, у них стволы толщиной в твою руку. Через несколько лет и наши виноградники будут такими, не правда ли? До чего здесь красиво!

[1] Мутака — продолговатая подушка, валик.

Если бы я была художником, то обязательно нарисовала бы все это: и виноградники, и деревья в цвету, и вот эту сторожевую будку... И у нас, конечно, есть на что посмотреть. А когда Бермухская гора и Гвелетское плоскогорье соединятся террасами виноградников, до чего это будет красиво!

Налетел ветер. Нуну скрылась в будке.

— Эх, если бы у нас с тобой была хоть такая трехстенная будочка, — вырвалось у нее. — Правду говорил Ниортава: мы с тобой похожи на ласточек без гнезда.

— Не беспокойся, дорогая. Скоро у нас будет не трехстенная, а настоящая четырехстенная комната. Мне нужно только найти тысячу черепиц.

— Для чего тебе столько черепицы?

— Потом скажу.

Нуну снова подошла к тоненьким железным перилам, протянутым с открытой стороны сторожки. В ее глазах мелькали отсветы молний, и звонкий смех ее сливался с весенним звоном дождя. Годердзи никогда не видел ее такой озаренной.

Он приблизился к ней и нежно обнял.

— Давай присядем, — сказал Годердзи.

Нуну воспротивилась.

— Здесь лучше. Постоим, полюбуемся этим чудесным зрелищем.

Она ухватилась рукой за перила. Годердзи порывисто поцеловал ее в затылок, оторвал от перил, поднял на руки и, точно ребенка, уложил на свою разостланную куртку. Он притянул Нуну к себе и стал целовать ее в глаза, в лоб, в губы. Она пыталась сопротивляться. Но девичье упрямство было в конце концов сломлено.

Всю ночь не переставая лил дождь. Весенний гром гремел в горах Кавкасиони. Ветер резвился в виноградниках, залетал и в сторожку. Но наши влюбленные ничего этого не замечали. Ночь была их союзником, она дала им приют, укрыла от любопытных глаз, и они были бесконечно благодарны ей. Ах, если бы длилась она без конца... Однако забрезжил рассвет, ливень умолк и мир начал снова принимать реальные очертания.

Утром они услышали скрип лестничных ступенек и потом увидели старика. Это был совхозный сторож, которому понадобилось почему-то именно сейчас прийти

сюда за кувшином. Он не удивился молодым людям и сердечно пожелал им доброго утра.

Нуну испугалась. Старик успокоил ее:

— Не бойтесь меня, дети. Я ведь тоже был когда-то молодым и вместе со своей любимой ночевал и в стогах сена и в сторожевых будках. Радуйтесь своему счастью и не упускайте его... А я только возьму кувшин и уйду.

Годердзи пытался оправдаться: они, мол, шли домой, но их застала гроза и они вынуждены были забраться сюда. Он внимательно смотрел на старика, который казался ему знакомым.

— Неужто не узнал меня? — сказал тот. — Я дедушка Шио, Шио. Эх, будь проклята бедность, а то я угостил бы тебя как следует. Я ведь в долгу перед тобой.

Годердзи не понимал, откуда знает его старик.

— Не помнишь, сынок? В прошлом году я вез на арбе в Телави своего больного внука. Плохо ему было. Ты остановил свою машину у моста, усадил его туда и быстро отвез в больницу. Мальчика спасли.

Старик взял кувшин, посмотрел на Нуну и сказал:

— Я и тебя, доченька, знаю. Но ты не тревожься, дедушка Шио умеет хранить тайны.

27. БИЖИНА

Несколько раз Коринтели заходил к Сускии, но ни разу не застал ее дома. Сторож Матэ говорил, что доктор на работе...

Коринтели не решился заглянуть в ее врачебный кабинет. Здравый смысл внушал ему: «Не торопи ни себя, ни ее. Чтобы плод созрел — нужно время. Может быть, нам лучше пока не встречаться. Знаешь поговорку: «С глаз долой, из сердца вон». Проверьте друг друга...».

И вот он доверился времени.

Дни проходили в напряженном труде. С утра Коринтели отправлялся обычно на виноградники или работал в своем саду, а с вечера и до глубокой ночи писал свою книгу. Он старался не встречаться с Варей и Медико, и Майя подавала ему ужин в его комнату...

А в мире между тем уже шла война. Ее смертоносный огонь охватил огромные пространства Европы, Азии, Африки. За многие тысячи километров слышался лязг

оружия. Маньяк Гитлер трубил о своих новых победах. Фашизм нес гибель всем народам земли.

Коринтели часами просиживал у радиоприемника. На длинных и коротких волнах ловил он длинные и короткие вести, которые передавались радиостанциями Лондона, Парижа, Берлина. Сводки военных действий, декларации, ноты правительств сменялись музыкой Баха, Бетховена, Бизе... Он слушал и думал о том, что нужно торопиться закончить книгу, война может помешать.

Нигде не стало покоя. Не было покоя и в его собственном доме.

Жизнь была похожа здесь на какую-то странную пантомиму. Живым существом, с которым чаще всего разговаривал Коринтели, был верный Ахилл.

Как-то воскресным утром его разбудил громовой голос дяди Нико. Вместе с ним из Телави приехал Зураб Арадели — он находился в отпуску и решил погостить недельку у своего старого друга. Дядя Нико захватил с собой много вкусных вещей и вина. В подарок Коринтели он привез и маленькую лань, которую поймал охотник в Горной Тушетии.

Коринтели очень обрадовался гостям. Но, не в обиду им будь сказано, особую радость он испытал от лани, которую приласкал и назвал именем любимой лани царя Ираклия — Бижиной.

Для Бижины устроили загончик в саду и хотели запереть ее там. Но она решительно воспротивилась этому. Животное сразу же привязалось к своему хозяину, бегало за ним. Когда Коринтели работал. Бижина усаживалась на полу в его комнате и, навострив ушки, наблюдала за ним. Бижина и спала здесь.

Ахилл встретил Бижину враждебно. Но она, как это ни странно, не испугалась: она, должно быть, не поняла собаку и потому не обращала внимания на ее злое рычание. Это-то и обезоружило Ахилла. Его к тому же и побранили. Кончилось тем, что Ахилл и Бижина подружились. Появление гостей внесло оживление в дом Коринтели. Но оно и осложнило его жизнь.

Медея в последнее время болела и редко выходила из спальни. А тетя Варя с приездом гостей совершенно перестала заниматься хозяйством. Она без всякого стеснения надевала нарядные платья своей племянницы, ее лаковые туфли на высоких каблуках и, не выпуская изо

рта папиросы, целыми днями лениво слонялась по дому и саду, болтала с гостями, иногда присаживалась к роялю. Все заботы по хозяйству легли на плечи Майи, Андро и, конечно, на плечи самого Коринтели.

— Давно я не слышал фуги Баха, — сказал как-то Аради, прослушав игру тети Вари.

— Скажите на милость! И как это вы узнали, что я играла? Видно, тараканьи профессора тоже что-то смыслят в музыке, — иронически заметила тетя Варя.

— Я, к сожалению, не так музыкален, как вы, — ответил Аради, — но я люблю музыку и могу по достоинству оценить игру. Не будь таких слушателей, как я, таким талантам, как вы, пришлось бы худо.

— Что мне до вас, новоиспеченных красных профессоров?! — сухо пробормотала тетя Варя. — Ваше одобрение, как и ваше порицание, ничего для меня не стоят.

Аради мог, конечно, обидеться, поспорить, но он так соскучился по хорошей музыке, что решил не ссориться сейчас с тетей Варей, а слушать ее игру. Вспылил дядя Нико. Он порывисто встал и ушел в комнату Коринтели.

— Как вам понравилась усадьба гвелетского новосела? — спросил его улыбаясь хозяин.

— Замечательно, Вахтанг. Можно подумать, что твоему саду уже десяток лет. Кому придет в голову, что ты сажал старые деревья! Вот что значит современная техника. Но я смотрю на твой дом, сад, бахчу и думаю: для чего тебе все это? — Дядя Нико тяжело вздохнул. — Зураб считает тебя счастливейшим человеком. У тебя, мол, все есть, недостает только детей. А я никак не могу забыть того, что услышал в ту проклятую ночь в Телави. Господи, лучше бы я тогда оглох, чтобы ничего не слышать. Зачем мне было привозить вам пакет от проклятой Евфэмии?!

— Эх, дядя Нико, я уже давно примирился с этим.

— И ты ни разу не пытался поговорить с Медико?

— Даже не заикался. Словами тут не поможешь.

Звуки рояля затихли. Дядя Нико встал и посмотрел в приоткрытую дверь.

— Пришел Цероденашвили, — сказал он. — Что этому молодчику здесь понадобилось?

— Он главный инженер «Сельэлектро», друг тети Вари. Она клянется, что он ее родной племянник.

— Это и я слышал, Вахтанг. Мать Цородены — урожденная княжна Джорджадзе.

— А мне-то какое до них дело, — нахмурился Коринтели. — Пошли все они к черту! Такой наглой особы, как эта тетя Варя, я еще никогда не встречал. Пристала, чтобы я помог ей проехаться с Медико по Европе. Правительство, мол, к тебе хорошо относится, достань визы. А в последнее время зачастил этот Церодена. Знаешь, что недавно сказала мне эта дура? «Если он нам не родственник, что из этого? Муж красивой жены должен проявлять терпимость к ее поклонникам. Ты не один год прожил во Франции, читал французские романы и знаешь, что красивых женщин, как и религиозных проповедников, воодушевляют поклонники. Красивым женщинам все прощается! Бальзак, Флобер и Лев Толстой создали образы женщин, не устоявших перед искушением. Возлюбленная великого Рафаэля была дочерью простого булочника. Муза Праксителя, Фрина, — женщина недостойного поведения: она, как известно, во время всенародного торжества разделась донага». И еще добавила тетя Варя: «Ваше искусство потому так надоедает, что оно занято прославлением лишь высоконравственных людей». Как тебе это нравится? — спросил смеясь Коринтели.

Дядя Нико равнодушно вертел в руках пресс-папье. Он хорошо представлял себе, что могла еще сказать тетя Варя, и не хотел вникать в смысл ее слов.

— Эх, мой Вахтанг, горбатого только могила исправит. Пусть хоть о стенку голову расшибет тот, кого ты не любишь, — не жалко!

— Ты прав, дядя Нико. Не зря существует и такая пословица: «Налитое вино должно быть выпито». В счастливый, должно быть, день приехал я в Бермуху. Если бы я и Медико жили в Тбилиси или в каком-нибудь другом большом городе, то, вероятно, я бы не так быстро заметил то, что увидел здесь. Городская жизнь дает человеку возможность маскироваться, там далеко не все тайное становится явным. Там можно долго ходить в маске, как на маскараде. А тут — все на виду, ничего не скроешь.

Появление Майи прервало их беседу. Нужно было идти обедать.

— Сегодня воздвижение креста господня, — напом-

нила за столом тетя Варя. — В этот день, бывало, сам бодбийский епископ служил в Троицкой церкви. Сюда верхом и на тройках с бубенцами съезжалось все кахетинское дворянство. Ах, боже мой, как все это было красиво! А теперь храм опустел, никто не хочет поклоняться святому...

Арадели выпил вино и шутливо сказал сидящему возле него дяде Нико:

— Мы как-нибудь переживем это горе. Не правда ли? Передай-ка мне, пожалуйста, ткемали[1]. Быть может, это утешит меня в разлуке с бодбийским епископом.

Церодена хотел было поддержать тетю Варю, но его рот был забит поросятиной.

— Я редко где видел такой изумительный пейзаж, — восхищался Арадели. — Прекрасное место выбрал ты, Вахтанг, для своего жилья. Какой вид открывается отсюда на Кавкасиони! Хватит тебе бродить по свету. Пора посидеть в тиши, за письменным столом, и обобщать накопленное, выдавать том за томом. Здесь у тебя под руками богатейшая флора. А что еще нужно ученому-агроному! Для полного счастья недостает разве только детишек, — усмехнулся он.

Тетя Варя решительно возразила:

— За всю свою жизнь я еще ни разу не видела человека, осчастливленного детьми. Дети — всегда обуза. А деревня, господа, — сказала она по-русски, — тоскливая пустыня. Профессор Арадели от нее в восторге. Но вряд ли бы он и его жена согласились поселиться в таком «раю». Их больше устраивает жизнь в Тбилиси, на проспекте Руставели.

Арадели возмутился:

— Откуда вы это взяли? Вот уже три месяца, как я живу с семьей в Телави. И, конечно, я не прожил бы и одного дня с такой женой, которая бы отказалась отправиться со мной туда, куда зовет меня долг.

Церодена положил на тарелку обглоданную кость и заметил:

— Метафизические бредни! Современная деревня не может удовлетворить духовные запросы интеллигента.

— Мой племянник прав, — поддержала его тетя Ва-

---

[1] Ткемали — сорт слив, из которых приготовляется острая подлива, приправленная перцем и чесноком.

ря. — Культурный человек может жить только в городе. Европейская аристократия поняла это еще в восемнадцатом веке, когда начала переселяться из своих поместий в Париж, Рим, Берлин, Лондон. Именно город породил европейскую культуру. Если бы не существовало Сен-Жермена, то Стендаль и Бальзак не создали бы своих блестящих романов.

Коринтели невольно улыбнулся.

— Разве дело только в романах? — сказал он. — Вы, видно, не читаете газет и не слушаете радио. Разным людям по-разному живется в больших городах. Там много рабочих, которые живут своим трудом, живут тяжело и плохо, и много всяческих паразитов, чьи бездонные желудки никогда не насыщаются. Они не довольствуются тем, что живут за счет своих народов, и стремятся поработить другие народы. Им не хватает своего национального рынка, и они пытаются хитростью и силой захватить новые. Сколько сочинено лживых теорий во имя благополучия и процветания этих вампиров! Сколько пролито человеческой крови! Расизм и нацизм — не изобретение бесноватого фюрера. И лозунг «Дранг нах Остен» существовал до него. Фашистам, видите ли, не хватает «жизненного пространства». Они готовы с огнем и мечом пройти по всему миру. Разве мало этих поджигателей и палачей живет в современных европейских городах?!

Церодена раскалывал щипцами орехи и жадно жевал их. Но он не мог остаться равнодушным к возникшему спору и не поддержать тетю Варю.

— Деревня хороша, когда у тебя есть там большое имение и есть кому за ним ухаживать, — рассуждал Церодена. — Мой прадед, князь Джорджадзе, имел три тысячи гектаров и больше тысячи крепостных. Он не тратил время, вроде меня, чтобы колоть орехи. Это делали люди, которые ему прислуживали. Итальянское акционерное общество уплатило ему двести тысяч золотом только за порубку дубовых и каштановых деревьев.

Коринтели услышал, как тетя Варя крикнула Медее, что она скоро вернется, и увидел потом две удаляющиеся от дома фигуры — тети Вари и Церодены.

Дядя Нико и Аradeли хотели, чтобы Коринтели поехал с ними к доктору Канделаки, куда они были при-

глашены. Но он отказался, и те отправились без него.

«Пойду повидаюсь с Сускией», — решил Кориители. Еще на лестнице до него донесся голос жены:

— Майя, принеси воды!

Майи поблизости не было.

«Как сложна и противоречива жизнь! — думал Коринтели. — Отрекаешься от человека, который когда-то был твоим вторым «я». В соседней комнате лежит больная женщина, ради которой еще совсем недавно ты не пожалел бы ничего на свете, а теперь не подаешь и воды. Она — твоя жена, но ты не спешишь на ее зов и все больше и больше тяготишься тем, что живешь под одной с ней крышей...».

Голос Медеи смолк.

Коринтели вышел во двор. Взошла луна и посеребрила горы. Издалека донесся печальный крик журавля. Он приближался, становился все громче и громче. Коринтели вглядывался в небо, стараясь обнаружить птицу. И вот он заметил над верхушками деревьев блеклую тень летящей птицы и уже совсем близко услышал печальный крик. Это был крик осиротевшей души, затерявшейся в небесной выси, крик влюбленного, искавшего друга на земле и в поднебесье...

Журавль скрылся.

Медея снова звала:

— Майя, Майя!

Коринтели поднялся в свою комнату, взял шапку и палку. Бижина пошла было за ним, но Коринтели взял лань на руки, приласкал, уложил в углу и захлопнул за собой дверь.

В поселке мало-помалу стихали голоса людей. Тусклый свет струился из домов на улицу. Вдоль только что проложенной дороги до самого Оленьего озера были разбросаны пирамиды гравия. Вдали гудели тракторы. Разноголосо ревел скот. Тягуче скрипели арбы.

Крестьянин в папахе нес на плечах барашка. За ним следовала женщина в платке, с ребенком. Мальчуган в войлочной шапке гнал буйволов, измазанных в грязи от темени до копыт. Куда-то торопился отряд пионеров.

— Раз, два! Раз, два! — командовал чубатый пионервожатый.

Ритмичный топот ног вторил команде.

Хевсур, одетый в кольчугу и пестрый костюм, вооруженный саблей, тащил на веревке черную свинью. Она упрямилась. Он ругал ее на чем свет стоит, потом отстегнул саблю и ножнами принялся подгонять хрюшку. Коринтели улыбнулся, наблюдая этот поединок рыцаря с упрямой свиньей.

Пронзительно плакала девочка. Через открытые двери недавно построенного дома слышно было, как мать успокаивает ее, сулит подарки, но девочка не унимается.

На балконе одного из домов показалась женщина. Она сняла с перил простыню и вошла в дом.

Коринтели шел и шел.

В окне Сускии горел свет. Коринтели обрадовался. Его угнетало одиночество, и только встреча с Сускией могла исцелить его.

В темном коридоре чья-то тень пересекла ему путь.

— Кого вам, батоно?

Коринтели узнал старика сторожа.

— Доктора Миндели.

— Она просила передать, если кто к ней придет, чтобы подождали. Ее вызвали к больному. Войдите в комнату. Она вот-вот вернется.

Сторож загремел ключами и открыл дверь.

Как не похожа была сейчас эта маленькая комнатка с низеньким потолком, от дверей и окон которой еще пахло краской, на ту, которая запомнилась Коринтели в день приезда Сускии. Она стала уютной, обжитой, в ней царила необычайная чистота. На одной из стен висела репродукция «Мадонны с младенцем». На столе стояла фарфоровая ваза с чуть увядающими цветами.

— Я первый раз вижу такую женщину, как она, — говорил Матэ, стоя у порога. — Всюду поспевает! Весь день кружится как белка в колесе. У нас в Гвелети два доктора, но один уехал в город. Вот все и идут к Миндели. Три дня назад хевсур отравился рыбой. Так она его прямо из лап смерти вырвала. Позавчера один тушинец ранил кинжалом полевода...

— За что?!

— Да лошадь потравила кукурузу. Полевод разозлился и матерно обругал ее хозяина-тушинца. А вы знаете, какие они горячие, — выхватил кинжал и пырнул полевода в живот. Еле живого привезли к нам. Мин-

дели зашила ему живот и спасла. Вот это женщина! Доброе у нее сердце. Приходите, говорит, Матэ, к обеду, одной есть тошно...

Коринтели внимательно слушал. Он радовался тому, что слышал, гордился Сускией, и вместе с тем в нем с какой-то особенной силой вспыхнуло чувство сострадания к ней, чувство своей вины за ее одиночество.

Он взглянул на часы. Стрелка перешла уже за десять. «Ну что ж, подожду», — решил он и стал расспрашивать старика о его жизни.

Как свойственно простодушным людям, сторож рассказывал все обстоятельно, вспоминая малейшие подробности своей биографии. Когда-то он сапожничал в Имеретии, шил чувяки, а после женился на кахетинке, купил домик с участком за Алазани. Два сына погибли в германскую войну, а третий ушел в зятья в Тбилиси, в семью портного. Жену старик похоронил.

— Мое ремесло уже не кормит меня, батоно, — плохо стал видеть. Не могу вдеть нитки в игу, шило в руках трясется...

Старик умолк и пристально посмотрел на Коринтели.

— Говорят, и до нас война дойдет. Если и третьего сына у меня заберут, тогда хоть утопись в Алазани.

Коринтели старался успокоить старика.

Много времени прошло, а Суския не приходила.

Сторож почесал затылок и сказал:

— Должно быть, у полевода поднялась температура, тогда доктор не оставит его и до утра не придет...

Ждать было бессмысленно, Коринтели попрощался со сторожем и побрел в темноте домой.

Уже крепко спали гвелетские новоселы. Никто не встретился на дороге.

Из приалазанских рощ доносился тягучий крик фазанов.

Коринтели прошел мимо крепости Мамуки, мимо церкви. Ночь и запустение глядели из ворот разрушенных бастионов. Где-то ухала сова. Печально смотрел Коринтели на эти руины. От них веяло грустью.

Тихо, на цыпочках, поднялся он в свою комнату. Бижина проснулась и бросилась ему навстречу. Он поднял ее и поцеловал в нос, словно выточенный из черного янтаря. Лань была для него в эту минуту самым близким живым существом.

28. СОЛОВЬИНЫЙ ОРКЕСТР

После стычки с Цероденой произошло еще одно событие, которое способствовало тому, что гордиев узел семейных отношений был разрублен.

Коринтели только два раза побывал у Сускии, но и этого было достаточно, чтобы в селе неведомо каким образом распространился слушок об их встречах. Слушок этот донесся, конечно, и до ушей тети Вари.

Однажды вечером Цихистави зашел к Коринтели, и они вместе уехали в Кварели на совещание. Предполагалось, что совещание продлится два дня. Коринтели уже из машины крикнул Майе:

— Завтра не ждите меня!

Но случилось так, что Цихистави был срочно вызван в Тбилиси, совещание отложили и Коринтели той же ночью вернулся в Гвелети. В саду его радостно облобызал Ахилл. Здесь же, на раскладушке, крепко спала Майя. Он дернул дверь. Она оказалась запертой.

Коринтели осторожно постучал. Никто не отозвался. Он не хотел будить Майю и обошел дом в надежде, что в него можно будет забраться через заднюю дверь или в открытое окно. Но открытой осталась только одна форточка. Он залез на подоконник, просунул руку в форточку и открыл задвижку рамы. Через окно он тихонько проник в дом. Ни Медея, ни тетя Варя не знали, разумеется, о его возвращении.

Он улегся было в постель, но сон не приходил. Сквозь открытую дверь спальни к нему донесся скрипучий голос тети Вари. Она и Медея тоже не спали.

— Твой-то профессор поддался искушению! Я ведь давно предупреждала тебя, моя дорогая, что он неравнодушен к этой самой врачихе, дочери пекаря Луки. Он не спускал с нее глаз еще тогда, в Телави, у Нико. Они стоят друг друга: каналья увлекся канальей. А ты — доверчивая овца и не понимаешь, что если мужчину не удержать, как рыбу за жабры, он обязательно выскользнет из рук... Так оно и случилось. Знаешь ли ты, что после ужина, который был у нас, он отправился ее провожать. Я целый час ждала и уснула, так и не дождавшись. Почему Вахтанг упорно отказывается от заграничной командировки? Из-за нее. Почему он держится за Бермуху? Тоже из-за нее...

— Нет, тетушка, ты не во всем права, — робко возражала Медея. — Вахтангу надоела заграница, поэтому он отказался от командировки и живет в этом медвежьем углу.

— Ха-ха-ха! — засмеялась тетя Варя. — Внуку псаломщика надоела заграница, он соскучился по запаху бермухского навоза! Господи, что это за уродливый снобизм. И до чего смешны эти новоявленные Чайльд-Гарольды! На каждом перекрестке они поносят европейскую цивилизацию, а сами гонятся за всем заграничным, не вылезают из английских костюмов, пишут американскими авторучками.

Медея перебила ее:

— По правде говоря, я не верю, тетушка, всему тому, о чем вы говорили.

— В этом-то и твоя беда, моя милая, — ответила тетя Варя. — У красивых женщин, как и у кичливых писателей, одна и та же болезнь: каждый из вас думает, что никто из поклонников ему не изменит. Вы не верите в силу соперника. Поэтому-то вас легко и обманывают.

— Я никогда, тетушка, не обольщалась своей красотой, тем более, когда уже пробивается седина, — сказала Медея. — Но если между Вахтангом и этой женщиной и есть что-то, мне, признаться, все равно. Я знаю, что он меня уже не любит. Да и мне он... противен.

Во дворе послышался лай собаки. Тетя Варя настороживалась:

— Молчи! Не он ли вернулся?

Диалог, случайно услышанный Коринтели, заставил его вести себя осторожнее, не встречаться больше с Сускией в Гвелети. Раз в неделю, в субботу, после рабочего дня они приходили к Оленьему озеру. Здесь их ждала машина. Они отдалялись на несколько километров от Гвелетских развалин и скрывались в безлюдном ущелье. Домой возвращались поздно ночью.

Как-то раз Коринтели решил повезти Сускию в Нагваревское ущелье, чтобы послушать, как он выразился, «соловьиный оркестр». Но они не проехали и пяти километров, как закапризничал мотор.

И должно же было именно в этот день и час случиться так. У Медеи начался сердечный приступ. Немедленно понадобилась камфара. Ее нигде не нашли. Тогда те-

тя Варя села в кабину грузовика и поехала за лекарством в Кварели. Тут-то, на дороге, она и увидела Вахтанга и Сускию вместе. Андро стоял у поднятого капота машины, а они сидели, прижавшись друг к другу...

Промчавшуюся мимо тетю Варю они не заметили.

Машину починили, и они тронулись дальше. Коринтели любовался мелькавшими квадратами густых виноградников, раскинувшихся по склонам холмов, мощными буйволами, которые нежились в лужах, отарами овец, пасущихся на пригорках.

Мальчик играл на свирели, примостившись на скале.

О чем-то громко спорили двое крестьян, остановившихся у обочины дороги.

Потом машина въехала в сказочную тишину.

Мглистое ущелье, серые скалы, изуродованные оползнями и обвалами, лужайки, осыпанные яркими цветами, развалины древних крепостей на краю утесов, головокружительные бездны, реющие над ними орлы, живописные буки и сосны — восхищало это безграничное величие природы. Дорога суживалась. Приходилось объезжать огромные валуны, судя по всему, здесь совсем недавно взрывали динамитом скалы. На скрытом повороте вдруг возник грейдер. Он не двигался. Усталый водитель спал за рулем. Андро ловко сманеврировал, и они благополучно миновали опасное место. Но не прошло и минуты, как машину занесло, она стремительно ринулась к пропасти. Андро резко повернул руль, и она очутилась в придорожных кустах можжевельника. Пришлось прибегнуть к помощи пастухов, которые пришли на их зов с другой стороны ущелья.

— Не возвратиться ли нам, Вахтанг? — испуганно спросила Суския.

— Нет! — ответил Коринтели. — Нехорошо возвращаться с полдороги. Ты, может быть, боишься?

— Я и смерти не боюсь, Вахтанг! — ответила она и про себя добавила: «Тем более с тобой».

— Стоп! — крикнул в это время Андро. — Дальше нет пути!

Перед ними возник разрушенный деревянный мостик, переброшенный через бойкий ручей.

— Вода по щиколотку, — весело сказал Коринтели.

Андро с машиной остался у мостика, а они, перебравшись через ручей, продолжали свой путь.

— Как хорошо, когда возвращаешь потерянное! В юности я чуть не умерла из-за тебя, — произнесла Суския, глядя в лучистые глаза Коринтели.

— Неужто и в самом деле ты могла умереть? — встревожился Коринтели.

Но женщина не ответила, а он не повторил вопроса.

Их внимание привлек коршун. Он взмыл у дороги, метнулся в кустарник и схватил куропатку.

— До чего бессердечна природа, — сказал Коринтели. — Куропатка еще жива, но она так обезумела от страха, что не смеет даже пикнуть.

Они свернули на тропинку. Перед ними открылось Нагваревское ущелье. Оно встретило их соловьиными трелями. Едва один певец замолкал, отзывался второй. В певческий турнир вступали все новые птицы. Переливаясь, звучал соловьиный оркестр. Как зачарованные внимали ему Суския и Вахтанг.

Из-за гор тем временем выплыла луна, осветив ущелье призрачным тусклым светом. Высокий небосвод украсился звездами. Он как бы опирался на вознесенные ввысь горные вершины, обступившие ущелье. Приветливо журчала речка. Вдали был виден величественный и безмолвный черный силуэт крепости.

Гранитные кубы громоздились друг на друга. Их падение задерживала огромная, похожая на трапецию, замшелая глыба, которая, подобно ложу дэвов, вздымалась над долиной. Они поднялись туда. У разрушенной крепостной стены лежал заросший мхом валун. Поросшее густым лесом ущелье напоминало море. Вдали, на самом горизонте, толпились горные вершины, одетые в белые саваны, а все пространство у их подножий казалось морской гладью.

— Давай-ка здесь отдохнем, — предложил Коринтели.

Суския лежала на мшистом валуне, с лицом, обращенным к небу, ее вьющиеся волосы разметались, темно-синие грустные глаза устремились в одну точку.

— О какой это возможности смерти ты вспомнила недавно? — спросил ее Коринтели. — Скажи, дорогая.

— О той, которая давно миновала, — ответила Суския, гладя его голову. — Это было в тот год, когда ты из Телави уехал в Париж. Я ведь так любила тебя... А ты

будто и не помнишь?.. И я отравилась. Если бы не дядя Нико, меня не было бы в живых. Это он спас меня.

Коринтели теснее прижался к ней, целовал ее волосы, плечи, руки.

— Мужчины бывают бессердечны, — говорила Суския, смотря в небо. — И иногда даже бахвалятся своим бессердечием, как истинно мужской доблестью, оскорбительно отзываются о тех, которым сами клялись в любви и которые поверили им. Потому-то многие из женщин и предпочитают оставаться одинокими. Ведь лучше быть одинокой, чем обманутой! И скажу тебе искренне, я не хотела ехать в Гвелети... Не то чтобы не хотела, — это неправда. Я, конечно, хотела. Но я боялась тебя, решила не встречаться с тобой. Сколько было уже пережито! Для новых мучений у меня не хватит сил.

— Ты не знаешь, как я одинок и несчастен! — прервал ее Коринтели. — Да, мужчины действительно бывают бессердечны. Ты права. Но они же за это и расплачиваются. Вот и я получил возмездие...

Мужская гордость не позволяла ему жаловаться на свою семейную жизнь, и он сдержался. Но Суския поняла, о чем он хотел сказать, не стала допытываться.

— Зато ты находишь утешение в научных трудах, — сказала она сочувственно.

— Эх, моя Суския, — ответил Коринтели. — Ты слыхала, вероятно, о мифическом фригийском царе Тантале, которого покарали боги. Он стоял по горло в воде и был мучим неутолимой жаждой. Такие же танталовы муки испытывает и ученый. Чтобы хоть чего-то достигнуть в науке, нужно посвятить ей всю свою жизнь, да и жизни одной не хватает. Не успеешь оглянуться, — а у дверей старость. А человеку хочется так много сделать, и он чувствует, что не успевает... Мне пришлось долго мотаться по чужим странам, зря тратить время... И я в конце концов не знал настоящего семейного счастья... Я, как и ты, всегда любил детей, но остался, как видишь, бездетным...

— Если бы ты в тот год не уехал в Париж, мы были бы счастливы... Не правда ли, Вахтанг? — спросила Суския.

Коринтели не хотел бередить рану. Он улыбнулся и слукавил:

— Истинная любовь проверяется только тогда, когда люди разлучаются на время...

Суския не возразила. Она знала, что Коринтели сказал не то, что думал. Она любит и любима. Она обрела свое долгожданное счастье, и теперь его нужно сберечь.

Об этом подумал и он, прислушавшись к тому, как виртуозно и сладострастно заливались соловьи.

Коринтели гладил пышные волосы Сускии, которые даже при бледном лунном сиянии хранили отблеск того пламени, которым обыкновенно горят стебли лозы. Неземной красотой сияла она. Опершись на локоть, смотрел на нее Коринтели.

Гранитная глыба, словно нос корабля, врезалась в лежащее внизу ущелье, и Коринтели чудилось, будто в эту лунную ночь он и Суския плывут на корабле по безбрежному океану.

29. НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ

Гвелетское плато преображалось. Две тысячи гектаров ранее бесплодной земли осваивались под виноградники. Вместе с агрономами, почвоведами, механизаторами прибыли машины. Годердзи подымался чуть свет и возвращался домой к полуночи.

Мог ли председатель колхоза в такую горячую пору заняться своими личными делами?!

Но именно в это, неподходящее, казалось бы, время Тедо принялся пристраивать комнату к дедовскому дому Годердзи. Даже не комнату — нужно было строить новый дом. Плотники обнаружили, что в доме деда Микелы прогнили стропила и балки, он вот-вот мог рухнуть.

Годердзи упрашивал Тедо повременить. Однако тот настоял на своем.

— Я не люблю откладывать задуманное, справимся и без тебя.

Тедо встретился с Цихистави, и тот поддержал его.

— Давно пора помочь этому парню, — сказал он. — Мы постараемся выделить ему лес по фондовым ценам.

Дедушку Микелу и душевнобольную тетку временно приютили соседи. Годердзи же с сестренкой устроились в доме правления колхоза.

Нелегко было уговорить Тебронию оставить старый

дом. Она заупрямилась, разбушевалась, выплеснула на рабочих кувшин воды.

— Дедов дом разорили, а теперь и меня выгоняют! — истошно вопила она.

Соседка Даро пыталась ее унять, ничего страшного, вместо старого дома построят новый, нужно женить Годердзи. Тогда Теброния стала кричать, что жена Годердзи выгонит ее из дому.

Даро прибегла к хитрости.

— Сегодня церковный праздник, — сказала она. — Надо бы принести жертву святому Георгию.

Теброния вскочила и стала одеваться. Потом она снова заупрямилась. Привели козленка. Теброния схватила козленка, и тогда Даро повела ее вместе с козленком не к Георгию-Квакаца, а к себе.

Тедо организовал воскресник. Нуну вместе с соседками готовила людям пищу. Неожиданно приехал Коринтели. Годердзи был дома. Он вогнал топор в бревно и вышел во двор встречать гостя.

— Мир дому сему! — приветствовал его Коринтели. — Я всегда любил наблюдать работу плотников и каменщиков, их труд радует всякого. А тут, я вижу, строится новый дом.

Он тепло поздоровался с собравшимися.

— Я хотел пристроить только одну комнату, — почтительно сказал Годердзи.

— Одну комнату? Надо не меньше трех.

— По одежке протягивай ножки, — улыбнулся Годердзи.

— Одежду можно с помощью товарищей улучшить. — ответил шутя Коринтели. — Никто из них тебе в этом не откажет. — Он указал на обступивших их людей.

— Я тоже так думаю, — вмешался Тедо. — Дом-то старый, скоро развалится. Не одному Годердзи с женой в нем жить. Каждому нужен угол. Вот только много материала потребуется.

— Доски и бревна могу дать, — сказал Коринтели. — Мне поставили финский домик, а до этого я получил столько леса, что его как раз и хватит тебе. Он мне не нужен. Не буду же я продавать его.

Годердзи было неловко.

— Лес может вам еще пригодиться. Может быть, сделаете пристройку.

— Нет, Годердзи. Я, вероятно, скоро переселюсь в Телави или Тбилиси и оставлю свой дом. Его можно будет использовать для колхозной библиотеки.

— Только не это! — всполошился Тедо. — Мы вас не отпустим. А лес достанем через Цихистави, он обещал.

— Я поселился здесь временно, мой Тедо, — взял его под руку Коринтели. — Засадим гвелетскую землю лозой, и тогда мне можно будет уехать.

Коринтели внимательно осмотрел стояк, подпирающий крышу дома.

— Весьма любопытно! — произнес он, трогая его. — Дуб?

— Да, дуб, — подтвердил Тедо.

— Дедушка запретил мне его трогать, — заметил Годердзи. — Пока я жив, говорит, пусть стоит.

— И правильно сделал, — отозвался Коринтели. — Это крепкая опора.

— Старики считают, что нашему дому лет двести, а дедушка Микела доказывает, что больше. Вот и разберись, — махнул рукой Годердзи. — Одно ясно: когда Ираклий воевал с врагами Кварельской крепости, он, оказывается, ночевал в этом доме.

За огромным деревянным блюдом сидели пятнадцать плотников. Они только что закончили еду. Тедо показал Коринтели на блюдо:

— Это ореховое блюдо перешло уже к третьему поколению.

Коринтели попросил рулетку.

— Один метр и два сантиметра.

— Когда-то из него ела вся семья,—улыбнулся Тедо.

Коринтели действительно прислал несколько грузовых машин отличного леса. Больше того: он набросал план нового дома. К большой центральной комнате, в которой оставался нетронутым дубовый столб, пристраивалось еще три комнаты.

Тедо развил бешеную энергию.

И вот приближается день, когда можно будет сказать: «Конец — делу венец». Оставалось достать черепицу, чтобы полностью покрыть крышу. Пока что покрыли

только центральную комнату, где и собирались все жильцы.

Дедушка Микела торопил Годердзи поехать в Кварели, а тот никак не мог выбраться и откладывал поездку со дня на день.

Вмешался Тедо.

— Если тебе неудобно, — сказал он Годердзи, — то я сам поговорю с Цихистави и попрошу, чтобы он отпустил тебя дня на два. Надо же кончать с домом. И я поеду с тобой за черепицей.

— Сейчас не время, — возражал ему Годердзи. — Весь народ в поле. Ты сам рассуди, дядя Тедо, на что будет похоже, если я сейчас брошу работу и поеду в Кварели, займусь своими личными делами. Подожди немного. Вот закончим основные работы в Гвелети, и тогда я со спокойной совестью отправлюсь в Кварели. На мое счастье, погода стоит отличная. А если и начнутся дожди, то большой беды не будет: они промоют запыленные доски, и только. — Их разговор прервал Ниортава. Он принес ящик гвоздей.

— Эти гвозди лежат у меня давно, — сказал мельник. — На них зарился Канкрэ, хотел даже купить. Но я не продал ему. А тебе — отдаю даром. Бери, они мне не нужны.

— Ох, мой Соломон, — вздохнул Микела. — Без гвоздей крепче строили. В моем старом доме не было ни одного гвоздя.

Ниортава продолжал:

— У тебя, как я слышал, Годердзи, нет денег на черепицу. А у меня припрятана тысяча рублей на черный день. Возьми их. Вернешь, когда будут.

— Спасибо, дядя Соломон! — поблагодарил Годердзи. — Но я не могу сейчас заняться черепицей. Сам видишь, как много дела в колхозе.

Ниортава почесал затылок.

— Хоть у меня и короткий ум, Годердзи, и хоть я себе не то что дома, а и хлева никогда не выстроил, но я давно заметил одно: легко остановиться, прервать постройку дома, но трудно будет потом достроить. Ты часто ездил и видел, наверное: стоит между Кварели и Телави у дороги дом без крыши. Давно его начал строить хозяин. Да не будь это про тебя сказано, — хотел человек жену привести в новый дом, а девушка умерла.

«На кой черт теперь мне этот дом!» — решил он и забросил его. Потом он снова задумал жениться и снова взялся достраивать дом. Но его призвали в армию. А когда он вернулся из армии, то оказалось, что его невеста вышла за другого. Опять не до дома было ему. И вот стоит теперь этот дом без крыши и зимой и летом, как нищий, снявший шапку... Ветер и дождь разрушают его.

Пришли Абриа и соседка Даро. Абриа подсел к дедушке Микеле и молча дымил чубуком. Микела уставился слепыми глазами в ту сторону, откуда слышался голос Ниортавы, и сказал:

— Твоими бы устами да мед пить, мой Соломон. Ты прав, — нет зрелища хуже, чем недостроенный дом. Есть даже такое проклятие: «Пусть дом твой останется без крыши». Позор тому хозяину, который не умеет довести до конца начатого дела. Об этом и кричит недостроенный дом. Я говорил уже моему внуку. Зачем нам радовать наших недругов? Нет денег? Взял бы и продал нашу корову или взял бы у кого взаймы. И мне люди одолжили бы...

Годердзи тронули слова Микелы:

— Не о деньгах речь, дедушка. Я коммунист и председатель колхоза. Не могу я личное ставить выше общественного.

Ниортава пожал плечами.

— Не пойму я этого! Разве партия требует, чтобы дождь лил тебе на голову? Скольких я знаю коммунистов и председателей — у каждого свой дом и двор.

— Некоторые председатели и карманы набивают народным добром, — съехидничал Абриа и пыхнул своим чубуком.

— Есть и такие, — в тон ему сказал Годердзи, — да только рано или поздно они знакомятся с прокуратурой.

Как только Абриа услышал слово «прокуратура», он поперхнулся дымом, закашлялся и сплюнул на земляной пол.

— Потерпим еще немного, дедушка, — мягко произнес Годердзи. — Все будет сделано.

— Потерпеть! — засмеялся Абриа. — Да у меня и Микелы столько терпения, сколько рыбы в Алазани. Мы выносливее и терпеливее любого буйвола. Но в твои годы, Годердзи, я уже обзавелся семьей и построил себе дом из трех комнат. Бедный мой отец ничего не оставил

мне в наследство, кроме ветхой лачужки. А я содержал и мать и братьев. У меня в ту пору была тысяча овец, семь буйволов и столько же коней. Ты грамоту разумеешь, а собственного дома не можешь выстроить. Не стыдно? Сопливая девчонка, моя племянница Нуну, куда проворнее тебя, она свой старый дом быстро отремонтировала.

Соседка Даро заулыбалась, ей приятно было, что Абриа, который всегда поносил женщин, вдруг похвалил Нуну. Годердзи эта похвала привела в ярость, но Абриа был сейчас его гостем, пусть и непрошеным, и он не мог дать волю своему чувству.

Ниортава, обеспокоенный тем, что разговор начинает принимать острый характер, попрощался с хозяевами и ушел. Абриа же, окрыленный сдержанностью Годердзи, продолжал наступление.

— Таким, как вы, голодранцам, ничего не нужно: ни дома, ни жены, ни детей. Вы всегда хотели быть как можно ближе к пролетариям, вот и сами стали пролетариями, — подчеркнуто брезгливо произнес Абриа. — До того треплете языками на разных собраниях, что и от вас самих только голые языки и остаются. Намечаете тысячи планов, а когда их выполните? Так и останутся невыполненными, как и твой дом. Еще не получили урожай с бермухских виноградников, а уже взялись за Гвелетское плато. Не пошли господь быть мне старостой в новом селе! Дождетесь вы гнева и проклятия Квакаца! Как бы не повторилась с вами история Мамуки-эристава.

Абриа-злоязычного словно прорвало.

— Этот ваш профессор — пустышка, — брюзжал он. — Нашел себе занятие — кутить с Ниортавой на мельнице. А вчера я видел его на дороге, идет, как ненормальный, разговаривает с собакой.

Потом Абриа вспомнил и о своей недавней поездке в Тбилиси:

— Вызвали меня, благодаря вашим молитвам, к прокурору.

Годердзи не сдержал улыбки.

— Целый день бродил я по Тбилиси. Мост начали строить и не окончили, возвели стены домов, а крыш не видать, вывернули булыжник из мостовых и не починили, снесли дом, чтобы разбить сквер, а его и не видно. Таковы вы во всем, мастера незаконченных дел.

— А не знаете ли вы, дядя Абриа, кого зовут пустомелей? — не выдержал Годердзи.

— Что ты сказал, пареиь?

— То, что слышали. Пустомелей иазывают человека, который мелет пустое, говорит то, чего не знает. Скажите-ка, сколько раз вы были в Тбилиси?

Абриа обиделся.

— Сколько? Один раз. Что мне там делать! В старое время я ездил в город продавать овец. А теперь что я там потерял? Если бы ие вызвал этот прокурор, я бы и сейчас туда ие поехал.

— Это мне и важно было узнать, — заметил Годердзи. — Вы один раз заглянули в город и увидели там иезаконченные постройки: мост, дома. Сквер еще не разбили, мостовую ие починили. А вы вернитесь туда через годик и увидите, что все уже закончено. Я чаще вас езжу в город и знаю, как там начинают и кончают строить и дома, и мосты...

Абриа не мог возразить, ио и не сложил оружия.

— Завтра, завтра — ие сегодня... Поживем — увидим, сынок, как вот ты закончишь свой дом! Начинаются июньские дожди. А ты знаешь, что это значит для дома без крыши? Не пройдет и месяца, как балки и стропила покорежатся... Вот он, легок на помине, — указал Абриа на двор, где по земле уже забегали темные дождевые капли. Дробный стук дождя ворвался в недостроенный дом Годердзи. И ему почудилось, будто бы на его голову опрокинули ушат воды.

Сидевшая до сих пор молча Теброния всполошилась.

— Погиб наш дом! — завопила она.

Годердзи расстроился. Он долго искал свою шапку и, не найдя ее, вышел из дому с непокрытой головой.

Он был до того удручен, что ие замечал встречных. Сырость пронизывала его до костей.

На перекрестке чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо.

— А я шел к тебе, — сказал Лалбаца. — Сегодня зарегистрировал в загсе своего новорожденного. Знаешь, какой мальчуган у меня, Годердзи? Мировой парнишка! Приходи к нам на ужин.

Лалбаца сиял от радости.

— Спасибо, Степанэ, но у меня неотложное дело.

— А я, зная твое благородное сердце, Годердзи, был

уверен, что ты придешь, — сказал Лалбаца. — Я ведь многим тебе обязан и хочу тебя видеть сегодня у себя. Я когда-то думал, что на этом свете нет ничего слаще вина и женщин. Но какое вино и какая женщина могут сравниться с моим маленьким Ираклием?! И тебе советую скорее обзавестись семьей. Я помогу тебе достроить дом — вот провалиться мне на этом месте! Только пойдем ко мне, прошу тебя.

Годердзи сердечно поблагодарил Лалбацу, но не пошел к нему. Он был расстроен и боялся, что своим плохим настроением может испортить людям праздник. Единственное, чего он хотел сейчас — встретить Нуну.

Зайти бы к ней домой.. Да неудобно, поздновато. И эта Кетуа, будь она проклята, все пристает к девушке: «Дом достроили, так выходи замуж». И этот Ушверидзе...

Прошлой ночью ему снилось, будто она сидела с ним у камина, в их новом доме, и жарила каштаны. Брошенные в тлеющие угли, присыпанные золой, они взрывались, как бомбы. Она испуганно прижималась к нему, и ему было так хорошо... Он думал сейчас только о ней.

А в жизни бывает иногда именно так: о чем думаешь, чего сильно желаешь, то и случается. Приснится тебе желанный человек, глядишь — и встретился с ним.

Вот и он — встретился сейчас с Нуну. Она была бледна, молчалива. Не то капли дождя, не то слезы ползли по ее лицу. Что случилось?

Они проходили мимо дома Лалбацы. Оттуда слышалась песня. В зелени виноградных лоз, обвивших балкон, мелькнул силуэт Тетро с ребенком на руках.

Даже этот горемыка Лалбаца, который всю свою жизнь провел в лачуге, крытой соломой, и тот дождался своего счастья — построил дом, обзавелся семьей, думала Нуну, а она и Годердзи все еще не имеют своего угла. Их счастье зависит от тысячи черепиц, которые нужно привезти из Кварели.

Ее мысли передались Годердзи.

— И кто это нас проклял? — сказал он с болью. — Этот дождь может зарядить недельки на две.

Он вспомнил о своей встрече с Лалбацей.

— Лалбаца приглашал меня только что к себе.

— Почему же ты не пошел? — спросила Нуну.

— Я искал тебя, — ответил Годердзи и крепко взял ее под руку.

— Ты пойди, если хочешь, а я отправлюсь домой.

— Пойдем к Лалбаце вместе.

— Нет, Годердзи, я сейчас никого не хочу видеть, кроме тебя.

— А может быть, заглянем к дяде Шио?

— Где нам по этой грязи пройти за Алазань. Да мне и не хочется показываться на глаза дяде Шио.

Из-за серых туч прорвались лучи заходящего солнца. Подул ветерок. Дождь постепенно прекратился.

Сквозь голубовато-серые тучи прорывались бледные лучи заходящего солнца. А за тучами по небосводу медленно разливалось янтарное сияние, казалось, вняв голосам влюбленных, улыбаются небеса...

Налетел легкий ветерок. Зашелестела листва придорожных шелковиц.

Нуну и Годердзи вошли в кизиловую рощу. Белыми барашками разбежались по небу тучи, и высоко за далекой дымкой зацвели звезды.

Одиноко стоял запахнутый в бурку ночи старый дуб. С ветви на ветвь суетливо перелетали дикие голуби. Только и слышалось: фрт... фрт...

— Когда же ты наконец поедешь за черепицей? — умоляюще спросила Нуну.

— Послезавтра понедельник, не так ли? Послезавтра я и поеду, — пытался успокоить ее Годердзи. — Правда, до кирпичного завода еще не провели шоссе. И если опять пойдет дождь, то никакая машина туда не пройдет...

— Небо очистилось. Дождя, вероятно, больше не будет... Ты пойми, я не могу больше так жить, — почти плача, говорила Нуну. — К нам в дом зачастил какой-то Ушверидзе — пьяница и пройдоха. Он сватается к Кетуа, хотя у него уже есть две жены: одна в Тбилиси, другая в Телави. Вчера он явился пьяный и пристал к Кетуа: «Давай распишемся, продадим все и уедем в город». А тут нагрянула его телавская жена и набросилась на Кетуа: «Если не оставишь моего мужа, то я подожгу ваш дом...» Вот так и живу, словно в аду.

— Недолго осталось ждать, моя дорогая, — обнял ее Годердзи.

Он поцеловал ее и ощутил на своих губах соленый привкус слез.

30. ВОЙНА

22 июня село Бермуха, как и вся наша страна, было встревожено сообщением по радио о начале войны. Колхозники бросили свои дела и устремились на площадь перед сельсоветом. Из разинутой пасти репродуктора, висевшего на дереве, неслись суровые слова...

Коринтели писал до рассвета. Спал он беспокойно и недолго, его разбудило радио. Мимо дома бежали люди. Он прислушался. С улицы, как гром, донеслось: война!

Он включил радиоприемник. Да, Москва передавала о вероломном нападении гитлеровских полчищ. Многие наши города и села были уже в огне. Над родиной нависла смертельная опасность.

Потрясенный этой страшной вестью, он стал быстро одеваться. У дверей торчала тетя Варя.

Майя, как обычно, спросила:

— Будете завтракать?

— Не до завтрака, — ответил Коринтели.

Старуха недоуменно пожала плечами. Ей никогда не приходилось видеть хозяина таким расстроенным.

Коринтели лихорадочно вертел ручку радиоприемника. Он переходил от станции к станции — всюду гремело: война!

Тетя Варя носилась по коридору как угорелая. Посуда звенела в ее руках. Трудно было сразу определить, то ли человек чем-то обрадован, то ли взбешен.

— Что случилось, княгиня? — боязливо спросила ее Майя.

— Война! Война! Война! — выкрикнула в экстазе тетя Варя.

— Кто с кем воюет? — не понимала старуха.

— Германия. Германия, моя Майя.

— Одна?

— Как это — одна. С ней Италия, Румыния, с ней весь мир.

— Чего они хотят от нас, проклятые? Ох, несчастные мои дети! — запричитала Майя.

— А что станется с твоими детьми? Может, им лучше будет.

— Как — лучше? От войны всегда одно горе. И кому только она нужна?

— Нас с тобой не спросили, весь мир хочет войны! — огрызнулась тетя Варя.

— И где же эта проклятая Германия?

— Рядом с Россией, близко, совсем близко. Иди молоко поставь, а то Медико опять кашляет. А потом я тебе все расскажу.

Майя удалилась, причитая:

— Ох, несчастные мои дети!

Коринтели вышел в столовую.

Тетя Варя с подъемом играла скерцо Шопена. Майя сидела возле нее на маленьком стульчике. Согнувшись и уткнув лицо в ладони, она плакала.

— Ох, несчастные мои дети, — повторяла она.

Увидев Коринтели, тетя Варя прекратила игру.

— Вас ждет омлет с ветчиной, — сказала она с показным равнодушием.

— Извольте, мадам, его сами кушать, — ответил Коринтели и хлопнул дверью.

Во дворе Коринтели встретил Андро, который успел уже где-то выпить. Он колотил себя в грудь и говорил:

— Умереть мне на этом месте, если Андро окажется трусом. Страх никого не избавляет от смерти. Наши парни поклялись быть героями. Я не коммунист, но я грузин, советский человек. Мы перегрызем горло фашистским злодеям. Не жить им на нашей земле.

Он зло выругался и с чувством продекламировал:

Наш народ вечно весел,
Борец против злой судьбы.

— Молодчина! — сказал Коринтели. — Ты, оказывается, знаешь Григола Орбелиани[1].

— Как же не знать. Он был не только большим поэтом, но и храбрым воином.

— Правильно, Андро! И ты смотри не ударь лицом в грязь. Пусть гордятся тобой твои родители, твой народ.

— Но ведь я только шофер, профессор.

— Шофер?! — повторил Коринтели. — А чем шофер

[1] Григол Орбелиани — грузинский поэт-романтик (1800—1883).

хуже поэта? Родине нужны все ее верные сыновья. О, если бы мне мои молодые годы, сегодня же отправился бы на фронт.

— Я уезжаю завтра в ночь, — сказал Андро. — Не поминайте лихом, если не вернусь. Я, конечно, иногда выпивал не вовремя. Так это потому, что невеста умерла у меня... Как вы обойдетесь без меня с машиной?

— Я не забуду тебя, Андро, — сердечно произнес Коринтели.

— А обо мне и машине не беспокойся. Я ведь без машины появился на свет божий. О ней ли сейчас думать?

Они обнялись на прощанье.

— Помни, Андро, — напутствовал его Коринтели, — жизнь нашего народа тесно связана с жизнью русского народа. Вот уже почти двести лет, как мы вместе. Наша братская дружба скреплена трудом и кровью. В этой дружбе — наша могучая сила. Береги ее. Пока она жива — ничто нам не страшно, никто нас не одолеет.

Андро резко затормозил машину у медпункта.

Суския только что вернулась с ночного дежурства. Она ничего не знала. Коринтели сообщил ей тяжелую весть.

— Значит, недаром, Вахтанг, я видела дурные сны, — сказала она. — Вчера ночью мне снилось, будто мы идем босиком по гвелетским болотам. К ногам присосались пиявки, нас окружали змеи... Хотя что за глупости — ведь это был только сон! Ты сделал меня счастливой, и я тревожилась о том, чтобы не потерять это счастье. Как бы ни сложилась теперь наша жизнь, знай, что ты всегда будешь со мной. И это сделает меня еще более выносливой, поможет мне выстоять в трудный час.

К горлу Коринтели подступил комок.

— Я знал, что ты мужественная женщина, — сказал он, беря ее за руки и глядя в ее большие задумчивые глаза. — У китайцев есть поговорка: «Только путем борьбы можно выбраться из беды». Как это похоже на нашего Руставели: «Стойким будь в борьбе суровой, не страшися испытаний». Я верю в то, что мы выдержим суровые испытания и выберемся из беды... Ты будешь вечно со мной, моя дорогая, любимая.

И он поцеловал ее в глаза.

Ниортава не раз уже замечал, что инженер Церодена, Абриа и Канкрэ собираются вместе, пьют, о чем-то тайком шепчутся. То они проводили вечера в Гвелети, в конторе ГЭС, то ночью заявлялись к нему на мельницу.

И в эту ночь пришли Церодена и Канкрэ. Они принесли вина, сыру. Ниортава был не в духе, у него побаливал живот. Все же они усадили гостя за стол и уговаривали выпить, но мельник не притронулся к вину. Он оставил их одних и отправился спать.

На рассвете его разбудил пьяный Канкрэ; он тащил его за ногу, тряс, что-то орал.

— Что случилось? — спросонья спросил Ниортава.

— Ничего особенного, мир во всем мире и в человецех благоволение, — кривлялся Канкрэ. — Куда годится вино без закуски? Где-то у тебя висела вяленая индюшка. Без твоей помощи нам ее не найти.

Ниортава поднялся с постели, натянул на себя свой изодранный кожух. В это время кто-то энергично постучал каблуком в дверь.

Пришел Абриа. В одной руке он держал бурдючок с вином, в другой — полбарашка.

— Всех благ тебе, дедушка Абриа! — обрадованно захохотал Канкрэ.

Абриа сел на колоду, вздохнул, как простуженный буйвол, и сказал:

— Я не собирался к вам сегодня. Но свершилось такое, что не вытерпел.

Церодена и Канкрэ в один голос воскликнули:

— Что? Говори скорей!

Абриа не торопился. Лицо его светилось радостью.

— Сначала, сыночки, магарыч поставьте.

Теперь заинтересовался и Ниортава:

— Что случилось, Абриа?

— Что случилось? — торжественно произнес Абриа. — Пришел наконец-то судный день для них. Война началась, вот что случилось. Война, понимаете?

— Ого! — захлопал в ладоши едва ворочающий языком Церодена. — Ликуйте! Я-то давно вам говорил, что Гитлер всех поколотит. Вот оно и сбывается.

Ниортава не сразу понял, что творится.

— Вы так радуетесь, будто дождались манны небесной. Война. Что же тут хорошего?

Он подбросил дров в тлеющий очаг.

— Эх, что ты наделал, — буркнул Абриа. — Разве для шашлыка нужно пламя?

— А я и позабыл о ваших шашлыках, — оправдывался Ниортава.

— О чем же ты беспокоишься? — не унимался Канкрэ. — Чтобы немцы не потопили твои пароходы в Черном море или не разбомбили магазины в Тбилиси?

— Белый свет рушился, а шакал свадьбу справлял, — огрызнулся Ниортава, высыпал для помола зерно из мешка и вышел.

Церодена продолжал исполнять роль тамады.

— Пейте, веселитесь, братья! Христос воскрес! Не грусти, дедушка Абриа. Скоро ты будешь пасти на моих дедовских пастбищах десятитысячное стадо.

— Где же это я буду его пасти? — сокрушался Абриа. — На своей сгорбленной спине, что ли? Ведь они всюду натыкали эту проклятую лозу.

— Лозу отлично рубят, — острил Церодена. — Был бы только клинок остер. Не так ли, Канкрэ? — Он подмигнул Канкрэ. — Потерпи немного. Скоро мы тут такой праздник закатим.

— Какой? — спросил Абриа.

Но Церодена не раскрыл карт. Он только сказал:

— Я привез из Тбилиси проклятие корикоза. Ты подымешься к воротам церкви и огласишь его. Вот тогда-то и начнется праздник... Камни запляшут!

Абриа хотел спросить, когда именно предполагается «праздник», но тут вернулся Ниортава.

Когда чаша обошла круг, Церодена наполнил ее снова и, смеясь, обратился к Канкрэ:

— Ты, конечно, завтра же пойдешь бить фашистов?

— Фашистов? — гримасничал Канкрэ. — Я всю жизнь воюю только с вином и с бабами. Сегодня мне предстоит сражение с одной красавицей. Кто кого: или я ее, или она меня.

И Канкрэ заржал от предвкушаемого удовольствия.

— Храбрый ты воин, — иронически вставил Ниортава. — Но нам известно, как тебе однажды морду набили. И у тебя случаются поражения.

Канкрэ понял, на что намекнул мельник, и разозлился.

— Ты бы лучше молчал, дурной глаз, и змееед, или

рассказал, как бедных вдовушек совращаешь. Тебя бы на войну! Сразу в штаны наложишь. Да кто и возьмет такого в армию. Разве что когда последнего гусака призовут, тогда и твой черед придет.

Его поддержал Церодена.

— Да у него и в самом деле голова и шея гусиные!

— А у вас головы даже не гусиные, а тыквенные, — сплюнул Ниортава. — И мозги в них, ей-богу, давно протухли.

Он ушел.

Церодена бросил взгляд на закрытую дверь и таинственно спросил Абриа:

— Что, этот мерзавец Вардосанидзе действительно поправился?

Абриа тоже посмотрел на дверь и грустно ответил:

— Еще нет, но выздоровеет, собака. А если это случится, он обо всем расскажет, и нам придется убраться отсюда.

— Об этом не стоит и думать, — твердо произнес Канкрэ. — Я еду завтра в Кварели и найду способ предупредить его: если выдашь, согнем в три погибели. Да кроме того, и властям теперь не до нас.

— Как бы не так! — тихо сказал Церодена. — Если Вардосанидзе выдаст, тогда держись... Плохи будут наши дела.

— Нечего паниковать, — ответил Канкрэ. — Если, не дай бог, это случится, то я и Абриа переправим тебя в Горную Тушетию, в такие места, где и сам черт нас не найдет.

31. ОТЦОВСКИЙ КИНЖАЛ

Годердзи хотел скорее повидать Нуну. День был воскресный, но она почему-то не выходила из дому. Одна из ее подруг передала, что Кетуа и Ушверидзе уехали в город, а Малхаз упал с дерева и сломал ногу. Нуну ухаживает за больным мальчиком.

Пойти бы сразу же к Нуну. Но днем все увидят... Годердзи еле дождался вечера.

Электрический свет был выключен. На подоконнике горел маленький светильник.

В постели, сложив на груди руки, лежал Малхаз, а возле него, склонившись на стуле, дремала Нуну.

Услышав шаги, она испуганно вскрикнула:

— Кто это?

— Это я! — успокоил ее Годердзи.

Он вынул спичку и зажег закоптелую лампу.

У Нуну были покрасневшие глаза.

— Ты плакала?

Нуну отвела взгляд.

— Какое горе свалилось на нашу страну, — тихо произнесла она. — А тут и свое еще прибавилось.

— Что с парнишкой?

Нуну отошла от кровати.

— Вчера этот пройдоха Ушверидзе пристал к Кетуа, чтобы она поехала с ним в город — расписаться в загсе. Он не хотел регистрироваться здесь: боялся, что узнает телавская жена и устроит скандал. Неожиданно воспротивился Малхаз. Он рыдал и просил мать не приводить ему нового отца. Мальчик даже грозил покончить самоубийством. Как только они вышли из дому, Малхаз взобрался на дерево и бросился оттуда вниз. Кетуа и Ушверидзе услышали его крик и вернулись. Но они не остались. Ушверидзе все торопил: опоздаем, мол, к поезду, и Кетуа, поцеловав несчастного мальчика, ушла. Я и Маруа внесли его в дом. У него перелом левой ноги. Суския Миндели уложила ее в гипс. Он не спал всю ночь, все кричал, звал мать. Теперь, слава богу, уснул.

Они вышли в другую комнату и уселись в углу на скамейке. Нуну взяла руку Годердзи, положила себе на колено и погладила.

— Ты, наверно, уйдешь на войну?

— Конечно! Не оставаться же мне с женщинами, детьми и стариками. От брони я отказался.

— Кого же на твое место?

— Хотя бы Тедо. Он работник честный, старательный. Зря сняли его. Тебя же попрошу присмотреть за моими... Я на тебя надеюсь, Нуну! Не очень горюй, а то еще поседеешь. А я так люблю твои темные косы...

Девушка нагнула голову, плечи ее дрогнули, по щекам покатились слезы.

— Я все перенесу, — сказала она. — Дни и ночи буду работать. Только бы ты вернулся! Буду ждать тебя, Годердзи, мы будем ждать — я и он, наш ребенок, который появится на свет...

Годердзи взглянул на часы. Нужно было спешить на партийное собрание.

— Если даже поздно закончится, все равно приходи, — сказала Нуну. — Я не прощаюсь с тобой.

— Хорошо,—ответил Годердзи.—Но все же могут задержать дела. Тогда я обязательно приду завтра. Завтра же отправимся в загс.

Вставая, Годердзи случайно толкнул скамейку, она загремела. Проснулся Малхаз. Нуну собралась проводить Годердзи, но мальчик расплакался:

— Мать бросила меня, а теперь и ты бросаешь.

Пришлось остаться.

Она слушала удаляющиеся тяжелые шаги Годердзи.

Нуну погасила лампу, но Малхаз хныкал:

— Мама бросила меня, теперь ты выйдешь замуж, и я останусь совсем один. Я снова брошусь с дерева — все равно один не буду жить...

Напрасно девушка утешала его:

— Не бойся, я не оставлю тебя.

Мальчик неотступно твердил свое, потом схватил ее руку, прижал к груди и постепенно затих.

Долго просидела Нуну у постели спящего Малхаза, вслушиваясь в его прерывистое дыхание.

Во дворе кашляла овца. У ворот хлева вздыхала корова. На лестнице била хвостом и чесалась собака. На крыше бесновались кошки. Издалека донесся неистовый лай накинувшейся на кого-то собачьей своры. Потом снова кашель овцы и дыхание коровы...

Начинали петь петухи. Уставшая Нуну подложила левую руку под голову, и ее одолела дремота. Чудилось, что Годердзи рядом. Она прощалась с ним и говорила: «Помнишь, мы сидели под старым дубом и сердились на писателей за то, что они в своих книгах нарочно разлучают влюбленных. Но разве они в чем-либо повинны? Как близко было наше счастье! Нас разлучает теперь сама жизнь, война... Если родится сынок, я назову его Микелой, как ты того хотел, в честь дедушки. Пусть поседеют мои волосы, лишь бы ты благополучно вернулся домой. Я всегда буду думать о тебе, и ты всегда будешь со мной».

Внезапно Нуну вспомнила, что после ухода Годердзи дверь в доме осталась незапертой. Он должен был вер-

нуться, а его все нет... Она осторожно поднялась, пошла в сени и задвинула щеколду.

Часы остановились. Нуну посмотрела в окошко. Спокойно жевала свою жвачку корова. Возле нее сладко спал выбравшийся из хлева теленок. Кашляла растянувшаяся на земле овца. Над верхушкой холма плыла луна, и казалось, что это огненный меч.

Малхаз застонал. Девушка присела к постели больного. Он снова схватил ее руки и спрятал у себя на груди.

И тогда ей приснился сон.

Где-то по степи ночью мчатся поезда. На открытых платформах толстомордые пушки — точно такие она видела года два тому назад на маневрах около Бермухи. Мелькают знакомые лица бермухских и заалазанских парней. В руках у них пулеметы и винтовки со штыками.

Грохочут паровозы. Пушки извергают огонь. Он охватывает землю и небо. В красных облаках ныряют чернокрылые коршуны.

А вот она и Годердзи в самолете. Грозно ревет мотор. Пропеллер разгоняет озаренные пламенем облака. Годердзи припал к пулемету, и она слышит смертоносное: та-та-та-та. На них напали чернокрылые коршуны. Но птицы ли это или фашистские бомбовозы? У них стальные клювы и вместо глаз — черные впадины. Они зло бьют крыльями и хрипло кричат.

Нуну испуганно прижимается к Годердзи. На лбу у него выступил холодный пот. Но он не отходит от пулемета. И она слышит прерывистое: та-та-та-та.

И — о ужас! Окно самолета разлетелось, и чернокрылый хищник бросился на Годердзи. Но Годердзи не отступил. Он выхватил кинжал и по самую рукоятку воткнул его в горло коршуна. Хлынула кровь. Вот-вот она их затопит. Нуну хочет крикнуть и не может, крик застревает в горле. А пулемет стучит: та-та-та-та!..

И вот до ее сознания смутно доходит, что это стучит не пулемет, а чьи-то большие кулаки барабанят в дверь. Она просыпается. Да, действительно так. Не вернулся ли Годердзи? Нуну выходит в сени:

— Кто там?

Никто не отзывается.

Она глянула в окно. Никого не видать.

«Мне, вероятно, показалось», — подумала девушка.

Она вернулась к спящему Малхазу. Но тут снова раздался стук.

— Кто там?

За дверьми молчали. Она повторяет вопрос. Кто-то кашляет.

— Годердзи! — робко откликается мужской голос.

Нуну смотрит в дверную щель. За нею стоит какой-то человек в горской бурке и лохматой пастушеской шапке. Он дышит, как загнанная лошадь, и изо всех сил напирает на жалобно скрипящую дверь.

Нуну удивилась: если это чужой, то почему же не лает собака?

— Годердзи в такое время ко мне не ходит, — говорит она, овладев собой. — Сейчас же убирайся отсюда, не то пожалеешь.

— Ха-ха-ха! — паясничал неизвестный. — Что ты со мной сделаешь, индюшонок?

— Иди своей дорогой! — твердо сказала Нуну. — Не ломай мне двери и не буди больного.

— А я советую открыть дверь, пока она еще цела, — угрожающе произнес мужчина и еще сильнее навалился на нее. Она затрещала и поддалась его напору.

И тогда с порога прыгнуло какое-то огромное чудовище. Оно навалилось на Нуну, потащило в комнату и зарычало.

— Если бы я был Годердзи, ты открыла бы мне дверь!

Девушка узнала Канкрэ. От него несло вином.

— Бесстыжий бандит! — крикнула она, пытаясь вырваться из его цепких рук.

— Чему быть, того уж не миновать! — кривлялся Канкрэ. — Годердзи и всем коммунистам конец пришел. Если ты не станешь моей, то я задушу тебя, а Годердзи превращу в шашлык.

Нуну решила схитрить.

— Угрозами ничего не достигнешь, — произнесла она мягко. — А добром...

Канкрэ несколько обмяк.

— Натия передавала, будто ты хвасталась, что Годердзи избил меня до смерти. Правда?

— Клянусь, Канкрэ, я никому этого не говорила.

— Ну, ты хорошая девушка, — пробормотал Канкрэ. — Потому-то я и люблю тебя...

Он потянулся, чтобы поцеловать Нуну, но девушка ловко увернулась.

— Пусти, Канкрэ. Не то пожалеешь!

— Хе-хе-хе! Что ты со мной сделаешь, индюшонок?

— Когда сделаю, тогда узнаешь.

— Ну, вот что я тебе скажу, — выдохнул Канкрэ. — Если ты не станешь сегодня моей, клянусь матерью, что сейчас же прикончу тебя, а потом твоего Годердзи, — будь что будет. — Он повалил Нуну на тахту и опустился перед ней на колени.

— Я ведь давно люблю тебя, — страстно шептал он. — Я из города приезжал только ради тебя.

Он гладил ее, хватал за руки, целовал.

Нуну старалась выиграть время.

— К чему насилие, Канкрэ? Давай-ка сядем мирно и поговорим, как старые друзья. Любовь не терпит насилия. Не так ли?

Канкрэ подумал: «Да, лучше, пожалуй, взять ее не силой, а добром».

— Пожалей меня, — молил он. — Обезумел я от любви. Мы с тобой друзья юности. Сердце-то у тебя есть, Нуну? Покорись мне хотя бы раз, и я буду тебе всю жизнь обязан. Никто этого не узнает. Все убеждены, что ты живешь с Годердзи. А он уходит на войну. Это я из-за тебя подрался с Коберидзе. Если бы не я, Кетуа обязательно отдала бы тебя за него.

— Разве я игрушка в руках Кетуа, которой она может распорядиться как хочет? — повела плечами Нуну.

Потом она произнесла многозначительно:

— Годердзи уходит на войну. Ты прав. Не торопись. Дай мне его проводить. Ты-то остаешься...

Канкрэ был доволен.

— Я-то остаюсь, — его лицо расплылось в улыбке. — Пусть коммунисты воюют. А мы с тобой тут поживем.

Во сне заплакал Малхаз.

— Я сейчас приду, — поднялась Нуну. — Успокою Малхаза.

Канкрэ поверил. Он только крикнул ей вдогонку:

— Быстрее приходи, а не то скоро утро.

Оставшись один, он почувствовал вдруг страшную усталость. В голове шумело. Все плыло перед глазами. Веки отяжелели. Он прилег на бок, положив под голову мутаку. Хотелось уснуть. Но он боялся, что его могут за-

стать здесь люди. «Как бы не заглянула сюда эта чертовка Маруа, — она то и дело таскается и клянчит взаймы то сахар, то муку, то соль», — тревожился изнемогавший от ожидания Канкрэ. Он протирал глаза и напряженно вглядывался в приоткрытую дверь, откуда должна была вот-вот появиться Нуну. Но она не приходила. К нему доносился лишь раздражающий, плаксивый голос Малхаза и нежный, успокаивающий голос Нуну.

Как слепой перебирает четки, так перебирал он сейчас обнадеживающие слова Нуну: «Не торопись. Дай мне его проводить. Ты ведь остаешься...»

Он готов был упрекнуть себя в том, что был слишком груб с Нуну. Если бы он действовал по-другому, то она бы уже давно была его. «Любовь не терпит насилия». Это — правда. Натия Таралашвили говорила, что между Годердзи и Нуну пробежала черная кошка. Вполне возможно, Годердзи не достроил дом. Он это сделал, чтобы оттянуть женитьбу, отделаться от Нуну. Об этом тоже говорила Натия...

Светало. Пьяный Канкрэ стянул с себя сапоги, снял пояс. Сон одолевал его. Но тут раздались шаги. Дверь широко распахнулась, и он увидел нечто такое, от чего упало сердце. В дверях стоял человек в папахе и тулупе. В его руках сверкнул кинжал.

Канкрэ в ужасе протер глаза. Что за наваждение? Призрак, не призрак? Неужто воскрес Гоброн Уджираули? Канкрэ помнил, что тот, обезумев от вина, бросался на всех — больших и малых.

— Немедленно убирайся из моего дома, — прогремел голос. — А не то...

Канкрэ хотел вырвать кинжал. Но страх лишил его сил. Еще мгновение — и он, теряя сознание, рухнул на пол, сраженный ударом.

Утром Маруа заглянула к Нуну, чтобы занять муки, и схватилась за голову, увидев на полу валявшегося в крови Канкрэ. По просьбе Нуну она побежала и привела Абриа, Луо и Поцхвери Уджираули.

Старейшие рода вошли в дом. Девушка взяла кинжал отца, тщательно вытерла, вложила в ножны и повесила его на свое место, рядом с тулупом и папахой.

— Полюбуйтесь им, — сказала она, пренебрежительно ткнув пальцем в сторону корчившегося на полу от боли Канкрэ. — Никак не хотел отстать. Вот и получил.

Когда Канкрэ, завернутого в бурку, выносили из дому, Абриа-злоязычный напомнил Луо:

— Ведь я говорил еще в прошлом году: женщина, которая не боится взрывать динамит, не побоится и человека убить.

32. МИТИНГ

Годердзи всю ночь провел в конторе колхоза, сдавал дела Тедо. Утром они отправились на участки.

— Нужно съездить в Кварели, — сказал в пути Годердзи. — Распишусь с Нуну.

У Тедо посветлело лицо. Он по-отцовски обнял и расцеловал Годердзи.

— Правильно поступаешь, сынок. Сразу заткнешь глотку этим пустобрехам-чернохуторянам.

Годердзи забежал потом на несколько минут к Нуну. Девушка волновалась, она думала, что Годердзи узнал про ночное происшествие. У нее отлегло от сердца, когда она услышала:

— Поедем в Кварели, распишемся.

Нуну радостно улыбнулась.

— Поезжай сначала один и разузнай, работает ли сегодня загс, — сказала она.

— А почему бы ему не работать?

— Заведующий, говорят, вот уже неделю болен, и загс закрыт.

Не прошло и часа, как она услыхала сигнал машины. Вернулся Годердзи. Он был удручен.

— Ты права, загс действительно закрыт.

Расстроилась и Нуну. Ей не забыть, как вели себя Абриа и его братья с Тетро, которая родила незаконнорожденного. Но она пыталась утешиться: Годердзи, быть может, задержится на несколько дней, а заведующий загсом к тому времени выздоровеет.

Годердзи передали:

— Были Цихистави и секретарь райкома комсомола. Все мобилизованные должны собраться вечером к старому дубу на митинг.

Много народу собралось здесь. Кроме бермухских и гвелетских, прибыли и из соседних сел. Солнце еще не зашло. Все разместились группами вокруг костров, жа-

рили шашлыки, пели. Танцевали мужчины, женщины отказывались.

Раскинув свои длинные руки, коршуном прошелся хевсур Хирчла Очиаури. Но и ему не удалось увлечь никого из женщин. Тогда взялся за дело свиновод Попола. Он стащил у какой-то хевсурки платок и представился девушкой: жеманничал, кокетливо склонил набок голову, перебирал по-женски пальцами и тем самым вызывал гомерический хохот.

— Давайте поборемся или пофехтуем! — крикнул кто-то из молодых. — Ведь на войну идем.

— Удивительно, — сказал Годердзи, обращаясь к Коринтели. — Давно знаю Ниортаву, но не предполагал, что он так мастерски владеет саблей.

— Так оно и бывает, — ответил Коринтели. — Человек одарен многим, и все, чем он одарен, ждет своего времени и обстоятельств, чтобы выявиться.

Приехал Цихистави.

Один за другим подымались люди на «верблюжий горб» — широкий и толстый корень старого дуба, служивший как бы трибуной. Гневны были их речи: они клялись быть достойными своих великих предков и победить врага.

— Товарищи! — сказал Соломон Гулухаидзе. — Вы привыкли слышать от меня только шутки. Но теперь не до шуток. В смертный бой вступили мы с врагом. Я хочу напомнить поговорку, которая всем знакома: «Вода уйдет, а песок останется, деньги уйдут, а сума останется, человек уйдет, а имя его остается». Пусть каждый позаботится о том, чтобы не опозорить свое имя, чтобы оно жило в веках. И мы, старики, не остаемся в долгу перед нашей Родиной. Недаром говорят: «И рог старого вола пашет». — Он закончил свою речь четверостишием:

Юноша, взращенный в горах!
Ты пойдешь на войну и вернешься.
Сердце твое не дрогнет,
И сабля не будет голодна.

Народ дружно аплодировал ему в ответ.

Под конец выступил Коринтели

— Братья и сестры! Не умею я говорить, да и не время теперь для длинных речей. Верно сказано: «Хороша длинная веревка, а слово — короткое».

Наша страна в опасности. От каждого из нас требуется величайшее напряжение всех сил: на фабриках и заводах, на колхозных полях и на полях сражений.

Кахетинцы, тушины, пшавы и хевсуры! Кахетия всегда была передовым постом Грузии в ее славной, героической борьбе с нападавшими с востока варварами. Теперь ваш долг так же отважно бороться с фашистским зверьем, вероломно напавшим на нас с запада. Будьте достойны памяти своих предков, тех отважных воинов, которые сражались под знаменами Баграта Четвертого, Давида Строителя, Георгия Блистательного и последнего льва Грузии — царя Ираклия.

Братья, уходящие на войну! Вечно помните, что мы, грузины, всегда были, есть и будем верными стражами Кавказа. Боевые героические дела нашего народа до сих пор памятны развалинам крепостей Карса, Арзрума, Бейбурта...

Разошлись, разъехались люди. Взошла луна. Под старым дубом остались лишь Коринтели и Ниортава. Безмолвно смотрели они на опустевшую дорогу, ведущую к Алазани.

33. КОНЕЦ ПАНТОМИМЫ

Дома, после митинга, Коринтели застал дядю Нико. Он сидел в кресле, понурив голову:

— В этот час испытаний мне и твоей тетке так захотелось увидеть тебя, — сказал дядя Нико, — что я бросил все дела и приехал. Текле просит тебя выбраться хоть на день в Телави. Беспокойно в мире и в твоем собственном доме. Верно говорят: «Мой дом — моя крепость». Но твой дом, твоя семья — не крепость... Это нас и тревожит.

— Да, ты, пожалуй, прав. Я хозяин разрушенной крепости, — горько усмехнулся Коринтели. — Если бы ты был здесь позавчера и слышал разговор этой проклятой Вари с Майей, ты бы не выдержал и натворил бог знает что, а я вот терплю. Но всему приходит конец. Пришел конец и моему терпению.

— Я рад это услышать, Вахтанг, — взволнованно произнес дядя Нико. — Теперь не время для колебаний.

Ты, надеюсь, знаешь, как ты дорог мне и моей жене, да и мы тебе, вероятно, самые близкие люди.

— Не только самые близкие, но и самые дорогие, — сердечно произнес Коринтели.

— Если так, Вахтанг, — продолжал дядя Нико, — то я позволю себе быть с тобой совершенно откровенным.

Коринтели в знак одобрения кивнул головой.

Но дядя Нико не сразу нашел необходимые слова. То он с разбегу брал «быка за рога», то пятился, говорил туманно, иносказательно, прибегал к помощи пословиц и поговорок. У него заплетался язык, он вздыхал, топтался на одном месте, неоднократно повторял «так сказать», «конечно»... Разговор явно не клеился.

Коринтели не выдержал:

— Обещал быть откровенным, а очутился во власти Эзопа. Я думаю, что искренность украшает не только того, кто ее проявляет, но и того, к кому она проявлена. Некоторых родственников я не очень ценю, — улыбнулся Коринтели. — Как часто другой человек, отнюдь не родственник, куда ближе тебе по мировоззрению, по душе, чем родственники. У меня много родственников, с которыми я давно и сознательно не встречаюсь. Ты и моя тетушка Текле не просто мои родственники, а самые дорогие мои друзья. Можешь говорить все, что ты думаешь. Я на тебя не обижусь. Я жду этого.

— Раз так, — оживился дядя Нико, — то я тебе, Вахтанг, вот что скажу. По зубам определяют не только возраст лошадей. Крепкие зубы свидетельствуют о молодости человека, о его силе и красоте. Старость врывается к нам прежде всего через рот и ломает нам зубы. Но когда тот же зуб, который мы бережем, начинает болеть, не дает нам покоя, мы вырываем его. Как-то ночью, в Горной Тушетии, у меня так разболелся зуб, что я, не дождавшись врача, взял свой охотничий нож и, поверишь ли, выковырял гнилой зуб.

Коринтели понял его.

— Дядя Нико, не беспокойся, я тоже вырву гнилой зуб. Никто этому не помешает.

В комнату, не постучав предварительно, вошла тетя Варя и сказала как ни в чем не бывало:

— Господа! Медико просит вас пожаловать к столу. Будем ужинать вместе. Майя приготовила прекрасные

хачапури и толму[1], которые так любит мой дорогой зять, je vous prie![2] — заключила она по-французски.

У Коринтели от возмущения задвигались желваки на скулах.

— Присядьте-ка, сударыня! — подчеркнуто вежливо и в то же время настойчиво произнес он. — Хорошо, что здесь находится дядя Нико, и я смогу в его присутствии вам кое-что сообщить.

Тетя Варя послушно опустилась на стул.

— Я, конечно, весьма благодарен вам за столь любезное приглашение, сделанное в моем доме, — продолжал Коринтели, — но меня, признаюсь, удивляет, что вы столь долго не замечаете того, что я все время избегаю вашего милого общества, не хочу встречаться, а тем более ужинать ни с вами, ни с вашей дорогой племянницей.

Тетя Варя приподняла брови.

— Что вы говорите, mon gendre! Моя племянница — прежде всего ваша законная жена.

— Ну, так вот, — изменив голос, жестко произнес Коринтели, — я должен сообщить вам одну немаловажную новость: я не считаю уже вашу племянницу своей женой, и вы напрасно именуете меня своим зятем...

— Что вы изволили сказать, месье Коринтели? — растерянно произнесла тетя Варя. — Я удивлена, потрясена, ничего не понимаю! Я, правда, замечала, что вы ко мне недружелюбны. Но я думала, что это вызвано просто-напросто минутным дурным настроением, усталостью. Никакого повода для таких жестоких слов ни я, ни тем более Медико вам не давали.

— А по-моему, — резко произнес Коринтели, — всем нам давно пора прекратить эту никому не нужную пантомиму. Вы лучше меня знаете, кто ваш истинный зять. Он только что благополучно возвратился из путешествия по Италии и находится сейчас не в Гвелети, а в Париже. Сожалею, конечно, что ни вы, ни Медико не можете сейчас же туда отправиться. Что поделаешь — война!

— Как вам не стыдно, месье Коринтели! — всплеснула руками тетя Варя. — О каком путешествии идет речь? Я об этом впервые слышу.

Коринтели пристально посмотрел на нее.

[1] Толма — голубцы.

[2] Я вас прошу (приглашаю)! (франц.).

— Впервые?! И вы не читали письма и не видели фотографий, которые месяц тому назад прислала вам из Парижа ваша сестра Евфэмия?

— Какое письмо? Какие фотографии? — повела плечами тетя Варя.

Тогда не выдержал молчавший до сих пор дядя Нико:

— То самое письмо и те самые фотографии, которые передал вам Андро. Я тоже имел удовольствие их видеть.

Но тетя Варя стояла на своем.

— Как жаль, что этот Андро уже отправился на фронт, — с притворной досадой произнесла она, — а то бы я сразу рассеяла это недоразумение.

Коринтели усмехнулся:

— Я должен успокоить вас, сударыня. Андро болен и еще никуда не уехал. Я могу его, с вашего разрешения, немедленно пригласить сюда.

Что было делать тете Варе? Она умолкла.

— Я семьдесят лет прожил на этом свете, — сказал, не глядя на нее, дядя Нико, — и никогда не подслушивал чужих разговоров, не вскрывал чужих писем. Но тут я впервые в жизни, отдыхая в саду, случайно услышал ваши нравоучения, обращенные к Медико. Я человек старой морали и, каюсь, скрыл то, что тогда слышал, от Вахтанга. Но письмом и фотографиями я поинтересовался. И Вахтанг тоже о них знает.

Тетя Варя поспешно вскочила. Коринтели остановил ее у дверей:

— Еще минутку! Возможно, что представление продолжалось бы и каждый из нас — вы, я, Медико — продолжали бы играть свои роли в пантомиме. Однако ваш утренний разговор с Майей окончательно убедил меня в том, что пора кончать, и как можно скорее. Мы чужие друг другу люди. И нам нельзя жить под одной крышей.

— Все это высосано из пальца, я вас уверяю! — пробормотала тетя Варя и вышла из комнаты, помрачнев и согнувшись.

34. ПЛАЧ ЛОЗЫ

В каждом доме с нетерпением ждали почтальона Гео. Все больше и больше мужчин отправлялось на фронт.

Их заменили женщины, в чьи руки перешли мотыги, топоры, лопаты, пилы... Женщины пахали, сеяли, водили тракторы, ездили на арбах, грузили машины. На их плечи лег весь тяжелый колхозный труд. Они же занимались домашним хозяйством, растили детишек. И каждая из них постоянно ждала вестей с фронта: от отца, мужа, сына, брата, жениха.

Этот Гео еще в первую мировую войну остался без правой ноги и без правого глаза. Он ковылял на деревянной култышке. Было ему лет пятьдесят, носил он длинную черную рубаху с расстегнутым воротом, которая сливалась с его, как спелая ежевика, черными, остро торчащими усами, черной бородой и черной папахой.

Он опирался на пастушеский посох, который помогал ему и отбиваться от собак; они почему-то никак не могли привыкнуть к нему, постоянно чуяли в нем врага. Стоило ему остановиться у какого-нибудь двора и крикнуть хозяина, как сразу же со всех сторон выскакивали собаки и подымали страшный лай. Не так-то легко было их потом успокоить.

Разные вести приносил Гео, радостные и горестные. За радостные — его приглашали к столу, щедро поили вином. Горестные — встречали слезами.

В последнее время вести становились все печальнее и печальнее. В аккуратно сложенных треугольничках, без марок, с обозначением номера полевой почты, сообщалось о погибших или пропавших без вести. Иногда это были письма из госпиталей от раненых.

В бою под Керчью пал смертью храбрых бывший тракторист — танкист Вано Хелашвили. Геройски погиб и бывший шофер Коринтели — пехотинец Андро. Он взорвал гранатами вражеский дот и был изрешечен автоматной очередью. Убили бывшего счетовода колхоза — сержанта Кевришвили.

От кого и к кому бы ни прибывало письмо, Нуну непременно приходила в тот дом и спрашивала: «Не слышно ли чего о Годердзи?»

Последним ушел на фронт Ниортава. Нуну просила и его разузнать о Годердзи. Но прошло несколько месяцев, и о самом Ниортаве ничего не было известно.

Однажды Тетро получила письмо от Лалбацы. Он сообщал, что Годердзи легко ранен. Но она скрыла это от

Нуну, просто сказала, что Годердзи жив. Она жалела ее, зная, как тяжело ей живется.

— Опозорила нас! Отрезала нам голову! — вопил на всех перекрестках Абриа-злоязычный после того, как у Нуну родился маленький Микела.

Кетуа подзуживала:

— Не помог мне выдать ее за Коберидзе, вот и терпи теперь срамоту!

Поцхвери пытался их урезонить:

— Что особенного случилось? Ну, не успел Годердзи расписаться. Вернется с войны и распишется.

Но разве можно было их унять?!

Нападки на Нуну еще более усилились после того, как Абриа вызвали в Кварели к прокурору. Хидашели интересовался, знает ли он торговца мясом Вардосанидзе. Абриа ответил отрицательно. На том он стоял даже тогда, когда ему устроили очную ставку и арестованный Вардосанидзе уличил его в краже колхозных ягнят.

— Этого человека я вижу впервые, — твердил Абриа. — Все, что он говорит, — ложь, это его подбил Годердзи, который мстит мне за то, что я противился его браку с Нуну. Он обесчестил ее и, как видите, успел меня оклеветать.

Допрос пришлось отложить, так как с Вардосанидзе случился сердечный припадок. Абриа отпустили.

Он возвращался домой и тешил себя мыслью, что «война все спишет» и о нем забудут. Возможно, умрет Вардосанидзе — и тогда прокурор лишится своего главного козыря. Годердзи далеко, о нем нет вестей, он сейчас не опасен. Зато Абриа сумеет ему отомстить — если не ему самому, то его жене, ребенку. Он ненавидел их так же, как и самого Годердзи.

Жизнь Нуну становилась все труднее.

Детских яслей в их деревне открыть до войны не успели, и она, отправляясь с утра на работу, оставляла своего грудного ребенка на попечение уже знакомой нам соседки Маруа. Кетуа не желала на него даже взглянуть. С замирающим сердцем прибегала Нуну домой, наскоро кормила сынишку и снова уходила на виноградники, в свою бригаду.

Дома ее всячески притесняли, пользуясь ее беззащит-

ностью. Нуну вынуждена была переселиться с ребенком в сени. Маруа, видя, что без нее Нуну не обойтись, из месяца в месяц повышала плату за свои услуги.

Ушверидзе, которого не взяли в армию из-за грыжи, часто приходил домой пьяный, да еще приводил с собой собутыльников. Возникали скандалы и драки.

Чуть не каждую неделю появлялась его телавская жена и грозила облить его варом, если он к ней не вернется.

Налеты бывшей супруги Ушверидзе торопили Кетуа продать дом Гоброна и перебраться с новым мужем в Тбилиси. Но для этого нужно было окончательно избавиться от Нуну и найти покупателя. Кетуа делала все возможное, чтобы выжить падчерицу, заставить ее в конце концов уйти к дедушке Микеле.

Кетуа ненавидела Годердзи не меньше, чем Абриа. Она никак не могла забыть, как он заставил ее, «больную женщину», работать в колхозе.

Свою ненависть она вымещала даже на маленьком Микеле. Она о нем обычно говорила:

— Бандит, весь в отца!

Кетуа радовалась, когда ребенок простуживался, заболевал. Она вслух желала ему смерти.

Как-то вечером произошел такой случай. Маруа вышла на улицу и оставила на тахте Микелу. Голодный боров ворвался в сени и начал обнюхивать ребенка. Он готов был уже схватить его за ножку. Кетуа видела это, но не шелохнулась. Она сидела у очага и спокойно месила тесто. А когда Малхаз пинком отогнал свинью, она крикнула:

— Что тебе надо, пропащая душа, от этой свиньи?

Дедушка Микела был на седьмом небе от счастья, когда Нуну родила сына. Он радовался за Годердзи и за себя: наконец-то он дождался правнука, которого назвали его именем. Если, не дай бог, погибнет на войне Годердзи, то все-таки останется продолжатель их рода.

До него дошли слухи о том, как притесняют Нуну мачеха и Ушверидзе, и старик решил поскорее закончить постройку дома, чтобы забрать к себе Нуну и ребенка. Если не удастся достать черепицу, то он покроет крышу соломой, — бог с ней, с черепицей.

Нуну заглядывала к нему каждый день, помогала

Бабили по хозяйству, хранила у него свои сбережения. Еженедельно в субботу она мыла старику голову и ноги, ухаживала и за душевнобольной теткой. Стоило ей немного запоздать — и Микела нервничал, стучал палкой об пол и говорил внучке:

— Посмотри, не идет ли Нуну.

Она стала ему родным человеком.

Но Абрна-злоязычный решил омрачить счастье Микелы, поссорить его с Нуну и лишить его правнука.

Как-то вечером он вместе со своим братом Поцхвери пришел к нему и завел речь о Нуну.

Дедушка Микела возмутился:

— Если бы я был не так стар и слеп, я бы показал этой вертихвостке Кетуа и ее проходимцу-мужу, как обижать бедную сироту и ее ребенка. Но недолго им осталось терпеть. Скоро заберу их к себе.

Абриа сидел нахмурившись, дымил чубуком.

— В этом деле нужно еще разобраться, — произнес он степенно. — Ты, конечно, умный человек, но твоя доверчивость меня просто поражает. В годы нашей молодости мужчина походил на мужчину, а женщина на женщину, мужчина носил папаху, а женщина — мандили[1]. Но с тех пор все изменилось. Дай бог тебе всяческих благ и чтобы завтра к тебе зрение вернулось, но ты уже не узнаешь людей — так изменило их проклятое время. Что мне до твоих семейных дел, — заискивающе произнес он, — одно скажу: если бы Годердзи хотел сделать Нуну своей законной женой, то он бы с ней расписался, обязательно расписался! — Дедушка Микела слушал и молчал. Поцхвери пытался возразить:

— Годердзи хотел расписаться, но не успел. Загс был закрыт, — он же туда ездил.

— Брось болтать! — огрызнулся Абрна. — Откуда ты знаешь, что загс был закрыт? А может быть, Годердзи выдумал это, чтобы отделаться от навязчивой Нуну? Может быть, она была ему только любовницей? Мало ли с кем он жил! И разве только Годердзи ее любил? Не знаешь разве наших бермухских парней, которые жеребцами бегают за бабами? Вспомни, как подрались из-за Нуну Кобериндзе и Канкрэ. Если бы я тогда не вмешался, они пустили бы в ход ножи... Постарел ты, дедушка

[1] Мандили — женский головной платок.

Микела, и многого не понимаешь! — сочувственно произнес Абриа. — Поговори с той же Кетуа, и она расскажет тебе, как Коберидзе водил Нуну в кино. А что делают в кино с женщинами, мы тоже знаем...

Дедушка Микела молчал. И это подбадривало Абриа-злоязычного.

— Слышал ты, как был ранен Канкрэ?

— Слышал краем уха, — ответил Микела и опустил голову так, словно на нее положили что-то тяжелое.

— Иные глупцы думают, будто Нуну ранила Канкрэ. Как бы не так! Сам посуди, где это видано, чтобы девушка вертела кинжалом. — Абриа засмеялся. — Да и могла ли она одолеть Канкрэ? Это Годердзи застал у нее в ту ночь Канкрэ и ранил его. Когда я и мои братья прибежали утром к Нуну. Канкрэ валялся на полу без бурки, босой, с расстегнутым поясом и с расстегнутой ширинкой. Нуну у нас на глазах вытерла кинжал. Если она сама ранила Канкрэ, то почему же не вытерла кинжал раньше? В том-то и дело, что ранил его Годердзи и убежал, забыв вытереть кинжал. Только из-за уважения к тебе я никому не рассказывал этой истории. А то Годердзи обязательно поймали бы и судили.

Дедушке Микеле трудно было выбраться из сетей, расставленных Абриа-злоязычным. Ему и в самом деле казалось невероятным, чтобы такая робкая и нежная девушка, как Нуну, могла ранить кинжалом мужчину, да еще такого могучего, как Канкрэ. В душу закрадывалось сомнение: а может, она и в самом деле такая, как говорит Абриа?

И тогда Абриа, которого одолевал кашель, выпил поднесенную ему Баблией воду и нанес последний удар.

— Кроме того, я не раз видел младенца, — сказал он доверительно и огорченно. — Должен признаться, мой дорогой Микела, младенец совсем не похож на Годердзи... Мне, может быть, не следовало бы тебе это говорить. Но мы ведь старые друзья, и ты, надеюсь, не обидишься на меня за откровенность. Будь осторожен! Сейчас такой народ пошел, что и у зрячих вырывают ресницы из век. — И как бы в утешение он, вздыхая, добавил:

— Только бы Годердзи благополучно вернулся, а девки для него найдутся. И кто еще знает, что принесет нам завтрашний день...

— Да, но почему тогда, дядя Абриа, Нуну назвала

ребенка именем моего дедушки? — вмешалась Баблиа, которая любила Нуну и верила ей.

Абриа презрительно взглянул на нее.

— Что ты понимаешь в этих делах, тетеря? Подумаешь — имя. Священника в нашем селе тоже звали Абриа, но я ведь не сын и не внук попа. Может, Нуну потому и дала ребенку имя твоего деда, чтобы обмануть его.

Дедушка Микела хлопнул себя по лбу и простонал:

— Ох, горе мне, горе...

Дедушка Микела окончательно потерял покой. Кто бы к нему ни приходил, он выспрашивал, похож или не похож маленький Микела на Годердзи. Иные уверяли его, что ребенок — вылитый Годердзи, другие говорили, что не похож. Кому из них было верить?!

Чуткое сердце скоро подсказало Нуну, что дедушка Микела охладел к ней. Вместо прежней теплоты — вынужденная вежливость. Чем это вызвано? Она долго не находила ответа на этот вопрос.

Как-то она пришла к дедушке Микеле, чтобы сообщить ему приятную новость: в Кварели снова заработал завод, и можно, наконец-то, поехать за черепицей. Но старик почему-то не обрадовался ее словам. Он долго теребил свои волосы, потом вернул Нуну ее деньги и сухо сказал:

— Будет лучше, если ты потратишь их не на черепицу, а на своего ребенка.

Нуну ушла от него со слезами на глазах. Только тогда она поняла, что ее оклеветали, что против нее строятся какие-то подлые козни.

После того как Абриа и его братья унесли куда-то раненого Канкрэ, о нем долгое время ничего не было слышно. Но вот Нуну передали, будто Канкрэ увезли в Горную Тушетию, а Маруа сказала, что его видели на костылях в Кварели и что он грозится, как только поправится, приехать в Бермуху и расквитаться с Нуну.

Теперь, когда не было рядом Годердзи, Нуну серьезно побаивалась этого. Канкрэ мог решиться на все.

Тогда она пошла к Тедо и впервые рассказала обо всем происшедшем. Она не сообщила ему только то, что Канкрэ унесли от нее Абриа и его братья.

Тедо успокоил ее.

— Как только Канкрэ появится в Бермухе, я приму меры, чтобы его арестовали.

Но тревожно было у Нуну на сердце, и голова ее седела.

Война наложила отпечаток на всю сельскую жизнь. Даже в летние вечера рано пустела улица, редко доносились песни с берегов Алазани. Точно почуяв уход мужчин на войну, обнаглели звери. В виноградниках шныряли шакалы. На кукурузных полях хозяйничали волки. Оттуда они нападали на овец.

Суровую снежную зиму сменила дождливая весна. Частые ливни мешали колхозным работам: нельзя было ни перекопать землю, ни подрезать и подвязать виноградную лозу. Взрослые и дети тревожно взирали на разгневанное небо.

В мае разразился град величиной с птичье яйцо. От его массированной бомбежки опадали листья, ветки, гибла молодая завязь. Гибли сады и виноградники.

Горестно шла Нуну по винограднику. Она присела на землю, склонила голову на ладони и мысленно заговорила с Годердзи:

«У меня уже седеют волосы, дорогой! Град побил наши виноградники... Тяжело без тебя... Одно утешение — маленький Микела... Он так на тебя похож... Я все вытерплю, только бы ты вернулся...»

Уже никого не было в поле, когда на тропинке, ведущей к Лисьему оврагу, показался человек без шапки, с растрепанными волосами. Он поминутно останавливался, злобно втаптывал в землю побитые градом лозы и что-то бормотал.

Он переправился через Лисий овраг, обошел Мамукскую крепость, посмотрел вниз, на реку, готовую выплеснуться из переполненного русла, и повернул влево. На мосту, который вел к Гвелетской ГЭС, человек остановился. Потом он снова продолжил свой путь.

— Куда идете, дядя Абриа? — неожиданно окликнул его одноглазый Гайоз.

— К святому Георгию... помолиться, — ответил Абриа, воровато опустив глаза.

Переступив порог храма, он опустился на колени перед фреской желтолицего корикоза и неистово забубнил:

— Да будет проклят отныне и на веки вечные тот, кто во владениях эристава Мамуки построит дворец, дом или марани, кто поставит мельницу или амбар, кто посадит сад, или посеет семя, или разобьет виноградник. Проклятие это, перед вратами святого Георгия произнесенное, да достигнет его и да покарает он всех из поколения в поколение, кто противится его всемогущей воле. Да будут изничтожены они, будто нива от саранчи, будто виноградники от града! Аминь!

Над Бермухой простиралась ночь.

Плакали побитые градом виноградные лозы. Да разве одни только лозы?!

35. НОВАЯ ХОЗЯЙКА

Утром прибыла машина от Цихиставн, — он просил Коринтели срочно приехать в Кварели на совещание. Дядя Нико собрался ехать вместе с ним.

— Нет, дядя Нико, — остановил его Коринтели. — Сегодня воскресенье, тебе спешить некуда. Мне нужно при тебе поговорить с Медико. Подожди меня.

Спускаясь, на лестнице, Коринтели увидел в полуоткрытую дверь Медико и тетю Варю: они сидели перед раскрытыми чемоданами и кофрами, переговаривались и с помощью Маии укладывали туалеты.

Как только Коринтели ушел, дядю Нико, не спавшего накануне ночью, одолела дремота. Он подумал: «Прилягу ненадолго, обману сон». Но только он снял пиджак и расположился на шезлонге, как кто-то осторожно постучал в дверь.

Дядя Нико вскочил и надел пиджак. Вошла взволнованная, осунувшаяся Медея.

На ней было платье из черного муслина. Крупная жемчужина сверкала у разреза платья на ее белой, словно лопотский мрамор, груди. Седина обрамляла ее красивую породистую голову. Под глазами и на щеках легли морщины. Она была печальная.

Дядя Нико предложил ей стул. Медея присела на край, словно застенчивая гостья.

— Вот видите, дядя Нико, как разрушилась наша семья, — сказала она со слезой в голосе. — Я ни в чем не виновата, бог тому свидетель! Единственная моя вина

в том, что я отдалась чувству и последовала за Вахтангом... — У нее заплетался язык от волнения, на глазах блеснули слезы.

— Вахтанг всегда упрекал меня в том, что я по расчету вышла замуж за Шаркутье. Но я и теперь не знаю, чему должна отдать предпочтение женщина: чувству или разуму? Я, скажем, действовала по расчету, была молода и неопытна, — ошиблась. Но вот я решила исправить ошибку, бросила все то, что обеспечивало мне беззаботную и богатую жизнь, отдалась своему чувству и, как видите, ошиблась еще раз, и не менее жестоко...

Дядя Нико посмотрел на Медею, на ее вздрагивающие плечи — и сердце его вдруг пронзилось жалостью к этой красивой, печально склонившей голову женщине.

Он готов был говорить много и пространно, чтобы только развлечь и успокоить ее.

— Какое у меня право судить о вашем поведении? — начал он. — Кто дал мне такой разум, чтобы я поучал других? Но я читал кое-что, написанное умными людьми и кое-что видел на протяжении своей довольно долгой жизни. И раз вы меня спрашиваете, то я постараюсь вам ответить. Большую ошибку допускает человек, когда в свою личную жизнь он вмешивает третье лицо. Извините мою откровенность, но в вашей семейной катастрофе очень дурную роль сыграли обе ваши тетки, которым вы неосмотрительно доверились...

Тут дядя Нико прервал свою речь. До его слуха донесся шум мотора. Затем открыла дверь тетя Варя и, не входя в комнату, что-то по-французски сказала Медее. Дядя Нико понял, что речь идет о Цероденашвили — очевидно, о его приезде. Он невольно поморщился. Медея же встала и заявила довольно твердо:

— Поговорить об этом я и зашла к вам... Вахтанг проявил такую нетактичность по отношению к моей тетушке, что я не могу более оставаться в этом доме, — сказала она решительно. — Его поведение не так уж неожиданно для меня. Я с открытым сердцем доверилась его благородству, но и здесь ошиблась. Мне давно твердили, что у него роман с этой дочерью пекаря Луки, но я не верила. А теперь у меня открылись глаза. Ни традиции моего рода, ни мое представление о семье не дают мне права оставаться униженной... Мы сейчас же уезжаем. Вахтанг может обо мне не заботиться, я не

нуждаюсь... — Медея кивнула головой и быстрыми шагами направилась к дверям.

Дядя Нико, лежа на шезлонге, слышал глухой голос Церодены, чьи-то громкие шаги, скрип передвигаемых сундуков и чемоданов, хлопанье дверей, возгласы грузчиков и карканье тети Вари, неоднократно повторявшей: «Осторожно! Осторожно!»

Он встал и прошелся несколько раз по комнате, подошел к дверям, хотел выглянуть, но, почувствовав какую-то неловкость, снова прилег. Наконец он услышал, как Майя выдохнула: «Уехали!»

Тогда он вышел.

Его поразили беспорядок и грязь, царившие в комнатах. Всюду валялись волосы, тряпки, флаконы, битое стекло, перья. Со стен свисали космы седой паутины. В окнах торчали старые подушки. На полах проступали жирные пятна.

Дядя Нико недоумевал: как мог Коринтели, так любящий чистоту, мириться с такой грязью?

Он сбежал по лестнице в сад и посмотрел с откоса на шоссе. Удаляясь, катилась грузовая машина. В кузове, поверх вещей, восседала тетя Варя, ветер трепал ее волосы, а рядом, обнимая огромный чемодан, торчал Церодена. Медею, по-видимому, посадили в кабину.

Как только закончилось совещание, Цихистави пригласил Коринтели к себе в кабинет.

— Слышал новость, Вахтанг?

— Какую?

— Сняли с работы Цероденашвили и отдают под суд. Вместо него назначен Джорджадзе, хороший работник, награжден орденом Ленина.

— Почему же сняли Цероденашвили?

— Разворованы тысячи тонн цемента. Помню, вы все время твердили: раствор необходимо подвергнуть лабораторному анализу, не та плотность. Тогда он привез из Тбилиси комиссию и, как говорится, нашел с ней общий язык — вместе кутили. Я должен был, конечно, вмешаться. в это дело раньше и более энергично, но дело-то уж больно хлопотное. Нужно было раствор посылать в Тбилиси, а на это время нужно. Джорджадзе осмотрел ГЭС и нашел ее в аварийном состоянии. Говорят, что Цероденашвили был связан с Абриа и Канкрэ, участво-

вал с ними в каких-то темных махинациях... Ну, да это мы распутаем, — закончил Цихистави.

Майя старательно выметала мусор из комнаты. За этой работой ее и застал Коринтели.

— Молодчина, — похвалил он ее. — Хорошенько почисть эти тети Варины конюшни. Пусть ничто не напоминает здесь о ней!

Он повесил шапку на вешалку, вытер пот со лба и сказал дяде Нико, читавшему в кресле газету:

— Уехали? Вот и распрекрасно! Я избежал неприятного и бесполезного разговора с Медико. Всю ночь мне не давали покоя их возбужденная болтовня, стук по полу сундуками и чемоданами. Медико больше всего дорожит нарядами, полученными в подарок от Шаркутье, хотя они уже давно вышли из моды. Сколько раз мне хотелось облить их керосином и сжечь! Со старым покончено, — Коринтели энергично махнул рукой. — И прежде всего я благодарен тебе, дядя Нико, что ты вовремя предупредил меня, не то я оказался бы в положении Менелая. Теперь я хочу, чтобы ты же увидел запоздалое начало подлинной весны моей жизни.

Часто из своего сада я смотрю на старый дуб. Это дерево для меня — символическое существо. Оно, несмотря на свой преклонный возраст, каждой весной покрывается свежими ветками. У французов есть такое выражение — «élan vital» — жизненный порыв, прыжок.

И я не теряю надежды, что и моя жизнь, совершив такой прыжок, потечет по-новому и еще прорастет молодыми побегами, подобно ветвям старого дуба. Должен тебе признаться: Суския-то беременна. И это меня безмерно радует.

Появилась Майя.

— Ну, как, все готово? — обратился к ней Коринтели. — Гостей можно принимать?

— Можно, — улыбнулась старушка. — А теперь скажите, что на войне слышно? Кто кого осилит — они нас или мы их?

— Конечно, мы их! — воскликнул Коринтели.

— Дай бог тебе жизни, сынок! — прослезилась она. — Пятеро внуков у меня на войне...

Коринтели вызвал своего нового шофера — старика

Ясе, рекомендованного ему секретарем райкома, и распорядился подготовить машину.

Он и дядя Нико отправились к Сускии.

— Застанем ли ее? — спросил дядя Нико.

— Думаю, что застанем. В этот час она обычно отдыхает.

Коринтели зажег спичку, прикурил:

— Ты увидишь, как бедно живет эта женщина. Но она никогда ни на что не жалуется.

Коринтели умолк. Потом он продолжил свою мысль:

— Бедность — большое зло, но иногда она становится величайшим учителем жизни. В ее горниле закаляются характеры. В борьбе с ней погибали многие гении.

Машина объехала болото, повернула направо и остановилась у медпункта.

Суския обрадовалась Вахтангу. Появление же дяди Нико ее несколько смутило — она не была подготовлена к встрече с ним.

Обеими руками придерживала она края халата, стараясь скрыть свою полноту.

Дядя Нико поцеловал ее в лоб и сел на расшатанный стул. Он давно не видел Сускию и про себя отметил, что беременность ее еще больше красит. На лице Сускии не было и намека на пятна, которые обычно проступают у беременных женщин. Дядя Нико подумал: «Чем не богиня плодородия! Вот с кого бы и рисовать ее».

Хозяйка засуетилась.

— Какого дорогого гостя привез ты так неожиданно. У меня есть бутылка вина, испеку сейчас хачапури...

Коринтели обнял ее:

— Не беспокойся, ничего не нужно. Оденься и собери свои вещи.

— Что случилось? Разве я должна куда-нибудь ехать?

— Да, ко мне, нет — к нам, домой! — радостно воскликнул Коринтели.

— А куда это — к нам? — спросила Суския.

Но глаза ее уже лучились, она начинала догадываться, о чем идет речь.

— Ну, что мучаешь женщину, — улыбнулся дядя Нико. — Скажи прямо!..

Коринтели пришлось тут же все объяснить. Лицо Сускии вспыхнуло горячим румянцем.

— Выйдем, пусть она оденется, — шепнул дядя Нико, взяв Коринтели под руку.

Втроем сидели они за свадебным столом. Дядя Нико протянул полный бокал невесте.

— Где тот безвестный художник, Суския, который рисовал тебя еще девушкой?.. Мне не дано хоть в малой мере выразить ту радость, какую я сейчас испытываю. Ты ведь стала прекраснее, чем была. Я еще не пьян и скажу: ты куда красивее любимой Рембрандта Саскии. Я не понимаю, почему художники и поэты перестали рисовать и воспевать беременных женщин. Они не прочь восхищаться бутонами роз, цветением виноградной лозы и совсем равнодушны к женщине в период ее цветения. Мы, грузины, всегда были народом-воином, — продолжал дядя Нико, — и потому, должно быть, мы особенно радуемся рождению мальчика — того, кто будет владеть оружием, клинком. И вот я, простой, старый грузин, который не поспевает шагать в ногу с веком, от души желаю, чтобы был у вас мальчик, и желаю долгих лет жизни будущему вашему наследнику. — Дядя Нико расцеловал Сускию и Коринтели. К столу подошла Бижина. Суския потянулась к лани.

— Иди сюда, иди, красавица!

Лань насторожила уши и приблизилась. Суския погладила ее по спине, почесала за ушками.

Дядя Нико не сводил глаз с женщины и лани, восторгаясь щедростью природы, наделившей эти два существа такой совершенной красотой.

Дядя Нико уехал, а Коринтели и Суския, проводив его, пошли в сад. Коринтели нарвал роз.

— Султаны в дни свадеб осыпали своих невест золотом, — смеясь сказал он. — Так поступил и султан Кияс-эддин, он осыпал золотом внучку царицы Тамары, которую тоже звали Тамарой. Я не султан, золота у меня нет, — я осыплю тебя взращенными мною розами.

Обнявшись, они долго любовались режущей глаза белизной горного хребта. Сказочными крепостями и замками громоздились облака. Свет и тени перемещались и

создавали порой иллюзию того, что где-то на сверкающей вершине танцуют картули[1].

Далеко-далеко резвились молнии, похожие на драконов и оживившие в памяти Вахтанга миф о драконе, охранявшем сад Гесперид, в котором росли золотые яблоки...

Коринтели сказал:

— Помнишь Нагваревское ущелье, соловьиный оркестр, мшистый валун, приютивший нас...

— То был счастливейший день в моей жизни, — тихо ответила Суския.

К ним подбежали Ахилл и Бижина.

— Пока не родится мужчина, за которого поднял тост дядя Нико, мы вчетвером составляем семью: ты, я, Ахилл и Бижина, — сказал Коринтели.

— Да, верно... И еще Майя — пятая.

Взошла луна, а они все еще бродили по саду и любовались лунными бликами, которые скользили по цветам, деревьям, лозам.

— Будь я поэтом, — сказал Коринтели, — я бы обязательно сочинил оду в честь этого сада. Как часто я спасался здесь от кошмара, царившего в моем доме. Я работал тут с увлечением, а вечерами наслаждался тишиной, ароматом цветов...

Мир растений мне все же ближе мира животных. Природа не одарила растения голосом. Они не могут пожаловаться, что голодны или томимы жаждой. Они молча живут и молча умирают, встречая смерть стоя, как герои античных трагедий...

Суския посмотрела в сторону города и сказала:

— Как приятен аромат рехани[2]. Я люблю ее запах...

— А посмотри на капусту, — сказал Вахтанг, когда они подошли к огороду. — Ее кочаны похожи при лунном свете на стальные шлемы, не правда ли? Сейчас мне вид ее неприятен — шлемы напомнили о войне.

Суския не успела ответить. Раздался странный топот. Ахилл вскочил, но Коринтели быстро схватил его за ошейник. И тут же, опрокинув ограду, впереди метнулся олень.

— Нагни голову, — шепнул Коринтели Суски. — Не испугай его...

---

[1] Картули — грузинский национальный танец.

[2] Рехани — базилик, душистый василек, у кавказских народов применяется как приправа к пище.

Змеиное дерево заслонило их от оленя.

Добравшись до капусты, олень начал ее торопливо есть. Голова его то опускалась, то поднималась. Насытившись, он подошел к обрыву и был теперь хорошо им виден на фоне неба. Зверь повернулся в сторону Бермухи и вдруг затрубил во все горло.

Это была та самая олениха, которую Канкрэ разлучил с ее оленем. Казалось, она искала убийц своего друга, чтобы отомстить им.

Грозный рев оленя омрачил их души, напомнил о земном горе, о тысячах людей, разлученных навеки...

Вахтанг и Суския молча поднялись к себе. Радио передавало очередную сводку Совинформбюро.

На всех фронтах, от Баренцова до Черного моря, шли напряженные бои.

36. НАСЛЕДНИК

Вновь пришла в Кахетию царица-осень, где ее ежегодно ждет трон, украшенный гроздьями винограда, колосьями пшеницы, сочными плодами. Маджари[1] бродило в марани... Хмельной Гео ходил по селу, от дома к дому, и разносил чаще всего печальные вести...

На Белорусском фронте был убит колхозный счетовод Гамезардашвили. На Украинском фронте, в степи, при взятии вражеского блиндажа, пали смертью храбрых братья Марианишвили — Ион и Котэ.

В лесах Карелии, на финской границе, погибли братья Годердзишвили — Шио, Гиви, Закара.

В калужском госпитале скончались от ран бермухцы Кадагидзе, Иорамашвили, Надирашвили...

Наконец-то Нуну получила от Годердзи сразу несколько писем. В каждом из них он торопил ее перейти в дом дедушки, просил беречь себя, маленького Микелу и старика, дружить с сестренкой. Он интересовался колхозными делами, просил сообщить, кто кого замещает, благодарил за присланный табак. Не забывал он даже о своей собаке Мгеле, просил Нуну: «Собирай кости, корми ее».

Имя Годердзи Эланидзе как-то промелькнуло в га-

[1] **Маджари** — молодое неперебродившее вино.

зете, в очерке о героях грузинской дивизии, воевавшей под Нальчиком.

Из последнего полученного ею письма Нуну узнала, что Годердзи представили к ордену Ленина и присвоили звание лейтенанта.

«Я нахожусь в авиационном полку, — писал он. — Бомбим вражескую территорию. Подружился со старшим лейтенантом Буржинским. Его зовут Иван Николаевич, с ним делим радости и невзгоды...»

Потом прошло три месяца. От Годердзи — ни слова. Снова загрустила Нуну. Завидев Гео, она просила его:

— Как только придет письмо от Годердзи, сразу же беги ко мне: утром угощу тебя завтраком, днем — обедом, вечером — ужином. И накормлю и напою.

Она заставляла Гео креститься и клясться женой и детьми, что он сделает именно так, как она его просит.

Однажды она решила заглянуть к дедушке Микеле:

«Может быть, Годердзи думает, что я уже перебралась к дедушке, и посылает письма туда...»

Когда Баблиа сообщила старику, что пришла Нуну, он помрачнел.

— Чего она от меня хочет? — спросил он.

Старик не поинтересовался ее жизнью, не спросил даже о здоровье ребенка. На ее вопрос о письмах он мрачно ответил:

— Никакого письма от Годердзи не получал...

Услышав имя Годердзи, Теброния затараторила:

— Прошлой ночью явилась мне матушка-богородица. «Завтра приедет Годердзи»,—сказала она. Как только приедет Годердзи, заколю черную свинью, принесу ее в жертву Квакаца...

Не дождавшись весточки от Годердзи, Нуну после долгих колебаний сама написала Буржинскому.

Маленький Микела в то время болел, у него поднялась температура, и Нуну провела всю ночь возле сынишки. Уснула только под утро. Сквозь сон расслышала она, как кто-то звал ее во дворе:

— Уджираули, Нуну!

Всполошились собаки.

Вслед за воем раздался злой голос Кетуа:

— Чего орешь? Спит она. Проваливай...

Нуну быстро оделась, выбежала во двор. Гео осаж-

дали собаки. Его посох был сломан. Он отбивался от собак камнями и своей деревянной ногой.

Нуну отогнала собак.

— Я выполнил твою просьбу! — сказал Гео и, ухмыляясь, добавил: — Я еще не завтракал...

Гео вынул из своей черной сумки письмо, и Нуну увидела, что адрес написан не рукой Годердзи. Все поплыло перед глазами. Она покачнулась и чуть не упала.

Писал старший лейтенант Буржинский:

«15 августа самолет лейтенанта Эланидзе вместе с другими бомбардировщиками послали в тыл врага. Он попал в зону огня вражеской зенитной артиллерии, на аэродром не вернулся...»

Буржинский выражал сочувствие жене своего друга, призывал ее к мужеству, советовал не терять надежды... Нуну закусила губы, чтобы не закричать. Гео, взглянув на нее, молча удалился. Нуну продолжала стоять точно окаменелая...

Кетуа все это видела из окна своей комнаты и равнодушно мыла посуду.

И кто знает, сколько бы так простояла посреди двора Нуну, если бы не выскочил Малхаз и не напомнил ей о плачущем маленьком Микеле.

В тот же день Нуну надела черное траурное платье.

Через две недели «Мессершмитты» вторглись в голубое небо Кахетии, промчались над страной лоз и удалились в сторону Дагестанских гор.

Вахтанг и Суския кормили в саду Бижину. Мимо по улице шел Гео. Суския, заметив его, вздрогнула.

— Как бы и к нам не зашел этот черт! — сказала она. — Ведь у меня из девяти братьев и сестер остался в живых только один брат, я не переживу, если потеряю Автандила... Я видела когда-то картину «Ангел смерти» — высокий скелет со зловещей косой и черными крыльями. Похож на него Гео, не хватает ему только косы и крыльев. Знаешь, Вахтанг, не случайно дети, завидев его, разбегаются, словно воробышки, у которых над головой летит коршун.

— Эх, моя дорогая, — ответил Коринтели. — Бедный Гео ни при чем. Да погибнут те, кто навязал нам эту страшную войну! Мы вот сидим здесь, кормим лань, а люди сражаются и умирают на фронте. Каждый мужчи-

на должен быть там. Эх, если б я был здоров... если б меня взяли в армию!..

Суския повторила:

— Пойми! Если что-нибудь случится с Автандилом... Кто знает, быть может, нет его уже в живых!

Чтобы отвлечь жену от мрачных мыслей, Коринтели заговорил о другом.

— Посмотри на Кавкасиони, — и он простер руку. — Разве может с ним что-либо сравниться?! Как прекрасны его вершины. Глядя на них, я не раз утешался в те дни, когда ты была далеко от меня. Смотри, справа от Дагестанских гор — серое облако, похожее на тигра, готовящегося к прыжку. Левее — как бы белые мраморные бастионы, увенчанные башнями. А ниже — массив малахитового цвета, вершины которого будто вынырнули из синего моря. Жаль, что художники еще не сумели передать всю красоту этих гор...

Стемнело. Появились летучие мыши и, тихо попискивая, кружились над ними. Суския поежилась:

— Я люблю все живое. Змея, говорят, отвратительна, но я готова восхищаться ее гибким телом. А вот летучих мышей терпеть не могу и боюсь их. Может быть, это потому, что мне внушили страх к ним еще в детстве. Меня пугали тогда: летучие мыши забираются в волосы спящих женщин и сосут их кровь, а избавиться-де от них есть одно только средство — остричь волосы.

— Эта глупая сказка распространена по всему свету, — сказал Коринтели. — В одном случае — летучая мышь, в другом — вампиры, гарпии. А ведь наша летучая мышь — безобидное существо. И больше того — полезное. Она питается насекомыми, пожирает лесных, садовых, огородных и всяких других вредителей. Правда, на юге Европы я встречал летучих мышей-кровососов. Они подкрадываются к спящим голубям, оленям...

Но Суския не успокоилась.

— Откуда здесь столько летучих мышей? Я никогда не сплю из-за них.

— Они живут в пещерах, развалинах, в дуплах деревьев, на чердаках. Когда наступает осень, они прячутся в храме святого Георгия и под его сводами дожидаются весны.

— Брр! — брезгливо произнесла Суския и схватила мужа за локоть. — Пойдем, Вахтанг, уведем отсюда Би-

жину. А то эти проклятые мыши могут к ней привязаться.

— Повинуюсь! — ласково ответил Коринтели и бережно взял под руку жену.

Через день Коринтели съездил в Телавский институт, потом вернулся домой и продолжал работу над своей книгой. Никогда он не трудился с таким вдохновением, как теперь. Дома было тихо, уютно.

— Женщина с ангельским характером, — говорила о Сускии Майя. — И к больным бегает, и дома хозяйничает. Всюду успевает, никогда не раздражается...

Наступил день, когда Коринтели вошел в столовую и радостно сказал жене:

— Дело подходит к концу: через месяц закончу свой труд. К этому времени и ты разрешишься...

Шутя договорились: если родится сын, то назовут его Ростомом, в честь отца Коринтели.

Суския чувствовала себя плохо: тошнота, отечность, головокружение, отсутствие аппетита. Вахтанг настаивал, чтобы она взяла декретный отпуск. Но она и слушать не хотела: можно ли отдыхать в военное время?

Оберегая жену, Коринтели приказал шоферу и Майе не передавать Сускии письма, которые мог принести Гео:

— Все письма давайте мне.

Прошло несколько дней.

Поздно вечером он возвращался из Телави, и в воротах его встретила заплаканная Майя.

— Что случилось?! Да говори же скорей! — закричал Коринтели.

Майя разрыдалась:

— Хозяйку принесли на носилках с работы, она потеряла сознание...

Побледневший Коринтели вбежал в спальню. Суския старалась его успокоить:

— Теперь мне уже лучше, Вахтанг. Не волнуйся!

Но Коринтели видел, что лицо ее заострилось, глаза поблекли. Что делать? Первое, что пришло ему на ум, — послать машину в Телави за дядей Нико и тетушкой Текле. Тем временем из Кварели приехал районный врач. Он ввалился в столовую в калошах и пальто и сухо спросил:

— Кто тут больной?

Молча осмотрев Сускию, он отозвал Коринтели в сторону и мрачно сказал:

— Меня поздно вызвали. Сейчас нужно решить: кого спасать — ее или ребенка...

Коринтели беспомощно метался по комнатам. Суския опять потеряла сознание.

— Чего мы ждем, Вахтанг? — услышал он голос дяди Нико. — Беда на пороге дома. Нужно действовать!

— Что делать? — с мольбой спросил Коринтели.

— Как — что делать? Немедленно пошли машину в Тбилиси за профессором Шушания.

— Не опоздаем ли? Шушания — мой друг, у него своя машина. Пошлем молнию, — решил Коринтели.

— Пиши! — приказал дядя Нико.

Коринтели взял листок бумаги и ручку.

Дважды что-то он написал и разорвал написанное.

— Не могу, ничего не получается, — сказал он. — Дядя Нико, будь добр, напиши за меня!..

Состояние Сускии ухудшалось с каждым часом. Все это видели, и никто не мог помочь.

Майя и тетушка Текле молча плакали, Коринтели ежеминутно брал руку больной, ловил ее пульс и шептал:

— Суския, дорогая моя Суския.

Самым мужественным оказался дядя Нико.

— Как вам не стыдно! — говорил он. — Разве так можно? Вахтанг, вспомни-ка слова Руставели: «Против горя и напастей устоять твердыней надо...»

Ночью больная пришла в себя и узнала тетушку Текле, даже улыбнулась ей.

— Вахтанг так мечтает о ребенке, — сказала она, — что я готова умереть, лишь бы он остался жив. У меня нет матери, и я надеюсь, что вы, тетушка Текле, будете ходить за ним, как родная.

Потом она снова впала в забытье.

— Автандил, должно быть, погиб, — шептала она, пробуждаясь. — Пусть Вахтанг позаботится о моем несчастном отце... Сколько чужих детей я спасла от смерти. А кто спасет моего ребенка? Тетушка Текле, поклянитесь!.. Меня похороните в саду...

Она откинула голову и замолкла.

— Не говори такого, доченька, — успокаивала Сускию тетушка Текле. — Скоро приедет профессор Шуша-

ниа, он поможет тебе. Божья матерь не оставит тебя без своей защиты.

Профессор Шушаниа наконец-то прибыл. Вместе с ним приехала акушерка.

Профессор протянул руку Коринтели и, не обращая внимания на его опечаленный вид, сказал:

— Какой замечательный уголок отыскал ты! Рай тут, поистине рай.

Коринтели не знал, что ответить. Его удивляла беспечность друга.

— Как роженица? — спросил наконец Шушаниа.

— Плоха, очень плоха!..

Профессор энергично потирал руки.

— Эх, нарушаем мы обычаи дедов и отцов, — сказал он, — когда рожали наши матери, отцы отправлялись в леса. Охотились, отводили душу. А мы торчим дома, переживаем!

— Да, вы правы! — поддержал его дядя Нико. — Времена переменились!

Профессор Шушаниа вымыл руки.

— Был ли до меня врач? — спросил он.

— Приезжал районный, — отвечал Коринтели. — Он сказал, что нужно думать о том, чтобы спасти либо мать, либо ребенка...

— Э, страх не помощник в беде! — воскликнул Шушаниа и обратился к Майе:

— Пойди-ка к моей машине и приведи сюда женщину, с которой я приехал. Пусть она захватит саквояж с инструментами.

Тут к нему подошла тетушка Текле и запричитала:

— Умоляю, батоно, спасите и мать и ребенка!

— Я для того и приехал, чтобы спасти их, — спокойно произнес Шушаниа. — Хватит того, что мы столько людей теряем на войне. — Он надел белый халат и направился к Сускии. На ходу строго бросил:

— Кроме этой старушки, — он указал на Майю, — никого не впускать.

Коринтели стоял у окна и нервно барабанил пальцами по стеклу, пытаясь заглушить доносившиеся к нему из спальни стоны Сускии. Затем он, не надев шапки, вышел во двор.

Дядя Нико и тетушка Текле уселись под стенными

часами и наблюдали за движением стрелок. Мерно тикали часы. Они пробили восемь, и в этот момент раздался тонкий, пронзительный плач ребенка. Торжествующий и улыбающийся, вышел в столовую Шушаниа.

— Могу вас поздравить, — сказал он, — прибавился еще один воин для грузинской дивизии!

Тетушка Текле прослезилась и бросилась целовать его руку.

— Самим богом посланы вы к нам, батоно профессор, — бормотала она.

— Позовите отца ребенка, — сказал Шушаниа. — Вахтанг казался мне более храбрым мужчиной, а убежал, — не так ли?

Обрадованный Коринтели крепко обнял профессора.

— Мой род, — сообщил он, — находился на грани вымирания, у всех моих дядей — братьев отца — дочери. С вашей помощью продолжено существование рода Коринтели!

Быстро накрыли стол. Шушаниа острил, рассказывал анекдоты, шутя соревновался в питье вина с дядей Нико.

— Лучше не приучайте меня к этому киндзмараули, а то я буду часто совершать набеги на вас, — смеялся он.

Садясь в машину, он доверительно сказал Коринтели:

— Положение было катастрофическим. У роженицы острый токсикоз, эклампсия. Постарайтесь избавить ее от каких бы то ни было волнений. Через две недели заеду. Если будут осложнения, телеграфируйте, — приеду немедленно.

Тетушка Текле ни днем, ни ночью не отходила от Сускии и младенца. А дядя Нико жил между Гвелети и Телави — то здесь, то там.

Приближался день рождения Коринтели.

Дядя Нико предложил отпраздновать этот день. Хозяин не соглашался.

— Не такое время. Сейчас не до праздников!

Но как раз в день рождения Вахтанга, в субботу вечером приехали Зураб Араделн и отец Сускии Лука.

Собрались за столом. Отвечая на тост, растроганный Коринтели сказал:

— Мне кажется, что чья-то добрая рука сняла с моих плеч весь груз прожитых лет. Вся моя прошлая

жизнь — ничто в сравнении с тем, что я испытываю сейчас... Нельзя быть счастливым без детей. Ребенок — это то звено, которое связывает наше прошлое с будущим, тот мост, который их соединяет...

Дядя Нико заметил:

— Знаешь, Вахтанг, будь я на твоем месте, я бы не разрешил Сускии работать. Что ни говори, а семья требует хозяйки, которая постоянно занималась бы делами семьи. В особенности, когда появился ребенок. За ним нужен уход и уход. А наши женщины впадают в крайность. Одни из них бездельничают, как Медея, другие уж слишком трудолюбивы, как Суския. Я тебе не сказал, а ведь две недели назад Суския, оказывается, вешала занавеси в медпункте и упала с подоконника. Слава богу, что все окончилось благополучно.

— Я уже говорил Сускии, но она не согласна оставить работу, — ответил Коринтели. — Она любит свою профессию и не может жить без работы.

Арадели скептически отнесся к словам своего друга.

— Семья все же главное, — сказал он. — Кто только ни критиковал семью — Бальзак, Толстой, Ибсен, Стринберг, — но никто пока что не отыскал лучшей формы личной жизни.

Дядя Нико вставил:

— Критиковать старое иной раз куда легче, чем создавать новое. Люди более склонны ворчать, нежели довольствоваться тем, что имеют. Что такое новая семья, я, признаться, еще не знаю, а на старой держится мир...

Арадели продолжил свою мысль:

— Попробуй-ка разберись, где старая и где новая! Сколько недалеких женщин разрушало в прошлом свои семьи и губило себя под влиянием ибсеновской Норы или оказывалось в положении флоберовской мадам Бовари... Я — профан в литературе, но давно замечаю, что люди не всегда понимают то, чему подражают... Подражать великим в великом так же трудно, как, например, создать нечто равное поэмам Важа Пшавела. Но кому не хватит ума отрастить такую же бороду, какая была у него?..

С этим еще можно было согласиться, но дальше Арадели окончательно запутался и изрек:

— Что же касается счастья, то оно похоже на медузу: возьмешь ее в руки — и она исчезает...

Уския поправлялась и была уже готова подняться с постели. Вахтанг и тетушка Текле сдерживали ее, ссылаясь на то, что не истек еще срок, назначенный профессором Шушаниа.

Но вот решено было отметить рождение мальчика, и дядя Нико предложил:

— Пусть она хоть на крестины покажется нам.

Дядя Нико имел в виду не только себя и отца Ускии, но и приехавшего снова Зураба Арадели.

Уговоры Коринтели и тетушки Текле не помогли. Уския попросила Майю помочь ей одеться и пообещала мужу ровно через двадцать минут снова отправиться в постель.

Как только она вошла в столовую и, поздоровавшись со всеми, присела за стол, Арадели, глядя на нее, подумал: «Вот что значит молодость и здоровье. Ничего не скажешь — крестьянская кровь!» Яркие краски ее лица чуть поблекли, но тяжелые толстые косы, уложенные венчиком вокруг головы, горели все тем же пламенем лозы.

Уския вышла к гостям в простом, но со вкусом сшитом платье. Из драгоценностей на ней были только сердоликовый медальон с изображением Дианы, охотящейся на антилопу, да золотое кольцо на руке.

Во всем, что она носила, — от платья до туфель, — чувствовался вкус. Он сказывался и в том, как с ее приходом преобразился весь дом Коринтели — в нем стало просто, чисто, уютно. Мягкий, ласковый голос хозяйки как-то успокаивал и очаровывал.

Рядом с Ускией сидели Вахтанг и ее отец, старый Лука.

Своим несколько неуклюжим, но мощным телом этот человек напоминал фигуру со старинных барельефов грузинских храмов. У него были широкие угловатые плечи, короткая шея, крупная голова. Из-под седых бровей открыто смотрели большие, немного колючие глаза. Густая белая борода торчала лопатой.

Он чувствовал себя неловко в новом костюме, сшитом из отреза, подаренного ему Коринтели. Его деревенский портной не отличался мастерством, и костюм сидел на старом пекаре будто с чужого плеча.

Луку стесиял не только новый необычный костюм — ему непривычно было сидеть за столь торжественным столом, в таком обществе.

Старик почти ничего не ел и брался за пищу только тогда, когда ему о ней настойчиво напоминали. Вилкой он почти не пользовался, брал все руками, а когда упал кусок хлеба, он, не обращая ни на кого внимания, поднял его с пола, поцеловал и съел.

Лука, кроме того, был немного глуховат и старался меньше разговаривать. Но Коринтели время от времени обращался к нему и заставлял его отвечать на разного рода вопросы.

— Вы, говорят, недавно болели, отец? Извините, что не смог вас проведать.

— Я давно уж болею глазами, сынок, — отвечал тесть. — Ничего не поделаешь, профессия такая. Всякий труд, если к нему честно относиться, с годами приносит болезни. Доктора советуют мне оставить работу. Но как это — не работать?! Не привык я к тому, чтобы меня кормили чужие руки. Одно только горе: Автандил что-то давно не пишет. Жив ли он?

— А разве наши руки чужие вам? — возразил Коринтели. — Вы достаточно поработали на своем веку, пора и отдохнуть.

— Чурек[1] все любят есть, сынок, но не все хотят лезть в тонэ. Молодежь что-то не идет в пекаря. Во всем Телави нас только и осталось пять стариков, которые пекут грузинский хлеб. Если мы уйдем, кто же будет за нас работать?

Аradeли провозгласил тост за хозяйку. Суския сказала:

— Сижу среди вас и чувствую себя так, будто я снова родилась. Я ведь совсем была плоха и боролась со смертью не столько из-за себя, сколько из-за него — нашего маленького Ростома. Что только не сделаешь ради детей... — Она хотела еще что-то сказать, но Коринтели остановил ее:

— Хватит. Тебе вредно много говорить и волноваться. Твои двадцать минут истекли, пора в постель.

Суския согласилась:

---

[1] Чурек — пресный хлеб удлиненной формы, выпекаемый особым образом на стенках печи-тонэ.

— Ты прав, Вахтанг. У меня даже голова чуть-чуть кружится.

Коринтели и тетушка Текле поднялись, чтобы помочь ей выбраться из-за стола. В это время послышался лай Ахилла, и вслед за этим появился шофер Ясе.

— Пришла какая-то женщина с мальчиком и очень просит доктора, — сказал он нерешительно.

— Какого доктора? — возмутился Коринтели. — Доктор сам болен, понимаешь, болен. Отправь ее, Ясе.

Вмешалась Суския.

— Как это — отправь? Врач не имеет права так поступать. Нужно узнать, что случилось. Пусть войдет.

Коринтели повел плечами.

— Но ты ведь действительно больна.

Суския пропустила мимо ушей слова мужа:

— Попроси ее, Ясе!

Нуну в сопровождении Малхаза вошла в столовую.

— Что случилось? — кинулся к ней Коринтели.

— Несчастье, — заплакала женщина. — Вот уже три дня моего маленького Микелу душит что-то.

— Какая температура? — спросила Суския.

— Не знаю, но он весь горит, — произнесла сквозь слезы Нуну. — Если бы ему не было так плохо, я бы вас не беспокоила. Пыталась вызвать доктора из Кварели, но один болен, а другой уехал на какую-то конференцию в Тбилиси. Что делать? Такая беда! Муж погиб на фронте, родственники от меня отступились...

— Как, Годердзи погиб? — ужаснулся Коринтели.

— Да, погиб, — глухо ответила Нуну.

— А врач был у ребенка? — спросила Суския.

— Вчера был. Думает, что дифтерит. Обещал ввести сыворотку, да вот сам свалился.

— Подождите, я сейчас, только оденусь, — энергично произнесла Суския, направилась к спальне и попросила тетушку Текле помочь ей собраться.

Майя к тому времени подала на стол жареного индюка, но все забыли, разумеется, про еду — все, кроме Малхаза, который придвинулся к столу.

Сначала он проявил любопытство к люстре.

— Зачем вам столько света, дядя? — обратился он к Коринтели.

— Чтобы было светлее, — машинально ответил Коринтели.

— А у нас совершенно нет света, — заметил Малхаз.

Коринтели уловил его голодный взгляд.

— Хочешь кушать? Не стесняйся. Вот хашлама[1].

— Нет, я люблю индюшачью ножку, — сказал мальчик, и прежде чем ему дали ножку, он схватил со стола полный стакан вина. Опорожнив стакан, Малхаз с аппетитом принялся за индюшатину.

— Как тебе не стыдно! — прикрикнула на него Нуну и с силой потянула к себе.

Арадели шепнул дяде Нико:

— Эта женщина очень похожа на Сускию, правда?

— Ты прав, — подтвердил дядя Нико. — Я не раз встречал ее раньше, но не обращал на это внимания...

Тетушка Текле, последовавшая за Сускией в спальню, уговаривала ее:

— Не следует тебе никуда ездить. Ты ведь сама еще больна. Пусть Вахтанг даст ей машину, она съездит в Телави, привезет оттуда врача.

То же говорил и Коринтели:

— Я велю немедленно привезти врача из Телави. Тебе ехать нельзя. Дорога трудная. Да и к дому Нуну машина не подходит. Нужно взбираться тропинкой. На дворе ночь. Подумай, что ты делаешь?

Но никакие слова не действовали на Сускию.

— Нужно! — сказала она решительно. — Ребенку нужно немедленно ввести сыворотку, иначе он погибнет. Дорога каждая минута. Он болеет уже третий день. Нужно помочь бедняжке спасти ребенка. Я ведь сама мать.

Пытался вмешаться и дядя Нико:

— Если бы я был на твоем месте, Вахтанг, я просто запретил бы своей жене ехать сейчас к больному.

— Ты забываешь, что она не только жена, — сказал Коринтели. — Она и врач, и мать... Кроме того... — Он хотел еще что-то сказать, но дядя Нико перебил его:

— Она твоя жена, и это, я думаю, прежде всего и выше всего. Вы, конечно, можете считать меня отсталым человеком. Но как бы там ни было, я запретил бы ей ездить сейчас к больному. Она сама еле держится на ногах. Неужели вы этого не видите?!

[1] Хашлама — мясное блюдо.

Суския вышла из своей комнаты. Путь ей преградил отец.

— Я впервые в твоем доме, дочка, — сказал он хмуро, — и прошу тебя выполнить мою просьбу. Оставайся дома! Ведь говорит тебе муж, что он пошлет машину в Телави и доставит ребенку другого доктора.

Суския возразила:

— Пока привезут доктора из Телави, ребенок может умереть. Кто за это ответит? Ничего со мной не случится! Ты ведь сам, отец, только что говорил, что всякая работа требует самопожертвования. У каждого из нас есть свой долг. Не мешайте мне выполнить мой долг!

— Я только высказал тебе свое мнение, а ты уж, дочка, поступай как знаешь, — отступил старик.

Суския, Вахтанг, Нуну и Малхаз уселись в машину и уехали. Никто из оставшихся не вернулся к столу.

— Индюка-то, выходит, я жарила только для этого сопливого Малхаза, — сетовала Майя.

...Прошло уже два часа, а машина не возвращалась. Лил дождь. Дядя Нико велел Майе принести зонтик и галоши. Он решил отправиться в Бермуху и разузнать, что там случилось.

Тетушка Текле беспокоилась не меньше его: «Может быть, Сускии стало плохо?» И она поплелась за мужем.

Зураб Арадели тоже пошел за ними.

Дядя Нико первым заметил с крыльца светящиеся фары.

— Где Суския?! Что случилось с хозяйкой?! — кричала тетушка Текле, как только машина приблизилась.

Она успокоилась лишь после того, как открылась дверца и Коринтели осторожно помог жене выйти.

— Мы, кажется, вовремя поспели, — сказала Суския, облокотившись на его руку и входя в дом. — Сыворотка, вероятно, подействует. Без нее он бы погиб...

Подал голос маленький Ростом. Суския быстро переоделась, тщательно вымыла руки и принялась его кормить. И тут она почувствовала, что с ней творится что-то неладное. Немеют ноги, немеет все тело...

Профессор Шушаниа прибыл на рассвете. Осмотрев больную, он подошел к Коринтели, который грустно стоял у письменного стола в своей комнате.

— Садись, — строго сказал ему Шушаниа.

Коринтели присел.

— Откровенно говоря, я просто удивлен твоим поведением, Вахтанг. Мужчина не должен быть на поводу у женщины. Я ведь предупреждал, что ей по крайней мере две недели надо находиться в постели... Меня крайне беспокоит, мой друг, состояние твоей жены. Зря она так рано поднялась да еще бог знает куда поехала. У нее ведь были очень тяжелые роды...

Он, как маятник, ходил из одного конца комнаты в другой.

— А что же с ней теперь? — спросил Коринтели.

— Как тебе сказать? Думаю, что это послеродовой тромбофлебит. Важно, чтобы тромб рассосался, чтобы не образовалась закупорка коронарных артерий сердца или сосудов мозга.

И по тому, как медленно и тяжело произносил врач эти слова, Коринтели понял, насколько опасно положение его жены. Холодный пот выступил у него на лбу.

Профессор Шушанна прописал больной компрессы, пиявки и уехал, решительно отказавшись от завтрака.

Суския то лежала в полузабытьи, то спала. Ее разбудил плач ребенка, которого передали уже на попечение кормилицы. Суския с трудом приподняла веки, и тут впервые мелькнуло у нее в голове: «Это конец...»

У ее постели дежурили Коринтели и тетушка Текле. Она не сразу узнала их. Потом тихо спросила:

— Нет ли письма от Автандила?

Из глаз ее вдруг покатились слезы. Она не в силах была их сдержать.

— Вахтанг, почему ты так далеко сидишь от меня? Придвинься, милый!

Коринтели переставил стул.

— Ты береги нашего малыша, — произнесла она, протянула ему руку, словно прощаясь, и закрыла глаза.

Потом, боясь, должно быть, забыть что-то важное, она, не открывая глаз, отрывисто сказала:

— Похороните меня в саду... Там, возле унаби... Пусть Ростом и Бижина чаще приходят к могиле...

Коринтели поцеловал ее в горячий лоб.

— Не предавайся печали, Суския! — пытался он ее успокоить. — Думай о жизни. Ты поправишься, ты ведь так нужна и мне, и сыну...

Она ничего не ответила.

— Выгоните летучих мышей. Они вцепятся в мои волосы! — жаловалась Суския.

Никаких летучих мышей не было, но она успокоилась только тогда, когда тетушка Текле и Майя сделали вид, что полотенцами изгоняют мышей.

Ночью ей почудилось, что на балкон их дома, тяжело ступая, поднялся Гео. На плече у него, как всегда, висела черная сумка... Гео вдруг превратился в ангела смерти. За его спиной распростерлись черные крылья. Он приложил ко рту длинную трубу и зловеще протрубил: «Убит капитан Автандил Миндели».

Суския судорожно зарыдала.

На рассвете ее разбудил рев оленя. Она повернулась к окну и увидела за окном янтарные гроздья винограда, отсвечивающие рубином плоды унаби, розовощекие персики, огнем пылающие розы. Красно-желтыми листьями было покрыто изогнутое дерево у обрыва, а на обрыве стояла самка оленя...

Муж и тетушка Текле находились рядом. Они дремали в шезлонгах.

«Пусть отдохнут!» — подумала о них Суския, но тут ей почудилось, что в комнату снова ворвались летучие мыши. Они повисли вниз головой на хрустальных подвесках люстры, потом упали к ней на кровать, вцепились в ее волосы, в грудь...

— Помоги, Вахтанг! — душераздирающе закричала она.

Коринтели и тетушка Текле вскочили.

Суския была мертва.

Коринтели спустился в сад. Он срезал все оставшиеся там поздние розы и осыпал ими чело Суския.

38. МЕСТЬ АБРИА-ЗЛОЯЗЫЧНОГО

Нуну вместе с другими колхозными бригадирами вызвали в Кварели на совещание. На кого же оставить сынишку?

Маруа заупрямилась: у нее, мол, износилось последнее платье, а в кооператив привезли маркизет, и ей нужно постоять в очереди.

— Присмотри за ребенком, а я привезу тебе маркизет из Кварели, — пообещала ей Нуну.

Маруа призвала в свидетели ангелов.

— Ни на минуту не оставлю твоего Микелу, только привези маркизет!

Случилось так, что совещание отложили и Нуну с тем же автобусом, с каким уехала, вернулась в Бермуху.

Она вошла на отцовский двор. Собака лежала у порога. Из дома — ни звука. Кроватка ребенка пуста.

Нуну решила, что ее сынишка, должно быть, у Маруа, так как Кетуа с мужем собиралась уехать в Тбилиси, а Малхаз заболел малярией.

Нуну хотела спросить Малхаза, но он крепко спал, и она лишь нежно погладила его по щеке. Мальчик застонал во сне и повернулся на другой бок.

Нуну поспешила к соседке. Не переводя дыхания поднялась она по крутой тропинке. Навстречу ей с лаем выскочила огромная овчарка.

— Маруа! — крикнула Нуну.

Но ей никто не ответил. Судя по всему, никого дома не было. Только ненавистные Нуну свиньи копались в огороде. Нуну встревожилась: куда подевалась эта Маруа? Когда заходит речь о работе в колхозе, то у нее появляются десятки причин, чтобы отсидеться дома, а освободишь ее, так она и минуты не задержится на одном месте, все бегает по селу и разносит сплетни.

За холмом живет Пело, подруга Маруа, такая же бездельница и сплетница.

«Может быть, Маруа отправилась к ней и Микелу с собой прихватила?» — подумала Нуну.

Только стала она взбираться вверх, видит — идут Маруа и Пело и о чем-то беззаботно болтают. В руках у Маруа сверток и мешок. А где же ребенок?

— Куда ты дела Микелу? — испуганно спросила Нуну.

— Микелу? Никуда не девала, — спокойно ответила Маруа. — Он остался с Малхазом.

Нуну побледнела. У нее перехватило дыхание.

— Как с Малхазом? Ты ведь обещала не отходить от него. Малхаз болен, он спит, а ребенка нет... Зря я тебе привезла маркизет...

— Мы с Пело побежали за маркизетом, — оправдывалась Маруа, — да вот купили еще по десять кило соли. Ты ведь знаешь, когда придет время резать и солить свинью, то нигде не сыщешь соли...

— Да что ты мелешь мне про соль! — возмутилась Нуну. — Ребенок пропал, понимаешь!

— Никуда он ие денется, — махнула рукой Маруа. — Зря волнуешься.

Но маленького Микелы действительно нигде не было. И вместе с Нуну плакала уже и Маруа.

— А что, если его забрала к себе Баблия? — сказала Маруа. — Она ведь иногда приходила посмотреть на своего племянника.

Нуну готова была этому поверить.

«А может быть, и в самом деле пришла Баблиа и, увидев, что ребенок один, взяла его к себе...»

Ободренная этой надеждой, она побежала к дому дедушки Микелы. У ворот ей почудился детский плач, и лицо ее уже сияло от радости.

— Баблиа, эй, Баблиа! — звала Нуну.

Первой показалась Мгела. Она узнала Нуну и ластилась к ней, приветливо виляя хвостом. Нуну обняла собаку и поцеловала ее в голову. Тут появилась Баблиа. Она и обрадовалась Нуиу и удивилась. А когда узнала, что привело ее сюда, опечалилась.

— Я не была у вас и ребенка не видела.

У Нуну совсем опустились руки.

Что же все это значит? В голову лезли разные мысли. Может быть, мстит Канкрэ. Приехал на машине и похитил ребенка. Но она тут же вспомнила слова Маруа: «Канкрэ работает в Тбилиси экспедитором, живет себе припеваючи, подумывает о женитьбе».

Зачем же ему нужно было связываться с ее ребенком?

А может быть, это дело рук Кетуа и ее мужа? Они ведь отправились в Тбилиси. Не взяли ли они с собой ребенка, чтобы отдать его там каким-нибудь бездетным людям? Бывает ведь и такое.

У конторы колхоза ее нагнала жена Лалбацы Тетро. Она, оказывается, тоже собиралась в Тбилиси, но в автобусе не нашлось места.

— А Кетуа с мужем уехали? — спросила Нуну.

— Да, они пришли раньше меня, — ответила Тетро.

Нуну не успела рассказать ей о случившемся. Ее увел к себе Тедо.

— Перестань плакать, — сказал он. — Слезами делу не поможешь. Я разговаривал с Хидашели. Он обе-

щал приехать по старому делу Абриа. Я потороплю его.
И он взялся за ручку телефона.

Прокурор допросил всех соседей Нуну, но никто не мог ничего сообщить о таинственном исчезновении ребенка. Все твердили одно и то же: «Не видели», «Не слышали», «Не знаем».

— Ну-ка, покажите теперь вашего братца! — обратился к Нуну Хидашели.

Малхаз поднял голову и пытливо посмотрел на знакомого уже ему дядю.

— Маруа, помню, принесла ко мне мальчика, положила его и ушла. Остальное не помню.

Хидашели ласково посмотрел на него.

— Не говорила ли тебе что-нибудь тетушка Маруа?

Малхаз призадумался:

— Говорила. Побегу в лавку и скоро вернусь.

— Прекрасно. И больше ничего?

— Ничего.

— И тетушка Маруа больше не возвращалась?

Малхаз причмокнул и отрицательно качнул головой.

— А маленький Микела плакал?

— Да, очень плакал.

— Долго?

— Нет, он скоро замолчал.

— Теперь скажи, после того, как ушла Маруа, не приходил ли еще кто-нибудь в эту комнату?

Мальчик покачал головой: никто, мол, не приходил.

— Не плакал ли и после этого маленький Микела?

— Я спал, а когда проснулся, услыхал его плач, но уже из другой комнаты.

— Как — из другой? Значит, кто-то перенес его туда. Не так ли?

— Не знаю.

— Как так? Не мог же грудной Микела сам уйти из твоей комнаты?

— Да, конечно. Я слышал чьи-то шаги и чей-то разговор.

— Чей? Припомни, — насторожился Хидашели.

— В комнатах было темно. Но мне кажется, что там была моя мама и дедушка Абриа. Они вместе и вышли.

Хидашели попытался закрепить это неожиданное показание и попросил Малхаза повторить его. Но тот стал

тут же отнекиваться, ссылаться на то, что у него болела голова и он, возможно, все это видел во сне.

Хидашели не отступал:

— Твоя мама и дедушка Абриа были здесь?

— Не помню, — отвечал Малхаз.

— Но плач ребенка ты слышал?

— Да, слышал.

— Он плакал в этой комнате или в той, маленькой?

— Сначала в этой, а потом в той.

Из всего сказанного трудно было что-либо понять: люди видели, как утром Кетуа с мужем садились в автобус, уходящий в Тбилиси; Абриа, как все предполагали, находился сейчас в Горной Тушетии.

Прокурор позвал в сени председателя колхоза.

— Вот беда, наших ищеек передали военному ведомству! А они могли бы нам очень помочь в этом деле.

Тедо сказал:

— Хорошая собака у профессора Коринтели. Вы ведь помните, мы ее брали в прошлом году. У него, правда, большое горе — умерла жена, не хотелось бы его беспокоить. Но если вы попросите, он не откажет.

— Мне как-то неудобно к нему обращаться, — ответил Хидашели. — А Коринтели, конечно, не откажет.

Тедо подумал и решил:

— Раз дело не терпит, я пойду... И Нуну возьму с собой.

На лестнице они встретили Майю.

— Хозяин работал до утра и только недавно заснул, — сказала она. — Приказано его не будить.

Тедо уговаривал ее:

— Срочное дело, понимаешь? У Нуну пропал ребенок. Нужна собака вроде вашего Ахилла. Разбуди! Я буду держать перед ним ответ.

Майя колебалась. Но слова Тедо и вид Нуну убедили ее.

Через несколько минут она ввела их в столовую. Со стены смотрел портрет Сускии. Нуну вспомнила, какой она была в тот вечер, когда, еле держась на ногах, поехала спасать ее ребенка. Глаза ее наполнились слезами.

Появился Коринтели. Он заметно похудел. Лицо у него заострилось. Он с удивлением посмотрел на Нуну, потом на Тедо.

— Что случилось?

Нуну молчала. Тедо рассказал ему о чрезвычайном происшествии. Коринтели был потрясен.

— Я сам пошел бы с вами, но чувствую себя плохо.

Он сам взял Ахилла за поводок и вручил его подоспевшему милиционеру.

Не прошло и часа, как вернулся Тедо и передал Коринтели, что его Ахилл никому не повинуется, — кинулся на прокурора, изодрал ему брюки.

Пришлось отправиться самому.

Когда Коринтели пришел к Нуну, Хидашели приказал милиционеру пойти в дом Абриа и принести оттуда его ботинки или какую-нибудь одежду.

У Мао, жены Абриа, упало сердце от одного только вида милиционера. И она обрадовалась, узнав, что ему ничего от нее не нужно, кроме старых сапог и старой одежды ее мужа.

Коринтели дал понюхать собаке старье. Потом он громко крикнул:

— Ахилл, шерш!

Пес сначала повертелся по комнате, потом выскочил в сени. Все последовали за ним.

Ахилл пробежал кривые чернохуторские улицы и тропинки, оставив в стороне колхозный сарай для саженцев, направился к Лисьему оврагу, перебежал мостик, взял подъем и вышел на шоссе. Затем он прошел мимо развалин Мамукского дворца, закружился почему-то у храма святого Георгия и зигзагами достиг Оленьего озера. Тут он, сделав круг, побежал в заросшее камышом болото и направился к большому дереву.

Медведи, видать, задрали здесь корову. Кое-где валялись еще куски разодранной туши. На месте медвежьего пиршества сейчас восседали орлы. Можно было подумать, что опустели на время Кавказские горы: здесь были облысевшие ягнятники, серые и черные сипы... На ивах примостились вороны. В воздухе кружились коршуны и соколы. Слабые ждали, пока насытятся сильные и уступят им свое место.

Коринтели, Хидашели, Тедо и Нуну следовали за собакой. И вот Коринтели замер. Трудно было сразу определить: явь ли это или кошмарный сон.

К зарослям ежевики скользила, подняв высоко свою приплюснутую голову, огромнейшая гюрза. Ее крохотные

глазки сверкали на солнце алмазами. Серое ее туловище было покрыто вдоль спины черными пятнами.

Ее увидел и Хидашели. Недолго думая, он выхватил револьвер и выпустил в змею подряд две пули. Ее тело, словно подброшенное штормовой волной, взлетело вверх и шлепнулось о землю.

Хидашели выстрелил еще раз. Извиваясь на одном месте и вздрагивая, гюрза боролась со смертью.

При звуке выстрелов лес всполошился.

Вой и крики неслись из сотен глоток. А когда установилась тишина, Коринтели услышал детский плач.

В зарослях ежевики, куда направлялась змея, плакал завернутый в тряпье маленький Микела.

Кетуа одна вернулась из города. Она бродила с завязанной головой, жаловалась на головные боли. Вечером она по секрету сказала Маруа, что в городе поругалась с мужем, тот избил ее и бросил одну на улице.

Но через три дня в кабинете прокурора раскрылось нечто другое.

— Коберидзе не давал мне и мужу покоя, — показала Кетуа. — Он настаивал на том, чтобы мы выдали за него Нуну. Но для этого нужно было освободить ее от ребенка. Мы целый месяц ломали голову, как это сделать. Нам помог Абриа. Он припомнил один старинный тушинский обычай и сказал: «Будем придерживаться обычаев предков, вверим змее судьбу ребенка Годердзи». Я с самого начала была против этого, хотела увезти его в Тбилиси и устроить там у кого-нибудь, но Абриа сделал по-своему...

Кетуа всячески стремилась выгородить себя и своего мужа, но под конец призналась, что он действовал вместе с Абриа. Ушверидзе уговаривал ее: стоит только убрать ребенка, Нуну выйдет замуж за Коберидзе, и они смогут продать дом и переехать наконец в Тбилиси.

...Несколько раз почтальон Гео приносил Абриа Уджираули вызов в прокуратуру, но ни разу не застал его дома. Приходил и милиционер. Абриа искали по всей Кахетии и в Горной Тушетии, но обнаружить его так и не удалось.

39. MYSTERIUM MAGNUM[1]

В горах бродили не только звери, но и разного рода люди, похожие по облику своему на зверей. От них между прочим ползли ядовитые слушки о том, что колхозы скоро будут уничтожены и вот-вот восстановят частную собственность.

Ядовитые эти слушки доползли до Бермухи и кое-кому замутили голову.

— Что нам виноградная лоза? — снова слышалось на колхозных собраниях. — Овец негде пасти! Надо гнать отары на Северный Кавказ, а там — война. Выкорчуем виноградники и снова превратим наши земли в пастбища. А другую часть займем под хлеб и кукурузу. Да и с колхозом пора кончать.

Настроения эти подогревались трудностями, какие возникали в колхозе, — не хватало рабочих рук, мало было средств... Новоселы — хевсуры, тушины, пшавы — не умели и не привыкли ухаживать за лозой. Их нужно было этому учить, и учились они с неохотой.

Нуну стала первой помощницей неутомимого Тедо. Он всегда ставил ее в пример другим женщинам, которые, потеряв на фронте близкого человека, предавались отчаянию, переставали работать в колхозе. Кое-кто злословил по адресу Нуну, называл ее «выскочкой».

Редко заглядывал на свой испытательный участок Коринтели. После смерти Сускии он находился в подавленном состоянии, забросил свою работу над книгой, появлялся небритым, в неглаженном костюме и даже не стеснялся ездить в таком виде в Телавский институт.

Кормилица плохо следила за ребенком, и маленький Ростом часто болел. В таких случаях Коринтели вынужден был все бросать и заниматься только сыном.

Заботливая Майя оставалась в доме. Но с тех пор, как она потеряла на войне трех своих внуков, и ее трудно было узнать.

Грузинский сельскохозяйственный институт настойчиво предлагал Коринтели кафедру агробиологии. Ему нужно было, конечно, изменить обстановку, да и самому хотелось уехать. Но он еще не чувствовал себя в силах взяться за такую большую работу.

---

[1] Великое чудо (латинск.).

В один из дней приехал Цихистави. Коринтели сидел за маленьким столиком в саду и что-то читал.

Гость извинился за то, что помешал.

— Когда закончите свою книгу, Вахтанг? — спросил он.

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Горе, как, впрочем, и счастье, не способствует работе. Я так устал, что могу вот-вот свалиться. К дереву можно поставить подпорку, а с человеком что делать?

— Я думаю, что такой подпоркой для человека может служить труд, вера в то дело, которому он весь отдается, — сказал Цихистави.

— После смерти Сускии мне опротивел даже мой собственный дом, — ответил Коринтели. — Здесь на всем следы ее заботливых рук; эти фруктовые деревья она поливала, за этими розами ухаживала. Я, как видите, впал в сентиментальность. Знаю, что это не годится. Но если человек не раскроет своего сердца ближнему, то его задушит горе.

— Все это мне понятно, Вахтанг, — сердечно сказал Цихистави, — но от вас же я не раз слышал, что силы мужчины в его уменье превозмочь горе, продолжать борьбу и, я бы добавил, сохранить бодрость духа.

Майя принесла вино и фрукты.

— Всё это так, — вздохнул Коринтели. — И я не отказываюсь от своих слов. Но мне думается, что легче будет, если я уеду отсюда. Здесь все напоминает о ней. Свой дом и сад я отдам для сельской библиотеки.

— Не торопитесь, Вахтанг, — Цихистави положил ему руку на плечо. — Если бы было другое время... А теперь?.. Потерпите еще немного. Мы сломим шею врагу. Здесь поселятся десятки тысяч новых людей. Всюду — в Бермухе, Гвелети, Мамуке — зацветет виноградная лоза. Не вы ли сами говорили: «Любовь к родине надо доказать делами, а без дела — это абстракция». То-то! Надо довести дело до конца.

— Это верно, — сказал Коринтели.

— Наша победа зависит не только от тех, кто воюет с оружием в руках, но и от вас, оставленных трудиться в тылу. Не так ли? — сказал Цихистави.

— Воистину так! — ответил Коринтели.

— Я тоже очень устал, — признался Цихистави. —

Ведь я уже больше десяти лет работаю в этом районе. Но разве можно думать сейчас об уходе?

Он торопливо взглянул на часы. Нужно было ехать.

Коринтели попросил его задержаться на обед.

— С удовольствием остался бы, — сказал Цихистави, — но отары нашего района отправились в Горную Тушетию. Мне нужно быть в Алвани, а оттуда еще два дня верхом ехать.

Они простились, и Коринтели снова принялся было за книгу. Но вскоре он отложил ее и пошел по саду. Он думал о том, что говорил ему Цихистави, думал и корил себя.

«Вот и досталось тебе, Вахтанг Коринтели. Тебя, оказывается, нужно еще учить уму-разуму. Более десяти лет не покладая рук трудится этот человек в районе, мужественно преодолевает тяготы и лишения. А ты здесь всего лишь два года и сделал не так уж много. Нельзя поддаваться своим интеллигентским капризам. Ученость не освобождает человека от тех обязанностей, какие возлагает на него родина».

В тот же день Коринтели отправил письмо директору Грузинского сельскохозяйственного института. Он уведомлял, что пока не может покинуть Гвелети.

После отъезда Цихистави Коринтели стал собирать колхозных бригадиров и звеньевых и заниматься с ними. Его все чаще и чаще можно было встретить в виноградниках. Он тщательно наблюдал за состоянием лоз, определял, чем они больны, и учил людей тому, как бороться с болезнями.

Как-то после очередных занятий слушатели попрощались с профессором и направились к сараю, чтобы сдать Гайозу свой инвентарь.

Коринтели, расставшись с товарищами, пошел меж рядами молодых лоз, радуясь их росту.

Ему повстречалась Нуну.

Сколько раз он видел ее в последнее время! На ней было обычно старенькое ситцевое платьице. Она то таскала колья, то держала в руках секатор или распылитель, то стояла над какой-нибудь неумелой женщиной и показывала ей, как нужно подрезать лозу.

И каждый раз, встречаясь с нею, он испытывал чув-

ство какого-то беспокойства. Ее поразительное сходство с Сускией волновало его.

Вот и теперь, она находилась возле него, измазанная яркой «парижской зеленью», с опрыскивателем на спине. Глаза ее закрывали большие целлулоидные очки.

— Что это значит, Нуну? Ведь вы свое уже отработали, — удивился Коринтели.

— Как понимать — «свое», — ответила она. — У тетки Габедаидзе сына на фронте убили. Она не вышла на работу, а я сегодня весь день на микроучастке пробыла. А сюда только сейчас поспела.

— Спасибо, — поблагодарил Коринтели, — на лозах уже сказывается ваша забота.

На следующий день они встретились у колхозного сарая и укрылись в нем от внезапно хлынувшего дождя. Как всегда, здесь был Гайоз. Он тихонько потягивал вино из кувшинчика. Увидев профессора, Гайоз принес и поставил перед ним табурет. Но Коринтели предложил его, конечно, Нуну. Но и она не присела.

— Может быть, отведаете холодного вина? — сказал Гайоз.

— Не беспокойся. Если хочешь быть полезным, то, будь добр, пошли какого-нибудь мальчика за моей машиной. Она стоит у почты.

Гайоз отправился на поиски мальчика. Коринтели остался с Нуну.

— Я краем уха слышала, что вы часто болели эту зиму, — первой заговорила Нуну. — Мне так хотелось вас проведать, но я не посмела, стеснялась.

— Спасибо за сердечное участие, — ответил Коринтели и закурил.

— Я многим обязана вам и особенно вашей покойной жене, — продолжала Нуну. — Если бы не она, мой ребенок погиб бы. А вы вторично спасли его... Если вы не возражаете, я буду иногда приходить к вам и помогать по хозяйству. Майя, говорят, слегла. Я могу присмотреть и за вашим малышом. Мне теперь легче, приехала тетушка из Шильды. Она — бездетная вдова.

Коринтели был растроган.

— Благодарю вас, Нуну. Тетушка Текле нашла уже кормилицу. А Майя поправляется. Вы лучше расскажите, что хорошего в вашей жизни?

— Хорошего — ничего, — ответила Нуну. — Вот по

ночам какой-то тип приходит иногда и стучится к нам в дверь, — продолжала она после некоторого раздумья. — Пугает, должно быть...

Она улыбнулась. Коринтели хотел расспросить ее об этом поподробней, но явился Гайоз и передал, что машина прибыла.

Следом за ним пришел Ясе.

— Посылку получил? — спросил его Коринтели.

— Она в машине, — ответил Ясе.

Коринтели сел рядом с Нуну.

— Какие-то книги прислали из Тбилиси, — показал он ей на большую связку.

Машина покачивалась из стороны в сторону. Он чувствовал временами близость Нуну, и она была ему приятна, хотелось сделать что-нибудь хорошее для этой трудолюбивой и так много перенесшей женщины.

Проводив Нуну до дому, Коринтели пожал ей руку и сказал:

— Никого и ничего не бойтесь, Нуну! Будьте стойкой в жизни. Мы обязательно поймаем того негодяя, который мешает вам спать.

Вернувшись домой, он, перед тем как лечь, взглянул на портрет Сускии и подумал: «Как необычайно искусна природа! Она может сделать двух разных и совершенно чужих людей такими похожими. Сколько существует исключений в тех законах, которые считают незыблемыми наши биологи и агрономы».

— Mysterium magnum, — задумчиво произнес он вслух.

Коринтели оживал. После завтрака он, как прежде, надевал свою рабочую одежду, влезал в охотничьи сапоги, клал в карман секатор и уходил до обеда.

Каждый человек, как известно, склонен к самооправданию. И Коринтели долго пытался уверить себя в том, что с ним не происходит ничего особенного, что все остается как было, что Нуну вызывает в нем только чувство сострадания. В действительности же ему, конечно, хотелось заполнить ту пустоту, которая образовалась в его жизни после смерти Сускии.

Он искал встреч с Нуну, пристально вглядывался в нее, ловил каждое ее слово и находил, что голос у Нуну такой же мягкий, грудной, как у Сускии, с таким

же низким тембром. Даже смех у нее такой же переливчатый. Когда Нуну поворачивала лицо к солнцу, то и глаза прищуривала, как Суския...

Возвращаясь из Телави, он торопил шофера, нетерпеливо поглядывал на часы и иногда, минуя дом, спешил к виноградникам. Если ее там не было, он волновался: «Не заболела ли? Не случилась ли какая беда?»

Встретив ее, он старался как можно дольше оставаться с ней, рассказывая ей разные новости, делился своими впечатлениями. Часто, вернувшись домой, он терзался мыслью: «Как можно влюбиться в женщину, которая только внешне напоминает твою бывшую жену? Это недостойно серьезного человека. Да и может ли быть настоящим это чувство? Не стоит ли за его спиной тот самый дьявол, который советовал Христу прыгнуть с обрыва в пропасть?» И он искренне тогда произносил:

— Господи, избави мя от искушения!

Как-то шел Коринтели рядом с Нуну и говорил с нею о своих агробиологических наблюдениях над химическими реакциями в почве, над метаморфозами листьев и цветов, над формированием плодов и корневой системы.

— Если помните, Нуну, в позапрошлом году, на мельнице Ниортавы, я говорил вам о той чудодейственной силе, которую древнегреческий поэт Гомер приписывал колхидскому вину.

Мы живем в такую эпоху, когда то, что некогда казалось сказкой, превращается в действительность.

Нуну ловила каждое его слово, стараясь вникнуть в их смысл. Она, конечно, многого не понимала, и Коринтели старался ей разъяснить.

— Если надолго оставить в сосуде виноградную мезгу, то на стенках осядут кристаллы, — продолжал он. — Их применяют для получения пьезоэлектрических эффектов. Из кристаллов изготовляют пластинки, прикрепляют к ним электроды, и они становятся способными реагировать на звуки, идущие со дна океана. Как видите, виноград — не только продукт питания.

Нуну понимающе кивнула головой.

— Мне это не приходило в голову, — сказала она. — Казалось, все очень просто: посади лозу, обрезай, опрыскивай, собирай урожай, дави вино — и все. А что там дальше, я и не думала...

— О, лоза — это хитрая штука, — сказал Коринте-

ли. — Вон посмотрите, полезла на персиковое дерево, сама ищет благоприятных условий для роста, и никто ее этому не учил. А вот поглядите на те низкорослые лозы. Они сами ползут, находят колья и проволоку и хватаются за них. Ловки и неприхотливы эти лозы ркацители, и потому-то их особенно любят в Грузии.

Когда-то, в средние века, — продолжал Коринтели, — о земле и ее обитателях говорили «mysterium magnum» — великое чудо. Да, так оно и есть. Все то, что постоянно происходит в природе, к чему мы привыкли, что считаем само собой разумеющимся, является на самом деле великой тайной. Плод падает с дерева. Что здесь, кажется, особенного? Но Ньютон, наблюдая это, открыл закон всемирного тяготения.

А разве эта высокая ветвистая лоза не чудо? — Коринтели нагнулся и оглядел ее. — Возьмите хотя бы ее листья. Все они кажутся одинаковыми, вырезанными всевышним по одному образцу. А в действительности все они разные.

— Mysterium magnum, — повторил Коринтели. — Все, что вокруг нас, и мы сами — великая тайна, шаг за шагом разгадываемая наукой.

Взлет и падение, тождество и противоположность, тяжесть и легкость, атом и вселенная, весь огромный мир, наполненный красками, звуками, находящийся в вечном движении, мир, который стал нам родным домом, где мы живем, любим и ненавидим, радуемся и страдаем, но который не можем оставить без слез, — разве все это не поистине великая тайна?!

40. ПОДВИГ ВАХТАНГА КОРИНТЕЛИ

Цихистави возвращался с Алазани, и у села Абано на его машину напали бандиты. Завязалась перестрелка.

Тяжело раненным оказался некто Лексо Габедаидзе, — бандиты, бежав, бросили его на дороге. Раненого отправили в больницу.

Спустя несколько дней в районе Оленьего озера кто-то убил самку оленя. Местные чабаны заметили в горах незнакомого человека, у которого голова была обмотана башлыком. Трудно было издали определить, кто он.

Потом началась пора дождей. С утра над Дагестан-

ской горой собирались тучи и располагались лагерем над гигантскими щетками ельника. Они сгущались и становились черными, похожими на путников, восседающих на верблюдах. Небо опускалось все ниже.

Просыпался мирно дремлющий Кавкасиони. Чудилось, будто на каждой из его вершин установлена пушка и из нее палят. Канонада нарастала. Яростно грохотали горы. Казалось, они сами обрушились на врагов.

На дороге, как говорилось, был ранен Лексо Габедандзе, а нашлись люди, которые передали Коринтели, что в стычке ранен Цихистави. Коринтели чувствовал себя в это время плохо, у него поднялось давление. Но он, не обращая внимания на болезнь и грозу, разразившуюся в горах, поехал в Кварели.

Он был несказанно рад, встретив в райкоме совершенно здорового Цихистави. Обрадовался ему и Цихистави.

Кто знает, как долго просидели бы они за дружеской беседой (Цихистави посвящал Коринтели в дела района), если бы не раздался протяжный и резкий телефонный звонок. Цихистави поднял трубку, и сразу же на его лицо легла тень тревоги.

Из Бермухи сообщили, что какой-то злоумышленник перекрыл канал Гвелетской ГЭС, вода хлынула в Бермуху и готова затопить село и виноградники.

Цихистави и Коринтели поспешили в Бермуху.

...Бушевала гроза. Будто разверзлись хляби небесные и угрожали земле новым потопом. Ливень рушил скалы. Дорогу завалило камнями. Пришлось оставить машину и идти пешком по колено в воде.

Промокшие до костей, прибыли они наконец в Бермуху и увидели там страшную картину: улицы превратились в мутные потоки, по ним плыли доски, детские колыбели, овцы, домашний скарб...

Первый встретившийся им старик сказал:

— С утра всех здоровых мужчин послали на Алазань спасать унесенный наводнением паром. А тут — такая беда, и некому помочь.

С балконов и крыш неслись вопли детей и женщин. Старики, вооруженные лопатами, вплавь переправлялись с места на место, чтобы прорыть проходы для стока воды. От бетонного моста остались одни опоры. Лисий ов-

раг превратился в озеро. В виноградниках еле виднелись верхушки кольев.

Нужно было немедленно открыть затвор головного канала. Цихистави сказал Коринтели:

— Вы оставайтесь здесь, а я попытаюсь добраться до плотины.

Коринтели рассердился:

— Почему я должен оставаться? Плавать я умею не хуже вас, — и первым вошел в воду.

То вплавь, то выше колен в воде, Коринтели первым достиг плотины и открыл путь потоку.

Майя разожгла огонь в камине, но Коринтели никак не мог согреться. Пришел Ясе, уложил его в постель, напоил коньяком и горячим чаем, растер все тело водкой, но Коринтели все жаловался на холод. Измерили температуру — сорок. Он не мог поднять головы. Она словно была наполнена свинцом. Его приподняли и подложили под спину подушки. Врач из Кварели нашел у Коринтели крупозное воспаление легких.

...Сквозь окно виднелись ему телеграфные провода, усеянные запоздавшими ласточками. Сидя на проводах, они напоминали нотные знаки. Затем он увидел желто-красное кривое дерево на краю оврага. Под ним Бнжина, насторожив ушки, стоит и смотрит в пропасть. Подбежал Ахилл и вдруг укусил ее за ногу...

Коринтели закричал что было сил.

— Что случилось? — бросились к нему испуганные Майя и Ясе.

Но он не мог шевельнуть языком. Потом успокоился и даже уснул.

Ясе, воспользовавшись этим, помчался в Телави за дядей Нико.

Коринтели узнал дядю Нико.

— Сына! — чуть внятно произнес он.

Дядя Нико поднял и поднес к нему маленького Ростома. Коринтели поцеловал его в лоб и тихо заплакал.

— Вам поручаю, — произнес он.

Неожиданно пришла Нуну.

— Это ты, Суския? — глядя на нее, сказал Коринтели. — Мне плохо... Следи за ребенком.

Речь его становилась прерывистой, сбивчивой. Он впадал в забытье.

Ему мерещилось: он и Суския лежат на мшистой скале. Слышится соловьиный оркестр. Вдали дымчатый Кавкасиони. Потом возникло бескрайнее море. Они плывут к неведомым берегам. Вздыбились волны. Подобно терниям, впились в небо молнии. Огненно-дымчатый вихрь сорвался с горной вершины и превратился в черную как ночь гюрзу, которая жалом своим потянулась к Сускии.

Коринтели рванулся на помощь Сускии. Но руки и ноги его прикованы к мшистой скале. Он силится крикнуть. Но голоса его не слышно... Вскоре все исчезло: и море, и Суския, и страшная гюрза...

41. КЛУБОК РАЗМОТАН

Канкрэ арестовали в Телави, когда он, будучи пьяным, продавал краденого барашка. К этому времени выздоровел Лексо Габедаидзе, оказавшийся родственником Абриа Уджираули. Он, как выяснилось, был связан и с Канкрэ, и с Абриа.

Канкрэ устроили очную ставку с Габедаидзе. Они признали свою вину и выдали Церođенашвили и Абриа, по указке которых действовали. Они хотели смыть водой бермухские виноградники.

Клубок преступлений был размотан. Цероденашвили задержали в Тбилиси. Он скрывался у тети Вари, которая не теряла надежды на то, что Медее удастся вернуться к Шаркутье. А пока что она убедила племянницу быть более благосклонной к бермухскому инженеру. После недолгого запирательства он сознался в своих преступлениях. Он ненавидел новую жизнь и надеялся на победу немцев.

На скамью подсудимых должен был сесть и Абриа. Но где его было найти?

Если бы не застарелый ревматизм, Абриа, вероятно, и сейчас бы не вернулся домой, а продолжал скрываться в лесу и молить святого Георгия, чтобы прокурор Хидашели поскорей забыл его имя. Но проклятая болезнь загнала его в конце концов домой.

Вечерело. Абриа проголодался, он ходил по двору и

искал свою жену Мао. Ее нигде не было, и он, как всегда в таких случаях, всячески поносил ее, проклинал день, когда на ней женился, взывал к святому Георгию и просил его ниспослать на нее всяческие беды: пусть она сломает себе шею, пусть заболеет дифтеритом, пусть вечно останется алчущей и жаждущей, пусть умрет неестественной смертью не на своей постели!

— Я, гонимый, мучаюсь здесь, — говорил он сам себе, — она, пустомеля, сидит где-нибудь и чешет язык.

И вот старик, злясь на весь белый свет и чувствуя ужасное одиночество, решает отправиться к святому Георгию, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.

Как старый беззубый волк, охотящийся зимой вблизи хлевов за крысами, воровато плетется он меж виноградниками, опустевшими в воскресный день.

По дороге на каждом шагу он видел результаты своего злодеяния: размытые и покрытые песком огороды и сады, отдельные дома, разрушенные наводнением. Не всюду еще сошла вода. Он обогнул колхозный сарай для саженцев и быстро зашагал по тропинке.

Внезапно раздался зов:

— Абриа, Абриа!

Старик не оглядывается, он делает вид, что не слышит, и ускоряет шаги. Но его нагоняет Гайоз.

— Куда ты так спешишь, злоязычный? Который день тебя ищет милиционер. Подожди!..

Слово «милиционер» еще больше подстегивает Абриа. Раздается свисток, Абриа оглядывается и видит бегущего к нему милиционера.

Абриа находился у того самого оврага, через который некогда так легко перемахнул олень. Овраг был залит водой. Абриа не остановился, страх гнал его вперед, и он прыгнул. Но Абриа не был так проворен, как олень. Падая, он ударился головой о выступ скалы.

В это время за оврагом шла жена Абриа Мао. Она несла домой хворост. А колхозник Джанго вез на арбе сено. Мао, увидев мужа в беде, бросила хворост, опустилась на колени перед аробщиком и взмолилась:

— Помоги!

Но Джанго даже не остановился.

— Нет, не проси, Мао! Абриа — человек своенравный, захотел искупаться — не будем ему мешать!

И он стегнул кнутом быков...

Через несколько часов всплыл труп Абриа.

ЧУДО ЦВЕТЕНИЯ ЛОЗЫ

ЭПИЛОГ

Шли годы. Окончилась война. Многие герои этого повествования со славой пали в боях, защищая родину. Многие после неслыханных кровавых дождей возвратились домой со славой.

Раньше всех в Бермуху вернулся бывший мельник — старшина Соломон Гулухандзе, он же Ниортава. На его груди сверкали ордена и медали. Все расспрашивали его о судьбе земляков. Некоторых из них он встречал на фронтовых дорогах. Но он ничего не знал о Годердзи Эланидзе, ничем не мог утешить Нуну, дедушку Микелу, Баблию...

Нуну уже совершенно поседела.

Бермуха и Гвелети тем временем поднялись и крепко стали на ноги. Чего только не сделает человеческий труд!

В Гвелети построили сотни новых домов. Открылась сельская библиотека в бывшем доме Вахтанга Коринтели. Колхозное хозяйство наладилось, разрослось.

Как никогда дружно цвела виноградная лоза.

И вот в дни, когда я как раз собирался на охоту (она уже началась), пришло письмо из Бермухи от Соломона Гулухандзе. Он сообщал радостную весть: возвратился Годердзи. И приглашал меня заглянуть в знакомые места.

Я поехал в Бермуху. Прежде всего я отправился на Цихскую мельницу, в надежде, что застану там Ниортаву, то есть Соломона Гулухандзе. Но его назначили председателем райпотребсоюза. Пришлось идти туда.

Мы встретились, как старые друзья.

Ниортава сообщил, что Годердзи не узнать. Вернулся немым. Нуну несколько раз возила его к врачам, но ничего не помогло.

Годердзи и в самом деле трудно было узнать. Шрамы изуродовали его лицо. На правой руке он носил черную перчатку.

Он очень обрадовался моему приезду, силился что-то сказать, но вместо слов из его рта вырывались хрипы. А ведь каким молодцом он был еще совсем недавно!

— Помогите! — глядя на меня, сказал Ниортава.

Я сразу не понял даже, к кому это он обращается. Но он смотрел именно на меня.

— О чем это ты, Соломон?

Он повторил:

— Помогите! Ведь слово писателя обладает чудодейственной силой. Оно вздымает и покоряет бури, превращает воду в вино и глину в сталь. Мы так оплакиваем умерших героев твоих произведений, словно они наши братья и сестры. Слово воскрешает мертвых. Оно может сделать то, чего не могут сделать доктора, лекарства.

— Прости, но я не достоин того, что ты мне приписываешь, — ответил я.

А про себя подумал, что не так уж неправ мой друг.

И я, не скрою, позавидовал тогда легенде о Христе, который словом своим разбудил от летаргического сна Лазаря. Как хотел бы я сейчас владеть божественным даром, чтобы помочь Годердзи!

Мы двигались группой вдоль рядов цветущих лоз. И тогда я схватил Годердзи, потряс его и громко сказал:

— Оглянись вокруг. Смотри, как прекрасна наша земля после бури! Это истинный сад Гесперид. Взгляни на твой любимый Кавкасиони, где мы с тобой не раз охотились на медведей, волков, рысей. Смотри, как прекрасна наша Кахетия — страна лоз и роз. Смотри, как прекрасно цветение лозы — сущее чудо земли.

Челюсти Годердзи напряглись, задрожали. И из его онемевшего рта словно вынули кляп.

— Да, прекрасно цветение лозы, — тихо промолвил он.

Я и Соломон Гулухаидзе боялись утомить Годердзи, вновь обретшего дар речи. Но мы все же не утерпели и стали расспрашивать его о фронтовой жизни.

Оказалось, он тяжело раненным попал в плен, сидел в Освенциме, бежал оттуда, два года сражался в партизанском отряде Ковпака, снова попал в плен, затем —

в концентрационный лагерь, подвергался пыткам, умирал и воскресал. Так он лишился речи.

Советская Армия освободила заключенных...

Годердзи разговаривал с трудом. Каждое слово доставалось ему с мукой, он нервно напрягал взгляд.

Соломон тайком шепнул мне, что дедушка Микела обязательно принесет сегодня в жертву святому Георгию ягненка. Только не нужно об этом говорить Годердзи.

И правда, в тот день под старым дубом зажарили шашлыки.

Тут были дедушка Микела, Нуну, Соломон Гулухаидзе, Хирчла Очиаури, бермухские врачи и учителя. Сынишка Годердзи сидел на коленях у Баблии.

Мы выпили за вечную память погибших на войне героев. Годердзи провозгласил тост:

— Да здравствует наша страна, наш народ! У меня остались два пальца на правой руке, но если понадобится, то и ими смогу стрелять из автомата...

Дедушке Микеле казалось, что он прозрел. Обеими руками схватил он своего правнука — маленького Микелу и высоко поднял над своей головой, показывая его людям, небу, солнцу.

Весело шелестел старый дуб — могучий ветвистый дуб, который всегда живет в моем воображении как символ стойкости и бессмертия духа грузинского народа.

1951—1955
Тбилиси

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГАМСАХУРДИА КОНСТАНТИНЭ СЕМЕНОВИЧ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ
Том 5
ЦВЕТЕНИЕ ЛОЗЫ

Редактор издательства М. Гржеидзица
Художник А. Сарчимелидзе
Технический редактор А. Якимова
Корректор Л. Шахназарова

ИВ — 300
Сдано в набор 3 октября 1973 г. Подписано в печать 8 февраля 1977 г. Бумага типографская 84×108 1/32. Учетно-издательских л. 19,02. Печатных л. 11,13 Условно-печатных л. 18,69. Заказ № 3780. Тираж 200.000 (1 — 100.000)
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Мерани», Тбилиси, пр. Руставели, 42.

Киргизполиграфкомбинат Государственного комитета Совета Министров Киргизской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Фрунзе, Жигулевская № 102.

Отпечатано с матриц Киргизполиграфкомбината Тбилисской книжной фабрикой, Тбилиси, пр. Дружбы № 7. Заказ № 501.

კონსტანტინე სიმონის ძე გამსახურდია
თხზულებათა კრებული რვა ტომად
ტომი 5
(რუსულ ენაზე)

